

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ч Е Т В Е Р Т А Я

А П Р Е Л Ь

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 7

Москва. Главлит № 83.490.

28.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вл. ЛИДИН. — Отступник, <i>роман</i>	5
2. Бор. ПАСТЕРНАК. — Лейтенант Шмидт, <i>поэма</i>	30
3. Петр ШИРЯЕВ. — Цикута, <i>повесть</i>	36
4. М. СВЕТЛОВ. — Стихотворение	64
5. Дм. ПЕТРОВСКИЙ. — Память, <i>стихотворение</i>	65
6. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Живая вода, <i>рассказ</i>	67
7. Виссарион САЯНОВ. — Ночь в Трокадеро, <i>стихотворение</i> .	76
8. Георгий НИКИФОРОВ. — Степанида, <i>рассказ</i>	79
9. Петр ОРЕШИН. — Два стихотворения	85
10. Ник. ДЕМЕНТЬЕВ. — Стихотворение	87
11. В. ВЕРЕСАЕВ. — Из детских лет, <i>воспоминания</i>	88
12. Л. ЛАВРОВ. — Стихотворение	104
13. Евг. ПАНФИЛОВ. — Белые ночи, <i>стихотворение</i>	105
14. Софья ФЕДОРЧЕНКО. — Народ на войне, <i>продолжение</i> .	106
15. Ал. ЖАРОВ. — Гибель Пушкина, <i>стихотворение</i>	122
—	
16. Карл РАДЕК. — Демократические миниатюры	125
17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Фурманов	133
18. Б. ПУРЕЦКИЙ. — Из восточных литератур. Поэтическое творчество афганцев	141

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

19. Евг. БРАУДО. — Бетховен, как явление культуры	152
20. Ник. СМИРНОВ. — На озаренной земле	158
21. Г. ЯКУБОВСКИЙ. — Летопись царской войны	163
22. Я. ФРИД. — Шарль-Луи Филипп	166
23. Ф. РОГИНСКАЯ. — Древне-русское искусство перед судом берлинской прессы	168
24. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — Чубаровская бацилла	173
25. Игн. СТЕЛЛЕЦКИЙ. — Неолитическая азбука	181
26. С. АЛЫМОВ. — Порхающие полотенца	186

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. КРАСИЛЬНИКОВ. — Н. Ляшко „Доменная печь“	199
В. ГОЛЬЦЕВ. — А. Серафимович—Собр. соч. Т. XI. „Чудо“	199
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Вяч. Шишков „Тайга“	200
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Бор. Губер „Соседи“	201
А. Р. ПАЛЕЙ.—С. Семенов „Рождение раба“	201
Н. ЗАМОШКИН.—Гл. Алексеев „Иные глаза“	202
В. КРАСИЛЬНИКОВ. — Н. Москвин „Кошачий характер“	203
Б. АНИБАЛ. — Р. Акульшин „Развязанные снопы“	203
Д. ФИБИХ. — Е. Бражнев „В дыму костров“	204
Л. ЯКОБСОН. — „Русская проза“	205
Л. ГРОССМАН. — „Творческая история“	205
А. В. ШЕСТАКОВ. — „Последние дни колчаковщины“	206
А. Б. ЗАЛКИНД. — Е. М. и Д. Н. Лубоцкие „Душа животных и человека“	207

Отступник

Р о м а н

Вл. Лидин

И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот,
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну.

М. Лермонтов—«Мцыри»

I

В пятом часу этого оттепельного, памятного Кириллу Безсонову дня, профессор заканчивал лекцию по машиностроению. Широким размахом руки набрасывал он на доску меловые параболы и окружности, сухо временами постукивая мелом, вычерчивая чертеж, — и все студенты, сто-полтораста женщин и мужчин, нахохлившись над своими тетрадами, заносили в них эти формулы, схемы и вычисления. Есть такие предзимние оттепельные дни в октябре: белесые утра дымятся трудным туманом, и в окаянном сумраке и испарениях земли утопают огромные мокрые города, с ненастными крышами, с озябшими, торопящимися, озлобленными людьми-одиночками, плетущими в туманах нить своего городского кружения. Тогда кажется это кружение бесцельным, да и вся жизнь — придуманной для обид, неприятностей и взаимного озлобления.

Профессор Челищев читал студентам курс по машиностроению; это был один из сложнейших и трудных курсов, и когда легкокрылыми ласточками взлетали из профессорских рук белые цифры формул, трудно было в их легком полете уловить тяжелую мерную поступь будущих громоздких механизмов. Профессор Челищев, бывший военный инженер, очень выхолонный, прекрасно седеющий на висках, удачливый изобретатель — любил этот полукруг стриженных и лохма-

тых голов, мучительно вникающих в сложность его небрежной игры на доске, в блистательную эманацию его знаний. Он любил еще легкие перекаты своего баритона, который мягко вникал в самые дальние углы аудитории, и студенты, особенно женщины, беседуя с ним, всегда ощущали некое, совсем безобидное и даже приятное скорее, смущение. И сейчас, слушая его, многие вникали скорее не в формулы, а именно в звук его голоса, в стремительный взмах над доской небольшой и белой руки.

Кирилл Безсонов, вначале старательно заносивший в тетрадь схемы и цифры, вдруг как-то тоже задумался, слушая профессорский голос, глядя поверх голов на туманную, в крылатых дугах и кривых, исписанную доску. Сырой и смутный день, сизо слепнувший за высокими окнами, в который как бы плыла теперь глухим кораблем аудитория, готовясь в пять часов войти в вечернюю пристань, негромкие раскаты профессорского баритона, сухой шелест страниц, — все стало на миг невесомым, необычайно зыбким, и было приятно ни во что ни вникать и ни к чему не прислушиваться, отдаваясь этому минутному забвению. Безсонов подпер рукой свою отяжелевшую, по-крестьянски золотую голову, задумался, профессор колыхнулся, сдвинулся с места и плавно поплыл над доской; вслед за тем, описав кривую, он опустил на то же место. Сверху, по рукам товарищей, поползла записка, записка ударила Безсонова по носу и упала перед ним на тетрадь. Безсонов оглянулся, сзади улыбались, он развернул записку. Писал Свербеев:

„Не спи, дружище. Жизнь прекрасна. Если у тебя есть целковый, она может быть еще прекраснее. Не уходи после лекции, выйдем вместе. Есть удивительные новости“.

Безсонов оглянулся снова. Свесив длинный свой нос, сверху улыбался Свербеев. Профессор Челищев повысил голос; он продолжал говорить, собирая свои записки, и все вокруг тоже зашумели тетрадями, зашевелились, — Челищев заканчивал лекцию.

Студенты жили в огромном общежитии, переделанном из богадельни, длинные угрюмые коридоры были бездонны, в конце каждого мутной панорамой синело окно, а в комнатах богаделок стояли студенческие койки, и на чертежных досках были распяты калёба и чертежи. Семейные жили отдельно; молодежь — по несколько — вместе. И вечер означался желтым скучным светом одиноких лампочек в коридорах, сизой чернотой за окнами и трудовой студенческой жизнью, протянутой дальше в занятия, в скудный чай из кружек, в невеселый говорок мандолин — все, как всегда, в скученном и казенном доме, где годы проходят в ученьи, где каждую весну начинается отлет на родину, в провинцию, на летнюю практику, и где осенью коридоры жужжат от осеннего слета, в котором летний загар сменяется днями учебы и городским студенческим житием.

Свербеев ждал у под'езда, и они вышли вместе в эту раннюю и промозглую сизь. Мелкая водяная пыль сеялась, обвисая у ноздрей

и ресниц, и в этом тумане болезненными ржавыми опухолями вздувались фонари, скудно освещая вокруг водянистый болотный мрак.

— Я тебе не зря написал, Кирюшка, — сказал Свербеев; он близко шмыгнул своим угреватым утиным носом. — Жизнь, брат, прекрасная штука, надо только уметь ее подмять. Учеба — учебой, а жизнь — жизнью. Впрочем, зайдем в пивную, я тебе все об'ясню.

Студенты долго шли по мокрой Бахметьевской.

— Вот она, наша благодетельница, — сказал Свербеев, наконец. — Тут, брат, такой цыганский хор, что плакать захочешь. Зайдем и облегчим души.

Кирилл Безсонов зашел за ним следом в пивную; был еще ранний час, многие столики были пусты; они сели возле самой эстрады, и Свербеев заказал пива.

— Я ведь пива не пью, — Безсонов снял кепку и привычно потряхнул головой, забрасывая назад свои золотые волосы.

— А я разве, думаешь, пью? Так, чтобы провести время и цыган послушать.

И Свербеев подпер обеими руками голову в сером клетчатом шлюпике и весело посмотрел на Безсонова цвѣлыми своими и по-гусиному пустыми глазами. Со Свербеевым у Кирилла Безсонова не было дружбы или особой какой-нибудь близости, — но как-то случилось так, что Свербеев именно к себе приблизил его с первых же дней точно полюбился ему золотой паренек, пахнувший еще немудрою тишиною провинции. И так повелось, что стал Свербеев как бы его вожатым по огромному и бесприютному для затерянной души городу. Свербеев жил отдельно на Бронной, и Безсонову было приятно, что есть для него человеческий угол в большом этом городе, куда может притти он хотя бы в праздник, когда пустеет общежитие, и праздничное одиночество паутиною висит в углах, — у Свербеева всегда были люди, у него часто бывали женщины, студентки, они по-мужски дымили папиросками, и все-таки за этим мужским — было женское, то-есть то, что знал Безсонов в себе, как жаркую силу. И потому к Свербееву его неизменно тянуло, а главное — умел Свербеев плыть в жизни, как хотел, — напористо и всегда победительно. И сегодня, получив от него записку, Безсонов был втайне рад, хоть и решил провести этот вечер в занятиях.

Служитель принес две бутылки пива и блюдечко с моченым горохом.

— Корнеевское пиво никогда не советую, от него голова болит... а трехгорное отличное, — сказал Свербеев. — И ну-ка нам во-блочки, что ли!

Он стукнул кружкой о кружку, отпил и покрутил головой.

— Чудная вещь, брат, бабы... у каждой своя фантазия, совершенно удивительно. Ты вот ничего не знаешь, пиво пьешь, а тут такие дела развертываются!.. Ах, брат, жизнь, жизнь... хитрый механизм, ничего более, и прав тот, кто перехитрит. Да, я думаю, ты и сам догадался, о чем я хочу сказать?

И Безсонов испуганно почти и искренно ответил:

— Нет, я не знаю, Свербеев...

— Говорю я о Тане... о Татьяне Агуровой. Вот тебе и карие очи!.. Нет, Кирилл, я теперь ни в какую невинность не верю. Я ведь знаю, как ты по Татьяне шуришься...

Бессонов вдруг покраснел:

— Пустяки говоришь ты, Свербеев...

И Таня Агурова возникла в нем снова такой, какой он видел ее у Свербеева месяц назад. Таня — маленькая студентка, в красной, точно пламенеющей кофточке, с каштановым кружком мальчишески-подстриженных волос, с густо-синими, почти черно-синими глазами, сдвинутыми чуть сурово тонкой морщинкой, и с той особенно милой неправильностью находящих друг на друга зубов, которая дает улыбке необъяснимое очарование. Он видел ее несколько раз, ни разу они не сказали друг другу ни слова, но воспоминание о ней было жарко, и, может быть, Свербеев был прав, что Таня стала первой его, Безсонова, городской и горькой мечтой.

— Ты пей пиво и слушай, — сказал Свербеев еще. — И эту свою чистоту ты брось. Никому не нужно. Времена нынче дырявые. Я, по совести, порадовался, что у тебя с Таней может выйти романчик. Очень вы подходите друг для друга... она черненькая, а ты золотой — так тебя и зовут: золотой паренек. Да дело, оказывается, обернулось иначе.

Свербеев разодрал ломтик воблы, пожевал и сказал:

— Мы вот студенты, профессора нас учат... грызем гранит науки, а между прочим нашими товарками пользуются профессора. Имею достоверные сведения, что у Татьяны неблагополучно с Челищевым.

И Безсонов внезапно почувствовал, как кровь колюче и жарко точно ополоснула его до самых корней волос.

— То-есть, как с Челищевым? — спросил он погодя, и, запрокинув кружку, пил минуту, не отрываясь, чтобы скрыть загоревшееся лицо.

Свербеев покидал в рот гороху.

— С профессором Челищевым у Татьяны роман... дело самое простое и, по существу, человеческое. Но можем ли мы, Кирилл, так спокойно отдавать наших товарок для профессорских удовольствий?..

— Нет, конечно, нет, — сказал Безсонов поспешно и сам не понял, почему же нет и как могли бы этому они помешать. Со стуком поставил на стол он опорожненную кружку.

— Вообще, друг, если ты приехал в Москву жить чистюлькой, то тебя город слопаёт через три месяца. Тут надо каждому самого себя доказывать, а не докажешь, катись!..

От хмеля, от того, что сказал ему Свербеев о Тане, от всей этой солодово-дымной пивной Безсонов ощутил необыкновенную легкость в висках, точно отвердевший костяк вдруг картонно и приятно промялся, он все откидывал назад свои золотые пряди, и Таня, только минуты перед этим мучившая далекою нежностью, стала зыбкой и словно не существующей.

— В чем дело? — сказал он нетвердо и грубо. — И зачем ты говоришь мне об этом, Свербеев... я ей не сват и не брат.

— Вот это и есть самая твоя человеческая слабость, а не сила... так рассуждать, каждый тебя оберет, кому не лень. Нет, Кирилл, главное должен ты помнить, что сейчас все позволено... все, друг! Нас война и революция хорошо перепахали. Потому что иначе как жить, если себе не все позволить? Гранит науки? Ладно. Предположим, разгрыз ты этот гранит... а дальше что? Становишься инженером. Попадаешь в перепроизводство. Нужно сто, положим, инженеров — а нас три тысячи. Сто устроятся с хлеба на квас, а две тысячи девятьсот пожалуйста на вынос. Или в канцелярию счетоводом в лучшем случае, или диспетчером, что ли... на станцию Лихоборы куда-нибудь. Житьишко с канарейкой... женишься, конечно, от скуки, детишки пойдут... а на станции Лихоборы тоска сивая, ветер, окаянство, только по проходящим поездам за чужой жизнью и следи. Нет, брат, я себя на такой лад не строю. Я жизни хочу, чтоб жить не хуже других, чтоб баб вокруг меня красивых до чорта было... а ведь сейчас красивого бабья сколько хочешь, лопатами бери!

И Свербеев, склонив к Безсонову длинный свой нос, мигнув пустым глазом, сказал:

— Пойдем вместе, Кирюшка, от души предлагаю... Ты мне сразу по мерке пришелся, как тебя увидал. Такому парню в сырости пропадать! Ты меня, главное, слушай... я в гражданской войне от Сибири до Варшавы прошел, от партизан до поляков. Я всему цену знаю и жизнь почем стдит — знаю.

Он совсем развеселился и потребовал еще пива. И Безсонову тоже стало как-то небывало легко, он забыл о главном — о Тане, и сейчас одно было только — Свербеев, который обещал ему необыкновенную жизнь, а как могла стать необыкновенною жизнь — не стоило думать, хорошо знал тот свою победоносную линию. Пиво, которого Безсонов обыкновенно не пил, очень легко и забвенно туманило голову, и все хотел и забывал спросить, что же это значит — вместе итти, разве не одинаково идут они сейчас друг подле друга, но Свербеев же сам разъяснил ему все:

— Ты от своего счастья никогда не отказывайся, вот главное. Понравился ты бабе — бери бабу, с умом, конечно, чтобы себя не связать. Деньги, случится, сами в руку идут, бери деньги, опять-таки с умом, потому что разные бывают деньги. А главное — иди плечом вперед и никого не жалей. Пожалеешь — затопчут. Не жалей и иди, подвернется кто — ты его плечиком легонько; не сойдет — толкони посильнее и не оглядывайся. Вот философия, брат. А прочему ничему не верь. Разные жалкие сказки люди сочиняют. А теперь о самом главном...

Но тут на эстраде произошло некоторое замешательство, и на сцену повылезали цыгане. Цыгане сразу принесли с собой легчайшее очивление. Женщины с густейшими бровями, в красных и желтых шалях, худые и чахлые, позванивая браслетами, как цепями, и среди них сама

Настя Воробьева, смуглой семипудовой опарой. Неспешно стали рас-саживаться женщины в ряд. Вислощекие, как пойнтера на стойке, муж-чины, с закрученными в кольца усами, выстроились позади. Гитара в лентах покрякала, посучила голос — и мелко зашлась в переборах. Высокая худая цыганка, крайняя слева, повела хор. Почти безучастно, глядя мимо людей черными знойскими глазами, она запела резким и не-приятным ветровым своим голосом, от которого как бы свежее стало вокруг; так безучастно и пронзительно довела она свою песню до той минуты, когда громадою голосов обрушился хор вослед. Высоко и гор-танно вознеслась здесь, в пивной, цыганская песня, и медвежья возня мужских голосов позади почти торжественно оттеняла ее ликующую тоску. И вдруг в затихающий провал голосов запела сама Настя Во-робьева. Голосом низким, словно слова ектеньи в утренней церкви, пошла она ворошить эту тоску, а цыгане позади все вторили, и гитара в лентах, как свадебная кобыла, клонилась туда—назад, пока окончательно не подавилась и не оборвалась струнным взрывом. Цыгане принесли с собой гортанную и певучую тоску, под которую легко было хме-леть, и Кирилл Безсонов облокотил затяжелевшую голову на руку. А Свербеев все слушал, длинный его нос колыхался в такт, и он ска-зал, наконец, и покрутил головой.

— Ах, сволочи, до чего хорошо поют!.. Ну, так слушай, Кирюшка, о главном. Можешь ты Таню в два счета заполучить, если приналяжешь. Никакого счастья у Татьяны с Челищевым, конечно, нет, а так игра одна и голубиный бред.. понял? И если по-серьезному примешься, можешь в больших дураках оставить Челищева... А ко всему этому дол-жен ты знать, Кирилл, что у профессора Челищева денег до чорта... он за два изобретения получил, да в пяти комиссиях заседает, да лек-ции в институте. Стесняться с ним нечего!

Но тут снова запела Настя Воробьева, опять зарокотала гитара, и прежняя худая цыганка, так же безучастно шевеля плечами, одними плечами, страшно мелко, точно в приступе малярии, пошла навстречу цыгану с гитарой, который с таким любострастием бередел и щипал струны, словно развращал малолетнюю. И все покрывалось той же гор-танной и упоительной тоской. Безсонов послушал песню, уронил свою золотую голову, и Таня представилась ему необычайно желанной, может быть, именно потому, что теперь, после рассказа о ней Свербе-ева, становилась она как-то доступней, ибо была с ней связана уже некая тайна.

Они просидели в пивной еще часа два, пока густо не утонула она в дыму и в человеческих испарениях, и вышли на ту же промозглую и туманную улицу, не показавшуюся им угрюмой. Они отошли от пив-ной, остановились у фонаря, над которым мошкаркой кружился мель-чайший дождь, и Свербеев сказал:

— Так вот, значит, завтра, в воскресенье, приходи ко мне часов в пять. Тут мы все дела и обдумаем. А может, подойдет Татьяна.

И Безсонов горячо и немедленно ответил:

— Приду обязательно.

Здесь, под фонарем, они простились, Свербеева сразу всосал туман, а Кирилл Безсонов с тем же всё беспричинным и тоскующим ликованием побрел назад, в сырь и дождь, сетями несомый предзимнюю сутолкой.

II

Восемь дней валила метель, забелила город тишиной и смиренностью, а потом, когда грянула оттепель, занавесило сплошным ливнем, закиселило улицы, размяло, замызгало, и встал город во всей своей первоначальной основе—в грехе, человеческом паскудстве и угрозах недобрых дел. В такие дни, с бычьими желтыми и налитыми кровью глазами закругляют трамваи скучный полукруг городского своего странствия, гигантской отсыревшей саламандрой извивается у остановок толпа, шмыгают через колдобины улиц одиночки-мужчины с повязанными шарфами горлами, да из пивной, вместе с паром и солодовой изжогой, ударит хор под бубенчики и совсем занесшую лихую гармошку.

Кирилл Безсонов вышел из общежития в воскресенье под вечер. Весь день он вычерчивал для зачета схему перекидного моста, и весь день из всех этих цифр, расчетов консоли и параболических ферм возникало нечто ужасно туманящее, от чего разлетались цифры воробьиной стайкой, — задумчивое и по-детски серьезное, с непобедимо-синими и густыми глазами, со стриженным кружком мальчишеских коричневатых волос. От того, что сказал ему вчера о Тане Свербеев, стала она не дальше, не враждебнее, а именно ближе, хотя почему, собственно, он не ужаснулся всему, а принял все это как нечто совсем обычное, мог вряд ли он себе объяснить. Может быть, потому, что из бесплотной и воображаемой, словно приснившейся однажды, стала Таня понятнее, греховнее и по-человечески земной. Впрочем, все это приходило весь день такими обрывками и клочками, так затемнялось чертежами и цифрами, и так, в свою очередь, затемняло эти цифры и чертежи, что к вечеру, вовсе запутавшись в этом, он с наслаждением окунулся в туман.

Он долго и неспеша шел по улицам и дышал холодной сыростью, постепенно выветривавшей всю дневную его душевную кутерьму. С горькой и зыбкой нежностью он думал, что сегодня, может быть, снова увидит Таню, и он думал еще о том, что хорошо так, в городской и тесной неволе, создать свою единственную мечту. Он прошел много улиц и вышел, наконец, на Тверскую. Много народа, несмотря на туман и хлябь, шло по Тверской в этот час. Черные проворные такси с клейким клеенчатым хлюпом проносились мимо, парочки уезжали в заваленный мозглою Петровский парк, и тесная праздничная толпа приникала к желтым освещенным витринам с картинками кинематографической фильмы; около фонарей и витрин кружилась сырость, падавшая с небес, а дальше была сизая туманная полутьма, в которой беспо-

лезно осенними лунами набухали фонари. Изредка из этой тьмы возникала светящаяся доска с красным милицейским жезлом и надписью: „Осмотри по сторонам прежде, чем перейти улицу“,—но из тумана по сторонам так ревели и стонали гудки, что надо было перебежать поскорей без оглядки, скача через лужи. У Страстного, возле павильона для ожидания, в подземелье которого торопливо ныряли мужчины, а другие, застегиваясь на-ходу, с достоинством поднимались навстречу,—возле павильона густо гуляли простуженные женщины в платочках и шляпках и напевали очень независимо, а на афишных тумбах стоя крокодилов терзала в воде пожилого мужчину, элегически нырявшего между них.

Кирилл Безсонов перешел площадь, миновал угрюмого и безголового Пушкина и пошел вдоль бульвара, у боковых проходов на который воспаленно наяривались и мигали косо-срезанные красные стекла, угрожающие трамваем. Свербеев жил на Малой Бронной, в одном из тупичков, где издавна селилась студенческая безбытная братия. Менялись времена, умирали студенческие хозяйки, уплотнялись квартиры, а студенческие логова оставались теми же, с той же керосинкою на окне и видениями студенческих голодных мечтаний. И тут, в переулках, где была уже совсем арктическая темнота, Безсонов проверил в себе окончательно то, что дикой кутерьмой бушевало в нем со вчерашнего вечера. Дело было, конечно, не в Тане и не в нескольких с нею встречах, когда они не сказали друг другу ни слова, а в том, что он, Кирилл Безсонов, жадно тосковал в этом городе по человеческой душе. Он затосковал еще с первых месяцев своего одиночества здесь, и, конечно, рано или поздно нужно было вообразить про кого-то, что это и есть та самая осуществленная городская мечта. Так случилось с Таней, Таня поразила его, она была непохожа на тех занятых товарок, полуженщин-полумужчин, небрежных в обращении, а зачастую в одежде и даже любви. В ней была целомудренная опрятность, большое женственное, очень хрупко и поэтому пленительно смотревшее из детского облика, синих глаз и маленького серьезного рта. И теперь, когда он узнал о ней нечто, совершенно не вязавшееся с этим ее обликом,—нечто, что должно было бы его ужаснуть и отвратить от нее, он с удивлением в себе обнаружил, что это его несколько не ужаснуло и не отвратило, а только как-то горячее, и поэтому страшнее в греховной своей пламенности приблизило к ней. Он подумал о том, что, может быть, сейчас увидит ее, заволновался и ускорил шаги.

Он вошел, наконец, в под'езд, стал подыматься по лестнице, на лестнице воняло мускусом кошек, и у дверей на третьем этаже, среди бесчисленных указаний, кому и как звонить, написано было, что звонить Свербееву коротко восемь раз. Он восемь раз нажал порывевшую кнопку, за дверью противно залаяла какая-то мелкотравчатая собаченка, и Свербеев, спустя минуту, открыл ему дверь.

— А, Кирилл... как раз про тебя говорили,—он провел его мимо кухни, словно в сумрачной лаборатории алхимиков, в ней шипело

и гудело с десятков примусов, в коридоре стояли шкафы и корзинки, и Свербеев привел его в самый тупик. Комнатешка Свербеева была кегельбаном в длину, и в комнате на кровати, по-мужски нога на ногу, сидела женщина и курила. Женщина быстро посмотрела на Безсонова, глаза у нее были серовато-размытые и чем-то бесстыдные; она была по-бабьему коренаста и скорее красива, если б не грубость черт.

— Вера Никольская,—сказала она голосом чрезвычайно низким, похожим на баритон,—а вы и есть Безсонов? Только что говорили о вас.

Смутившись, поспешил Безсонов забраться в ущелье между диваном и шкафом.

— Ты Верочки не бойся,—Свербеев сказал очень вразумительно,—хороший товарищ и тоже студентка, только по другому цеху, художница.

И Кирилл Безсонов увидел, что Вера Никольская продолжает смотреть на него тем же размытым и необъяснимо примерчивым взглядом.

— Да постой, куда ты в угол забрался?.. Выезжай-ка, брат,—и Свербеев за ногу вместе со стулом выдвинул на середину его.— Вот это и есть тот самый золотой паренек, о котором я тебе говорил, Верка,—сказал он еще.—Хоть бы ты его человеком сделала. Своди его, что ли, к поэтам... благо он стихами, кажется, промышляет.

— Вы и стихи пишете?—спросила Вера Никольская густо,— вот это отлично,— хотя что было отличного в этом, так и не пояснила она.

От всей этой странной встречи Безсонов сразу затих,—впрочем, уже час спустя он освоился, женщина говорила просто и грубовато, да и вся она была грубовато-сколоченной, сбитой из подстриженных своих жестковатых волос той неопределенной окраски, которая ни светла, ни рыжа, хриповатости, мужской манеры сидеть и курить, а в общем, красивая крепкая баба, с которой обойтись ежели круто по-мужски, то можно под этой всей хриповатостью и мужскою повадкой извлечь горячее бабье нутро.

— Надо тебе прежде всего узнать город, какой он есть,—сказал Свербеев еще,—а для этого дела лучше Верки тебе никого не найти. Она все ходы и дыры знает, хочешь к поэтам, хочешь к актерам,— все это надо увидеть тебе, Кирилл, не думай ты, пожалуйста, что вся Москва на Бахметьевской, и самое что ни на есть главное—это расчеты мостов... это, брат, вздор! Наука наукой, а жизнь жизнью. Я из твоего же добра исхожу... больше жизни увидишь, больше к ней аппетиту получишь.

— Что ж я готов, конечно...—ответил Безсонов чуть растерянно,—после зачета у меня время будет. А, конечно, любопытно Москву посмотреть,—и сейчас же он понял, что сказал очень провинциальному и фальшиво и опять замолчал, но тут снова вмешался Свербеев, вновь завязал он узелок разговора, и дальше все

пошло складно. Свербеев вскипятил чаю, они пили чай и толковали о разном, и женщина эта, говорившая просто и грубовато, перестала смущать. Она училась на плакатном отделении, делала плакаты, и со всею своей толщинкой и хриповатостью стала она домашней по-бабьему, хоть и прикидал иногда странный ее и бесстыдный взгляд к Безсонову так вплотную, что вопреки его воле — ненужно, а скорее и жарко проливался в него. В общем, вышло так, что уговорились они пойти вместе на вечер к поэтам и что Безсонов зайдет за ней в среду тут же на Бронной, поблизости. По-мужски на прощанье тряхнула Вера Никольская руку, и Свербеев проводил ее до дверей.

— Ты на Верку смотри со вниманием, — сказал он, вернувшись. — Эта баба с понятием... настоящая современная баба. Главное, горизонт у нее есть не бабий... а я хочу, Кирилл, чтобы ты человеком по-настоящему сделался. В наше время человеком не быть, жизнь тебя не только обгонит, да еще в колесо свернет. А у нас дела могут развернуться невероятные, брат... если ты, конечно, способным окажешься. А я думаю, что окажешься, я тебя с первого раза почувствовал.

Свербеев говорил и точно клевал его своим длинным носом, и сейчас же сказал он о главном, острее всего толкнувшем Безсонова в сердце.

— А я ведь тебя зачем нынче звал, Кирилл... ничего ты о Свербееве по-настоящему не понимаешь! А все дело в том, что придет сейчас сюда Татьяна Агурова... зайдет она на минутку, за книжкой, а тебе как раз уходить в это время, вот и выйдет, что увяжешься ты ее проводить.

И Безсонов почувствовал снова огромную дружбу и благодарность к этому человеку. Снова тот наполнял его жизнь странным и взволнованным беспокойством, которого сам он боялся в себе и которого все же ожидал с дичайшею жадностью, несмотря ни на что. И дальше этот вечер у Свербеева поплыл для него в взволнованном и необыкновенном тумане. Таня Агурова, с озявшим милым лицом, показавшимся ему прекрасным, пришла сюда, в это логово, она присела на край постели всего на минуту, один только раз взглянула она на него, но этот простенький взгляд глубоко его всколыхнул, и уже минуты спустя, не помня себя, он вышел с ней вместе на улицу.

— Вам направо или налево? — спросила она.

Он ответил:

— Направо... — и сейчас же добавил, ужаснувшись своей неоправданной смелости: — То-есть туда, куда и вам... я вас провожу.

Таня ничего не ответила, и они пошли вместе. Угрюмая полутемная Бронная казалась великолепной и освещенной необычайно. Они прошли несколько переулков и вышли на Патриаршие пруды. Пруд дымился, точно там, в расселине города, работали какие-то дьявольские паровые машины; деревья пустынно обвисали над ним волосьями:

покинутых дев. Таня Агурова пошла тише, они шли теперь рядом, и раз на повороте, при свете фонаря, одним только глазком взглянула она на него—очень грустно и выжидательно, как ему показалось. Кирилл Безсонов снял кепку, и так дальше он шел с непокрытой головой. Она опять искоса поглядела на него грустным и милым взглядом и сказала:

— Наденьте... простудитесь.

Но он не надевал кепки, золотые лучики фонарей пронзали сизый туман, они светились необычайно, и Кирилл Безсонов проговорил, глядя в этот лучистый, и золотой, и мучительный свет:

— Мне Свербеев сказал, что вы сегодня зайдете... пустое ведь дело как будто—зашли и ушли, и я вместе с вами иду, и вы со мной ни о чем даже не говорите, словно меня и нет. А я на-днях думал, может случиться, что вот если гришлось бы когда-нибудь проводить вас домой...—и засмеялся.

— Вы совсем меня ведь не знаете,—она сказала и как бы нахмурилась, но он ответил ей искренно, как мог и умел.

— А разве надо обязательно знать, чтобы радоваться человеку?.. Я вам с первого раза обрадовался, хотя и ни полслова мы не сказали друг другу.

Она выслушала все это и ничего не ответила. Они прошли еще несколько переулков, и в тупичке, у маленькой пузатой церковки. Таня сказала коротко:— Мне сюда,— но в этот миг показалось ему, что хотела она сказать нечто большее.—И она ушла. Он остался один у маленькой черной парадной, легкое пожатие еще лежало в его руке, и словно хранила ладонь милый и ускользящий запах. С сердцем, полным мучительного тепла и жалости, каких никогда он в себе не знал (с такими же точно, разве, какие испытал он однажды, в мальчишестве, к девочке Вареньке), ушел Безсонов отсюда. Он шел по Садовой, большой туманной рекой плыла Садовая, но в этой пустыне уже не чувствовал он всецелого своего одиночества. И, может быть, потому, что это—только придуманная им мечта, было все это и щемяще и пронзительно, как никогда.

III

Кирилл Безсонов, еще с сиротских мальчишеских лет, знал одно для себя—сокрытое ото всех прибежище. Простая рябая девка, напевавшая песни в его сиротские годы, заронила в него тоску по песенному и тайному складу, когда обычные и простые слова слагаются в неповторимые сочетания. Он писал стихи тайно, для себя, и самое сокровенное в жизни его—были именно эти тетради, куда забирался он в горькие и одинокие для себя часы. В маленьком городке, где он родился и рос, в приречном городке, каких множество на Руси, мало кто знал горькую и блаженную

эту отраву, — и первых людей, засеявших в нем песенную тоску и мечту о человеческом слове, запомнил он, как первых своих водителей по жизни.

В этом городке родился он в ту невеселую пору, когда трудно прощалась с землей талая сырая зима. Был, наверное, коричневый снег, как всегда в эту таль, и пахло постом и великой весенней проречною грустью. Он родился в родильном том охровом доме, в котором погубили его мать и откуда холодным мартовским утром вез его отец, держа неумело в руках пестрый узел. В этом узле было то, что оставила ему на прощанье жена, загубленная в охровом доме казенным равнодушием к чужой жизни. И этот первый и утренний путь из родильного дома и всю спеленутую свою и начальную жизнь запомнил Кирилл из рассказов отца так же, как если бы сам наблюдал ее со стороны. Вероятно, многое было и не так, многое в дальнейшем исполнилось мальчишеским воображением, — но первая сызмала грусть по женщине, по матери, которую ему не пришлось узнать, — может быть, и запела в нем эта грусть первыми певучими строчками.

Отец вез его в одеяле на старом извозчике, улицы вниз под взгорье коричнево были примаслены, как всегда в пост, навоз рыжел, и мальчишки на площади уже продавали подснежники. Отец молчал всю дорогу, его опустевшие глаза были как птичьи клетки, откуда вылетели живые теплопухие хлопотуньи, и теперь все было смешано, корм рассыпан, и птичий пух долго бившихся птиц лежал на решетчатом донце. Река под мостом была в полыньях, у полыней сидели вороны, и бабы у берега полоскали белье в ледяной воде. Извозчик долго вез через город, лошадь дымилась, да отец и не торопил его. Дома, в пустой неприбранной комнате третьего этажа, глядевшей окнами в пустынную северных невеселых небес, он положил узел на кровать и раскутал: жив ли сын и не задохнулся ли в одеяле? Нет, он был жив, маленькое коричневое существо, у которого были уже ногти на пальцах, тонкие волосики на висках и пупочек, перевязанный ниточкой. Тогда отец стал возле него на колени и затрубил ржавым голосом, которым трубят мужчины, не умеющие рыдать. Стоя возле постели, он облил коричневую ножку сына слезами, тот проснулся, хныкнул и тоненько залился в ответ. Это был неслышанный здесь, в холодной, по-мужскому неприбранной комнате, голос человека, принесенного кровью и женской судьбою в подарок этой талой туманной земле, и отец поднялся вдруг во весь рост, лохматый, черный, сутулый; он дико глядел на сына, помотал головой и сказал страшным, растрепанным голосом:

— Не погублю, нет! Не погублю сына.

И в этот час в пустой заречной квартире возникла лютая мужская воля, лютая воля к жизни, он свез через день жену на монастырское кладбище, в сумерки он вернулся домой, его рабочие тяжелые руки были бессильно разжаты и в красной бахроме были глаза. Так

остались они вдвоем на земле — отец и сын, которому дал он уже имя — Кирилл, — и горькие ветры весны пустынно носились над городом и грохотали железом. В этот вечер рассказывал много отец о своих невеселых днях, он наливал из бутылки в стакан, выпивал и нюхал корочку хлеба, и круглый его кадык ходил взад и вперед. Кирилл лежал сытый и серьезный, его кормила соседка Арина Ивановна большой желтой грудью с коричневым соском, и у него был молочный брат, который тоже сосал такую же длинную другую ее грудь. Он лежал и слушал отца, говорил тот о жизни и щурился, разглядывая стаканчик на свет:

— Ты, Кирилка, дурашка, а я вот тебе расскажу, что значит рабочая кровь... рабочая кровь — значит, не поддавайся никакой ты беде, потому что, если поддастся беде рабочий человек, кому же будет тогда он нужен! Нет, рабочему человеку полагается работать, пока не сотрется нарезка, а как стерлась нарезка — спета рабочая песенка и уступай свое место другому.

Он поднимал стаканчик и принимался петь страшным спаленным голосом тихую песню, но ничего у него не выходило из песенки, тогда клал он голову на руки и так засыпал. Кирилла кормила левой грудью соседка Арина Ивановна: он был по счету тринадцатый, которого она кормила, и была у нее к нему сучья жалость, как к слепому щенку. Думала она то же, как и все, что лучше бы без матери ему помереть, но он разевал рот, он хотел есть, в нем была уже первородная жажда жизни, и чужое теплое молоко стало ему материнским. Он был некрасив, заморен, головаст и жаден, он обедал своего молочного брата, и женщина отнимала у него грудь и говорила: — Не насытишься, жадина... и жизнь-то тебе не в жизнь, а сосешь, торопишься, скажи пожалуйста. — Она была добрая женщина, она дала ему первые соки жизни, и никогда он не мог вспомнить ее худым.

Утром отец уходил на завод. Завод сыро ревел на рассвете, у него была сырая железная глотка, и Кирилл оставался один в пустой заречной квартире. Он привыкал к одиночеству. Он был покорен и знал сроки. Арина Ивановна приходила перестелить или сунуть ему в рот свой длинный благословенный сосок. Потом она отняла его от груди, молочному брату больше надо было жить, чем ему, он поболел животом и стал пить всякое молоко, лишь бы давали. Кирилл рано выполз из теплого своего тряпья, вероятно, была в нем сиротская эта живучесть, он ползал по полу, на который спускала его Арина Ивановна, тогда поднимал его отец, возвращаясь, как кутенка, дул ему в глаза, он морщился и мигал, он был очень жалок и некрасив, но казался отцу прекрасным; он дул ему в глаза и не мог на него насмотреться, у него рос сын, его смена, сын остался жить, и сыну нужна была мать

— Мамка тебе нужна, Кирилл, обязательно мамка... без мамки не вырастить.

Он женился через год на сырой неопрятной женщине, чулочнице с соседнего двора. Она вползла сюда со своей пряжей, шерстью, мотками и спицами, она наполнила комнату запахом сырости и сразу не влюбила пасынка: она была бездетна и любила покой, и какая могла быть у нее охота возиться с чужим зеленолицым дитем?

Кирилл рос быстро, сиротские годы идут проворно, некому любоваться и некому пестовать, он научился самоуком ходить, и четыре его детских года легли на плечи десятилетием. Вечерами встречал он отца на лестнице, возле окна, откуда видна река в дыму и полыньях. Он знал это предвечернее время, когда возвращался отец, он выходил незаметно на лестницу, ждал его там у окна и обнимал его длинные ноги. Тогда отец поднимал его на руки, он целовал его в детский затылочек, он говорил:—Сынушка мой,—таким щемящим голосом, что слезы начинали катиться у них обоих, он нес его наверх, тесно прижав к себе, и только в эти минуты знали они, что принадлежат безраздельно друг другу.

В другое время отец не ласкал его, он был хмур, озабочен, и новая жена медленно поворачивалась в комнате, она была тучна и мало-подвижна, и потерянной мечты не искал в ней отец.

Шести лет Кирилл узнал страшное дело человеческого греха. Станный человек пришел раз к мачехе. Он был высок, узкоголов, с длинными красными губами: он был кожевенник с соседнего двора. От него пахло сыромятью, и красные губы его сразу стали неприятны Кириллу. Кожевенник сказал:

— Ого, мальчонка как вырос!. живуча детва, что ни говори.

На мачехе была новая шаль в розовых цветах, она с утра напмадила голову, и к чаю принес кожевенник большие желтые бублики. Кириллу тоже дали бублик, он был всегда голоден и прожорлив, он сел на лестнице на окно и грыз прохладные зернышки тмина. Доев этот бублик, ушел он смотреть, как ломается лед и трогается река. Сырые пронзительные ветры дули; ночью ломало лед, и теперь тяжелые глыбы сдвигались, они трещали и осыпались стеклом, и это была первая запевка весны. Он долго стоял и смотрел на реку; множество бродило тут же мальчишек,—он ни с кем не дружил; вечерело. Он сильно продрог и стал возвращаться домой. Он поднялся по лестнице наверх, открыл обитую дверь, и тут увидел он нечто столь страшное, что едва не закричал во весь голос. Кожевенник душил мачеху на постели, он был неистов, и Кирилл вдруг услышал, что она смеется и стонет, голова ее была откинута в сторону, и закаченные глаза не видали его. Был ли это первый инстинкт жизни, первородное таинство, которое бродит в крови,—он не крикнул, он медленно отступил и вышел на лестницу; сердце его застывало, ничего он не понял, но знал, что мачеха поступила бесстыдно, что кожевенник с красными губами—недруг отца, плечи его содрогнулись, и он заплакал. Он плакал, не зная о чем, но он знал,

что мачеха все осквернила, что в комнате случилось,—было страшное и недоброе дело, и он задыхался от тоски, которой прежде не знал. Эту свою тоску, первую и терпкую, как полынь, Кирилл Безсонов запомнил на всю дальнейшую жизнь.

Он сидел в темноте на окне и видел, как вышел кожевник и спустился вниз неспеша. Он закурил на площадке, и Кирилл увидел еще его вывернутые красные губы и редкие ежидные зубы. Что мог рассказать он отцу? Что он знал? Знал он только, что его обидел кожевник, — и здесь, в темноте, дождавшись возвращения отца, он обнял его длинные ноги. Лицом у его лица, рыдая от тоски и обиды, он рассказал ему про все, что увидел. Отец слушал его, лица его не было видно. Наконец, дослушав его до конца, он взял его за руку и отвел к соседке Арине Ивановне.

— Ничего не должен знать малец, — сказал он Арине Ивановне и ушел; он обещал вернуться за ним. Арина Ивановна дала ему кусок пирога с морковью. Они сидели вдвоем — Кирилл и молочный его брат Валериан — грызли хрусткую корочку и болтали ногами; они были — дети; им шел седьмой год. Отец вернулся не скоро. Лицо его было страшно и сине, он взял сына за руку и повед за собой. В комнате пахло уксусом. Мачеха по глаза была повязана платком; с запухшей нижней губой, она завязывала в узел какие-то вещи и не поднимала глаз, округлых по-кошачьему прежде. На утро снес отец ее вещи вниз, она опять перебиралась к себе, в соседний двор, — и снова они оставались вдвоем в большой комнате. Рыжее весеннее солнце было пушисто; за ночь лед прошел, теперь неслись по реке редкие льдины, скупиваясь в затоне. Холодом и весной лились ручьи. Кирилл ничего не спросил отца, куда ушла мачеха. Они были снова одни.

Отец завернул в узелок хлеба, яиц и соли, он надел на него новую шапку, и они пошли за руку в город. Тут во второй раз в жизни повез его отец на извозчике. Чьи-то белые спугнутые голуби висели в небе сиреновой кистью; в черных шапках гнезд в приречных садах кричали грачи. Извозчик не торопился, лошадь его была словно репей, бежала она неспеша, развесив уши. Они долго шли сырым кладбищем, у самой стены лежала мать. Белый крест был над нею; у могилы стояла вода. Отец снял шапку, он стал у могилы, прямо на мокрую глину, и Кирилл тоже стал рядом с ним у могилы. Здесь лежала та, которая дала ему жизнь; далеко пели весенние петухи. Он знал, что надо очень грустить и плакать, но была весна, и белый ангел стоял на соседней могиле; он смотрел на ангела и думал, как тяжело тому махать такими огромными крыльями, наверное, летает он, как аист, и клал за отцом поклоны. Он думал еще о том, что ушла мачеха, теперь можно снова бегать по комнате, строить из стульев крепость и водить поклоненным пальцем по стеклам окон так, чтобы они визжали. Наконец, поднялся отец, поднялся и он. Они сели рядом на скамейку. Отец сказал:

— Нет, Кирилка, матери тебе второй не найти, проживем как-нибудь и без бабы.

Они поели вместе на свежем ветре; никогда необычайно так вкусен не был хлеб. Вслед за отцом поцеловал Кирилл холодную мокрую землю, покрывавшую мать, — и опять рука-об-руку пошли они вместе отсюда в большую и уже весеннюю жизнь.

IV

Кирилл Безсонов по этому первому кругу жизни навсегда запомнил людей, ставших водителями мальчишеских его и удивительных мечтаний. Одним из этих людей—была Катька-гулящая, первое существо, согревшее человеческой теплотой его одиночество. Катька-гулящая стояла раз в воротах, у нее были синие добрые глаза, чуть раскосые, и толстыми пальцами придерживала она на груди платок. Она посмотрела на него и сказала:

— Да ты чей же, мальчонка? Ужели Безсонова? Да так и штанам недолго с тебя упасть. Ах, сиротское твое дело!

Ему показалось, что это очень стыдно, если Катька-гулящая жалеет его, про Катьку говорили мальчишки, что взрослые с нею днем не здороваются, и он сказал ей грубое слово. Но она все же пошла за ним, она зашила его тряпье, из которого он выпадал, она остановила на нем свое бабье сердце, не нашедшее в жизни пристанища, и то, что он был запущен, угрюм, патлат и одинок и никому не нужен, привязало ее к нему. Она была тоже одинока и никому не нужна. Она коротала в разврате и одиночестве свой бабий бездетный век, ее румяное лицо — не знал он еще тогда, что значат румяна — было в милых рябинках, и это она приручила впервые его колючее и нелюдимое сердце. Она приходила в полдень, отоспавшись после ночи, когда начиналась ее трудовая работа, садилась напротив, складывала на животе толстые руки и говорила:

— Начало жизни — бе слово... Понял, чучело? Бе слово — это значит, что каждый человек должен уметь писать-читать. Писать не так важно, потому что письмо за тебя и другой напишет, — а вот, главное, книжки читать. Станет тебе грустно или забота сверебит сердце, и читаешь ты книжку про заморскую страну. Страна — голубая и люди голубые, и сам-то ты, чучело, голубым становишься. А голубому и жить легче.

Эту рябую, никому ненужную девку запомнил он на своем пути, она приходила его обшивать, она мыла ему уши, заросшие коноплей, поучая великой вере в прекрасную жизнь, в которой легко и вольно жить человеку и в которой поют люди песни, и ни у кого нет таких ужасных разодранных штанов, как у него, Кирилла Безсонова. В ночном ее бесшабашии жила безмерная тоска по опрятности, у нее были проворные спорые руки белошвейки, и она говорила, обшивая его.

— Человек без чистоты, как часы без стекла. Пропустишь пыль — все колеса раз'ест, как часы — сначала начнут отставать, а потом и вовсе станут.

Она зашивала его тряпье, выметала пыль в комнате и пела полевые, невеселые, деревенские песни. Кирилл не сказал отцу, что ходит к ним Катька-гулящая, знал он, что старшие ее сторонятся, и думал отец, что помогает им жить Арина Ивановна. Катька приходила поутру, убирала спокойно комнату, ей нужно было убирать чье-то жилье и о ком-то заботиться. Она научила Кирилла буквам и складам, она первая научила его той чудесной отраве, когда можно уйти от людей и обид, и ее бабьи руки, которым нужно было пестовать дитя и которые несли в мир только ложь оболщения, ее бабьи руки—единственные руки, обласкавшие сиротское его одиночество.

Кирилл Безсонов знал, что никогда не забудет того бесчеловечного дня, когда ушла из жизни эта его бескорыстная, многогрешная спутница. Она ушла так же просто, как пела свои полевые песни, и двойной флакон нашатырного спирта навсегда убаюкал ее. Чего она не приняла на земле,—какого позора иль неисправимой обиды?—была в ней эта ширококостая решимость, и бабьи спокойные руки открыли пузырь с нашатырем. За ней приехала карета с крестом на стенке и с колокольчиком, в который звонил кучер, и на желтых холщевых носилках увидел Кирилл ее толстые ноги в незастегнутых башмаках и рваную шубу, закрывшую горой распухшее тело. Она не вернулась в дом, снова он остался один, но он знал уже голубую отраву мечты, и вместе с Бовой-королевичем на пестрой линючей обложке помянул он недолгого их друга и рябого мечтателя.

Иногда давал отец ему деньги, и на деньги эти покупал он книжки у Макара Макарыча в его замечательной лавке в проломе ворот. У Макара Макарыча бобер воротника был рыже-вытерт колючим его подбородком; на подбородке росла седая щетинка, и легкими своими свистел он замечательно тонко. Макару Макарычу было, наверное, тысяча лет; он сидел всегда посреди лавки в огромном кресле с высокой спинкой, перед ним стоял чайник, и в полутемной лавке пахло сыростью книг, старинными переплетами и неиз'яснимым запахом старой печатной бумаги. Макар Макарыч потирал о бобер колючим подбородком, он говорил с чайником, и чайник был—верным его собеседником.

— Книга — есть жемчужина жизни. Человек истлевет со всеми своими грехами, книга же — вечна. Книга, покрытая плесенью, крепче вина. Всякий думает, что делает великое дело жизни, а только то, что останется в книге, есть действительно великое дело, прочее же все — юдоль человеческая.

Сначала Кирилл боялся, когда начинал говорить со своим чайником Макар Макарыч, чайник дымил носиком, а потом он узнал, что

говорит Макар Макарыч лишь с теми, кто любит сырой и вечный запах его книг,—и здесь, в полутемной лавченке в воротах, восполнил он голубые мечтания, которые, как первое семя, засеяла в нем Катька-гулящая. Он полюбил сырую тишину этого мира, он лазил по шаткой стремянке под самый потолок и, сидя на верхней ступеньке, сокрушался над судьбою печальной Эстеллы и пламенного Мнеморива, твердя про себя обольстительные и мало-понятные строки:

Я вижу—слабый ульм без помощи растет,
Его колеблет ветер, вода из корня рвет.
Упал, прижав покой в награду.
Дух мой, надеюсь я, то ж в жизни обретет.

Макар Макарыч говорил ему снизу:

— Отыщи-ка, друг, морские похождения адмирала Нахимова... прочти книгу об адмирале Нахимове и ты узнаешь на что способен человек, который не дорожит своей жизнью ради судьбы родины. А знаешь ли ты, что означают подобные люди?

Кирилл сидел наверху и смотрел на желтый репный кружок его лысины, подбитой жемчужным ободком волос.

— Подобные люди, — поднимал костяной палец Макар Макарыч к его ноге, — означают, что суть они — пузыри земли, по слову Шекспера, — и легкое его по-птичьему продолжало свистеть еще минуту.

Здесь, на перекладинках жидкой стремянки, восполнил Кирилл свое одиночество, он был тихий десятилетний книголюб и усердный слушатель, и Макар Макарыч мог говорить с ним обо всем и свистеть своими дырявыми легкими, сколько захочет. За три этих года множество книг прочел он в лавке Макара Макарыча, его не волновали уже судьба несчастной Эстеллы и морские похождения адмирала Нахимова, здесь прочел он „Сказку о рыбке и рыбаке“ и „Кавказского пленника“, и отсюда, из проломных ворот, из сырой прекрасной темницы Макара Макарыча, открылся ему тот удивительный мир, о котором мечтала в своих рябоватых мечтах несчастливая Катька-гулящая.

Он пришел раз к Макару Макарычу в золотеющий полдень, река голубела и дрожала на солнце, и золотыми голубями носились в синеве кресты приречных церквей. В лавке была полутьма и прохлада; Макар Макарыч сидел со своим чайником и говорил ему неспеша:

— Что есть богатство человека? Думал ли ты когда-нибудь об этом, друг?

Кирилл влез на стремянку и сел на верхней перекладинке.

— Богатство человека заключается в том, чтобы не желать никакого богатства. Примером может служить Мельхиседек... — Кирилл достал с верхней полки сырую книжечку барона Брамбеуса, — и Макар Макарыч внизу продолжал: — Ты помнишь, что изрек, прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек? — как сказано у господина Боратынского. — Рабом родился человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему

едва ли скажет, зачем он шел долиной... — Тут легкие его стали свистеть, они засвистели как-то пронзительно, дольше обыкновенного; они посвистали, и продолжать он не стал. Он сидел в кресле и глядел на чайник. Кирилл читал на стремянке барона Брамбеуса. Они долго молчали; уже чайник перестал дымить носиком. Вдруг дверь отворилась, и вошел неизвестный человек в картузе с прямым козырьком. Он спросил Макара Макарыча:

— Есть у вас алгебра?

Макар Макарыч ему не ответил: он спал. Тогда человек дернул его за рукав и снова спросил:

— Есть у вас алгебра?

Кирилл поднял было голову от книги, и внезапно человек внизу сказал как-то негромко и очень спокойно:

— А ведь старик-то помер!

Тут снесло вниз Кирилла, он увидел один голубой глазок, глядевший мимо, и ячменную желтизну щек Макара Макарыча... Так он и умер здесь, как сидел со своим чайником, его учитель и друг, и два дня спустя проводил он его напоследок. Мало народу провожало Макара Макарыча, а многих он просветил, многие стали студентами: и даже профессорами, и никто не пришел его проводить. Золотела весна, первые колючие стрелы выпускали кусты, тихо распушился город садами и грачи кружились над прошлогодними гнездами.

V

В эту вёсну Арине Ивановне привезли на побывку племянницу Вареньку. Кирилл ее встретил на лестнице спустя много дней, когда уже по-домашнему сбегала она с ведром. Она была очень худа, тонконога, ей шел пятнадцатый год, но глаза у нее были во все лицо, и глаз таких, наверное, не было ни у кого. Он посмотрел на нее и спросил:

— Вы — Варенька?

Она ответила:

— Да.

Он сказал:

— А я — Кирилл Безсонов.

Она смотрела на него удивленно. Тогда он сказал еще:

— Я, — Кирилл, молочный брат Валериана.

Вдруг она улыбнулась: наверное, он был очень смешон, картуз был ему мал, из-под него торчали золотые вихры. Все же он не убежал. Они стояли на лестнице и смотрели друг на друга. Наконец, он снова сказал:

— Мне четырнадцать лет, а вам сколько? *

Она ответила:

— Пятнадцатый.

Тогда пролился он ливнем:

— Валериан не умеет читать, он ничего не читал, а у меня много книг, и я все их прочел... а вы читаете книги?

Варенька любила читать книги, и они уговорились, что он тоже даст прочесть ей все книги, какие есть у него. С этого дня началась его новая дружба. Арине Ивановне некого было посылать в лавочку и некому было стирать белье Валериану. Варенька бегала в лавочку, была за няньку для маленьких и стирала Валериану белье, у нее были проворные руки, и она тоже была сирота.

За домом сейчас же теплел тишиною садик: он был зажат заборами, в саду были дикие яблоньки, осенью обраставшие гусеничною паутиной, садик был дик и заброшен, никто не приходил сюда. Здесь можно было много думать, вспоминать Макара Макарыча и встречаться с Варенькой. Варенька прибегала сюда днем на полчаса, когда уходила Арина Ивановна из дому. От нее пахло кухней, и березовые стружки запутывались в тонких ее волосах. Он приносил сюда книги, здесь плечо-о-плечо прочли они „Сказку о рыбаке и рыбке“ и читали они, содрогаясь, „Князя Серебряного“, а над ними лился сквозь гусеничную паутину горячий полдень, и тихо золотела щека Вареньки, как нежное осеннее яблоко. Много замечательных книг прочли они с Варенькой в это лето, через год отец отдавал учиться на завод, и Кирилл дочитывал последние книги своей мальчишеской вольной жизни. И здесь, в саду, впервые случилось так, что стало вдруг в их жизни всё, как бывает лишь в книгах,—и знали ли они, что отсюда, из их полудетских встреч, из сказок о Балде и о рыбке протянется через всю жизнь первая горечь и первая горьчайшая тоска встревоженного сердца?

На яблоньках завязался дичок, лето надломилось, и костяною пуговицей пришит над садом был месяц. Днем раз не пришла сюда Варенька, он тщетно прождал ее с книгой, и вечером пришел он сюда вторично подумать и погрустить. Прохладно пахнул табак в соседнем саду. Кирилл сидел на скамейке и думал, отчего не пришла Варенька днем—наверное, весь день не пускала ее Арина Ивановна; глупая такса Мирка лаяла у ворот. И вдруг увидел он, что идет сюда Варенька, шла она тихо, она не думала, что встретит его и села рядом молча. Он спросил ее горько: — Варенька, отчего не пришла ты днем?

Тогда худенькие ее плечи вздрогнули, и внезапно она разразилась, она плакала и зажимала лицо ладонями, и ужас жалости и отчаяния сокрушительно сдавил его сердце. Он хватал ее за мокрые руки, она отнимала их, сквозь слезы они говорили друг другу словами печали и радости, и в этот вечер поклялись они, что никогда не забудут один другого. Потом сидели оба с мокрыми щеками, плечо к плечу, и Варенька говорила ему:

— Я тоже тебя люблю. Я всегда буду читать вместе с тобою книги. Тетенька уезжает в Казань, я должна ехать с нею. Если б ты был большой, ты бы женился на мне... я все бы для тебя делала, мы вместе читали бы и жили бы вместе...

Он говорил ей, что в будущем году поступает в ученье на завод, все равно он никого никогда не будет больше любить, она подождет его только четыре года, а восемнадцати лет мужчины могут жениться, тогда он придет за нею в Казань и возьмет ее с собой навсегда. Полосы слез застыли на их щеках, сердце его ломилось от счастья и невыразимой боли, и хрупкий осенний месяц лился над ними смуглым желтеющим светом. В эту осень снялась Арина Ивановна со всеми своими сундуками, перинами и птичьими клетками, она уезжала в Казань, и в птичьей клетке она увозила с собой его залетную сиротскую птицу.

Варенька уехала, она заронила в него первую взрослую тоску, и книги не утешали его. Он думал о том, как за Варенькой придет в Казань, как будут они всегда вместе, и восхитительные сновидения сменяли меркнувший день.

В квартиру Арины Ивановны приехали новые люди—хозяин бондарной мастерской с женой; они были бездетны, много шкафов и пузатых комодов втащили по лестнице к ним. Бондарь был маленький, рыже-багровый, в люстриновом пиджачке; утром уходил он в свое заведение, и дома оставалась жена. Она пела высоким голосом песни и скучала у окна. Она была высока, белолица, и малиновка в алой жилетке подпевала ей и сыпала ей на пробор конопляные зерна. В соседнем дворе, в трепальном заведении, Кирилл видел часто, как в длинных пыльных сараях треплют пеньку трепачи; трепачи выбивали пеньку, работницы обчищали ее деревянными гребнями и волокли пуками под пресс; пресс мял ее и давил, и меж тяжелых пеньковых бунтов под навесом—была тишина и тень. В часы солнцепека, в обеденную пору истома, отдыхали работницы на бунтах, трепачи пробирались к ним, женщины были разомлелы, вяло визжали и били их по рукам. И потом наступала вдруг тишина: солнце лилось, куры лежали в пыли,—он не знал, что делается там, на бунтах, но сердцу его было тесно, и зыбкое блаженное пламя теплилось в него. Когда уехала Варенька, он перестал заглядывать к трепачам. Варенька—была легкая, стеклянная, а здесь—было смутное, тяжело бродящее в четырнадцатилетней крови, и сердце от этого билось не так, как должно было биться.

Он уходил теперь обедать один в извозщичий трактир, возле пристани. Трактир был в подвале, в нем было душно и накурено и, распоясавшись, сидели большие синие извозчики, цилиндры их с бляхами стояли рядом, извозчики наливались чаем, вытирали лбы, и половые в полотняных грязных штанах высоко несли над плечом расписные пузатые чайники. Он ел свой нехитрый обед за пятнадцать копеек, которые оставлял ему отец, слушал степенные извозщичьи разговоры и проникался уважением к этим людям, которые знали город, как птичью клетку, все дома и многих замечательных людей. Они возили докторов и купцов, и актеров, знали кто с кем путается и кто на чей счет живет, и в пыльных их бородачах запутывались замечательные вещи.

Иногда с'едал он на гривенник шей, а на пяточок покупал папирос, он шел домой неспеша, курил и сплевывал горькую слюну. Жена бондаря сидела у окна, подперев подбородок, у нее были круглые дуги бровей, и глаза ее были потуплены — так чуть-чуть потуплены, словно солнце и зной щемили их. Раз он поглядел на окно, на розовые голые ее локти, — и приспущенные глаза поднялись, они тоже поглядели на него и улыгнулись. Они глядели на него и улыбались. и он почувствовал вдруг, как та же зыбкая тоска, какая в нем лоднималась, когда видел он, как отдыхают работницы на пеньковых бунтах, залила его горячо, — а глаза смотрели на него и тайно улыбались, она опустила голову вниз, и губы ее шевелились, словно что-то она говорила. Тогда — весь липкий от пота, стыда и волнения — он толкнулся пребольно об угол ворот и убежал в сад... Он сидел в саду и думал о Вареньке, он хотел думать о том, как поедет за нею в Казань и увезет ее с собой навсегда, но он думал о жене бондаря, сердце его колотилось неистово, и со лба бежал пот. Отчего шевелились ее губы и что она говорила? И отчего улыбались ее глаза — тайно, словно под занавеской?

Он снова увидел жену бондаря через день; она лежала в окне щекой на руках, она поглядела на него и спросила:

— Как тебя зовут?

Он ответил:

— Кирилл.

— Почему ты всегда смотришь вверх? — Он стоял внизу и молчал. — Я тебе нравлюсь?

Опять пот полил по его лицу; ему было стыдно, и он не мог убежать.

— Что же ты молчишь? Сколько тебе лет?

Он ответил:

— Пятнадцать.

Она сказала снова:

— Помоги мне вытрясти коврик. — Он молчал. — Почему ты молчишь все? Не хочешь, я другого кого-нибудь попрошу.

Тогда он сказал:

— Не надо никого, я справлюсь и сам.

— Так зайди ко мне.

Он побежал по лестнице вверх и едва не задохнулся. Она открыла ему дверь и стояла перед ним, улыбаясь.

— Как же ты запыхался, — глаза ее смотрели на него бесстыдно, розовые губы все улыбались; она взяла его за руку и повела за собой. Большая дубовая кровать стояла посреди спальни; в зеркале он увидел худого парня, очень рослого и похожего на него: глаза его черно запали, и золотые вихры нелепо торчали. Внезапно белая рука женщины легла ему на вихры. Женщина сказала:

— Что же, ты никогда не причесываешься разве?

И она взяла со столика гребень. Она долго разбирала его волосы гребнем, он стоял перед нею, он видел близко ее грудь и не смёл поднять глаз; неизвестное тепло шло от женщины. Наконец, она сказала: — Вот так.

Тогда увидел он в зеркале другого парня, он был причесан на пробор, и рука женщины лежала на его плече. И парень в зеркале поднял вдруг свою руку и коснулся белой женской руки. Он коснулся этой сухой теплой кожи, и горячее дыхание женщины почти жгло его ухо. Тогда быстро он повернулся назад, он увидел совсем близко притушенные глаза женщины, смотревшие ему в подбородок. И он сделал так, как делали трепачи во дворе, он обнял женщину и прижался к ней. Он весь дрожал, прижимаясь, женщина гладила одной рукой его волосы и тихонько смеялась, она не отталкивала его и смеялась, она сказала, наконец, очень спокойно:

— Погоди. Я закрою дверь.

Она закрыла дверь и вернулась; она остановилась возле дубовой постели и закинула руки за голову. Она долго выгибалась так назад, закинув за голову руки, кровь прилила к ее лицу, и тогда не он, а кто-то третий, быстро подбежал к ней и перехватил ее руками у поясницы...

Он убежал домой и лег ничком на постель. Постель, комната, мир пылали,плыли. Где была Варенька — и была ли она? Варенька навсегда уплывала, как легкое зыбкое облако полдня, и за нею вослед уплывал тот, кто по-мальчишески грезил на садовой скамейке, зажатой между досчатым забором. Узнанный, мужской, суровый и победительный мир пришел в этот полдень на смену...

И новый парень, причесанный на пробор, увидел вдруг, что отцовские сапоги не по ноге ему и изношены, и он понял, что можно лихо вставить папироску наискось в рот, и в стальной глубине полдневного зеркала можно обнимать, не бледнея, притихшую женщину, как не обнимал ее, наверное, никогда бондарь, и быть настоящим по-мужски...

В этот год, накануне весны, умер отец. Он догорал люто, в его туберкулезной груди бушевали страшные силы жизни, он не хотел уходить, он противился изо всей силы, — и все же по весне он ушел. Кирилл Безсонов узнал в эту весну последнее одиночество. Все же отец — был живою и близкой душой, мужскою упорною волею сберег он восковую свечу его жизни, и ради сына отказался от жены и от женщины. Было талое предмартье, туманные дни, — в эти туманы уходил отец навсегда. Его схоронили на том же кладбище, где лежала жена, рядом с ней, рядом с каменным ангелом, который тщетно пытался взмахнуть тяжелыми крыльями. Стоя возле могилы отца, знал Кирилл, что теперь вполне положила жизнь ему на плечо свою холодную руку. Он вернулся один в пустую квартиру, стал у окна, и меньше всего мог он думать о том, как теперь будет жить один. Именно в этот год стали ему ближе всего заветные те

и простые тетради, куда заносил он поющие строки своего одиночества.

Ему было пятнадцать лет, его вихры закурчавились в золотую россыпь волос. И в эту вёсну приятель отца, токарь Ягодкин, устроил его учеником на завод. У Ягодкина была синяя бритая губа и черные проворные глазки под большими очками. Он привел раз Кирилла к себе и посадил его перед собой.

— Ну, как же теперь будешь ты жить?—спросил он погодя.— Учиться надо. Другие времена пришли, недаром война бушует... большие будут дела..

Кирилл ответил

—Я учусь, как могу.

Он был пока в выучке в токарном отделении; в токарном отделении с пронзительным визгом вытачивали станки самые тонкие штучки — штучки эти были нужны для войны. Он пришел на завод и увидел, как все здесь прилажено, как каждый болт крепит общую стройку, и он почувствовал уважение к человеческому труду. Человек трудился, придумывая всю эту головокружительную систему, и люди трудились, давая этой системе жизнь. Здесь открылось ему все, чему учил его Макар Макарыч — о запечатленном слове человека и о многих его делах. Дома он сколотил себе полку и собрал в рядок книги, какие остались у него от Макара Макарыча. Он был теперь один вполне — сам с собой, со своим одиночеством и песнями, которые слагал для себя. Жене бондаря давно он наскучил, во флигель переехал музыкант из оркестра, у него были длинные волосы и бархатный пиджак, и музыкант терзал вечерами сердце жены бондаря волторной, вопившей человеческим голосом. Кирилл поскучал по женщине и отвык.

— Учиться нужно много, брат, если хочешь стать человеком... тут самоуком не сделаешь ничего. А начало пройдешь, тогда дорога тебе не указана,—иди куда сам захочешь.

Этого замечательного человека, простого токаря и бескорыстного друга, Кирилл Безсонов запомнил в том же ряду своих первых вожатых. Был Ягодкин из тех редких людей, которые дошли одним только своим чутьем до человеческой высшей ступени. Раз под вечер привел он к нему нескладного и носатого парня, парень был — студент Лебедкин, за неспособность к войне служил он санитаром в военном лазарете, и студент Лебедкин стал первым его, Кирилла, наставником. И жизнь сложилась — между заводом, между вечерними этими часами, когда помогал Лебедкин ему вгрызаться в биномы и в синтаксис, и между заветными часами досуга и одиночества, заветными потому, что именно в эти часы легко и певуче слагались песни. Эти свои тетради со стихами Кирилл не показывал никому, скрывал он даже их от Лебедкина, приносившего с собой запахи иодоформа и неизбывных страданий людей, разбитых войною. В этом угреватом человеке с шеей в фурункулах был неиссякаемый источник познаний, он

словно поставил себе узнать все в этом мире до конца и он мог говорить о чудесах мироздания, о биномах Ньютона и о русской начальной письменности так же просто, как о своих лазаретных делах и о том, что ожидает Россию после войны.

Он исчез с первым зовом о прекращении войны, он появился в городе снова только два года спустя, когда уже шла революция, и Кирилл увидел впервые приказ, подписанный его именем. Тогда он разыскал его в простуженном здании бывшего городского архива, он простоял в очереди к нему на прием два часа. Лебедин был такой же — линючий и угреватый, только на шее, от недоедания, верно, было побольше фурункулов, и Лебедин сделал для него то, о чем мечтал Ягодкин и о чем мечтал он, Кирилл Безсонов, для себя, как о невозможном. Он устроил его на рабфак и он устроил далее, что завод, на котором тридцать лет работал старик Безсонов, — завод помог Кириллу Безсонову уехать из приречного этого городишки в большой столичный город учиться.

На знакомой досчатой платформе грустно и накрепко простился с Ягодкиным Кирилл. В последний раз заглянул он в черные глазки за большими очками, и этого чужого ему человека, который бескорыстно сделал столько для него, оставил он с горечью неутолимой утраты. Он долго махал ему из окна вагона; проплыл назад город, в котором прошли его первые годы, в котором оставались могилы самых близких, самых нужных людей, сползла назад серым тесом знакомая нищета Приречья, и осенние поля расстелились по сторонам безрадостными колючими жнивьями. Подавив в себе грусть, сдвинув брови, Кирилл Безсонов долго, до ночи, стоял у окна вагона. Он ехал отсюда с упорною мыслью, с упорной волей — учиться, с упорной жаждой труда и преодоления жизни. И огромный город встретил его два дня спустя — толчеей, прекрасной московскою осенью, вечерне блистающими дождем камнями мостовых и неповторимым первым волнением, когда вошел он, наконец, в студенческое общежитие, чтобы жить здесь и устраиваться на долгие годы ученья.

Так этой осенью, невероятно и непохоже на все, что знал он доселе, началась для Кирилла Безсонова заново жизнь.

(Продолжение следует.)

Лейтенант Шмидт

БОР. ПАСТЕРНАК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Окончание¹)

17. Обход эскадры

Вдруг взоры отвлеклись к затону.
Предвидя, чем грозит испуг,
Как вены, вскрыв свои кинстоны²),
Шел ко дну минный транспорт «Буг».

Он знал, что от его припадка
Сместился бы чертеж долин:
Всю левую его лопатку
Пропитывал пироксилин.

Полуутопший трапецоедр
Служил свидетельством толпе,
Что бой решен, и рыба роет
Колодцы под смерчи торпед.

Что градоносная опасность,
Нависшая над кораблем,
Брюхата паводком снарядов,
И, чернь по кубрикам попрятав
Угрозой, водкой и рублем,
Готова, не стерпевши, хряснуть,
Как мокрым косарем кочан,
Арапником огня по трапам;

Что их решили взять нахрапом
И рейд на клетки разграфлен.

Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты

¹) См. «Новый Мир», №№ 8-9 1926 г., и 2, 3 с. г

²) Кинстоны—каналы, ведущие в балластные цистерны двойного дна

От града, и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,

В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первой?
Об'ехать эскадру,
Усовестить ядра
На мушку подвигнуть зверё из верфей.

И на миноносце ушел он туда,
Где, небо и гавань лоя в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династией далее дымились суда.

Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу,
Под лад броненосцам
Качался и несся
Обрывистый город в шпалерах маслин.

Поднявшись над скопом
Слепых остолопов,
Ворочая шеей оград и тумб,
Летевший навстречу ему Севастополь
Следил за ним
За румбом румб.

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз,

Он не спешил. На миноносце
Щадили винт.
Он чуть скользил, а берег несся
Как в фордевинд ¹⁾).

И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность?
Неужто сброд,

¹⁾ Фордевинд—первый полутный ветер.

Грязнивший слух, как сток галлюнный⁴⁾
Для нечистот?

С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.

Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

Снова, на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.

Снова по рейду и по реям
Громко пронесся красный вихрь:
Бывший «Потемкин», теперь—«Пантеле~~мон~~»,
В освобожденных узнал своих.

Снова, приветствуем экипажем,
На броненосец всходил и глух
И офицеров брал под стражу
И уводил с собой в залог.

В смене отчаянья и отваги
Вновь, овираясь, мертвел, как холст:
Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.

По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,
За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони увидев рейд.

«Эх»,—простонал,—«подвели, канальи»

Натиском варев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняла
Тучи, косматясь, как в холода.

С суши, в порыве низкопоклонства
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,

⁴⁾ Галлюн—отхожее место на корабле.

Камни и тени, скалы и солнце
В воду и вечность, как невода.

Все закружилось так, что в финале
Обморок сшиб, его без труда.

Был выпретен, как сердце,
И тих закат, как вдруг
Метнула пушка с «Терца»
Икру.

18. Гибель «Очакова»

Мгновенный взрыв котельный,
Далекий крик с Байдар,
И — под воду. Смертельный
Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой,
Чтоб пасть и опростаться
Пальбой.

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружия
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

Уже давно затих обстрел.
Уже давно горит судно

В костре. Уже давно быстрее
Летят часы. Затих
С последней вспышкой треск шутих,

И крейсер догорел.

Глухая ночь. Чернильный ров
Морской губы. Слепой покров
Бегущих крыш и катеров
В чехлах прожекторов.

19. Последнее письмо

Все отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья.
Жребий завиден: я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем — у цели
И по пути в пустяках не увяз.
Крут был под 'ем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но об 'ясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят.

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок.
Лучше задержим бег рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Все позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее получения был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Братся и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в раз 'езд по фабричным районам,
В новую стачку и новый под 'ем,

Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутатий,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, все. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что, бишь, еще?
Да, а насчет Севастопольской бойни
В старых газетах — полный отчет.



Цикута

Повесть

ПЕТР ШИРЯЕВ

I

Прежде, чем позвонить, рыжеволосый юноша еще раз перечитал надпись на медной, начищенной ярко пластинке:

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Вениамин Аполлонович

ГУДИМ

Лестница была устлана ковром. Темные двери квартир, с медными дощечками, солидно разместились по просторным площадкам; внизу— купол узорного лифта, похожего на часовню. Юноша приложил ухо к замочной скважине, прислушался, и, решительно высморкавшись, нажал пуговку звонка. Все последующее произошло ужасно быстро. Большая столовая с массивной мебелью и тишиной, по которой важно расхаживал маятник больших часов, обняла юношу.

— Как доложить Вениамину Аполлоновичу?

— Скажите я... Я—по делу!.. Я сам скажу, я только что приехал, скажите...

Рыжеволосый посетитель облегченно вздохнул, когда белый фартучек горничной исчез, оставив после себя пряный запах гелиотропа. Хлопнувшая где-то дверь глотнула четкие каблучки, и в тишине столовой выпятился на глаза пузатый буфет, с многочисленными дверцами, колонками и резьбой, похожий на средневековый замок.

Юноша подозрительно осмотрелся; заглянул в одно окно, в другое и что-то пощупал в боковом кармане пиджака.

В кабинете— глухой голос пригласил садиться. Из-за письменного стола, навстречу юноше, поднялись два медленные, свинцовые глаза, казавшиеся очень большими на костлявом лице.

Оглянувшись на дверь, юноша шагнул к письменному столу и быстро проговорил:

— Я от Михаила! У Николая Петровича родился сын...

— Кто крестный?—спросил человек за письменным столом.

— Вячеслав.

Вениамин Аполлонович Гудим встал и протянул юноше руку. В глухой его голос будто открылась фортка, и стало приветливым суровое лицо.

— Ну, здравствуйте, товарищ! Присаживайтесь! От кого у вас ко мне явка?

Юноша горячо пожал протянутую руку и ужасно заторопился, когда начал рассказывать.

— Вы—товарищ Макс? Я из Нижнего. Я—Николай. Я приехал, я... Вы знаете, что Михаил Семенович арестован. Арестована Фаня, Леонид, Василий Васильевич, вся наша организация провалилась...

Вениамин Аполлонович протянул к нему дрогнувшую руку, будто пытался остановить эту торопливую речь; и, так, с протянутой рукой, снова опустился в кресло.

— Да, да!.. И Фаня, и Леонид. Я один из всей организации уцелел. По-олный разгром!—взволнованно продолжал юноша, повторяя сказанное,—аресты начались в субботу, первого арестовали Михаила Семеновича... От всей организации остался только шрифт, он сейчас у моей сестры. Я да шрифт!

Вениамин Аполлонович молчал, сгорбленный, уйдя глубоко в кресло с высокой спинкой. Ни одним словом не прервал он рассказа Николая. И когда Николай кончил—он, казалось, все еще напряженно слушает отзвучавшие слова.

— Как же уцелели вы?—спросил он, наконец, нарушая молчание, казавшееся бесконечно долгим.

Медленные глаза его поднялись к Николаю, к изрытому оспинками лицу с большим жабым ртом.

— Я... случайно не ночевал дома. Сестра предупредила меня о засаде. Если бы не она... У нее, как раз, и шрифт.

Николай проговорил это смущенно, словно чувствуя себя виноватым в том, что он один из всех уцелел.

У Вениамина Аполлоновича под нижней губой был кустик светлых волос. Он закрутил их в запятую и встал. Ковер заглушал шаги. Николай сидел у стола. Когда Вениамин Аполлонович повертывался к нему спиной, он быстро вскидывал на него глаза и провожал его наблюдающим взглядом через весь кабинет, до поворота, и так же быстро опускал глаза, лишь только Вениамин Аполлонович повертывался лицом к нему.

Опустив голову и вздернув костистые плечи, Вениамин Аполлонович долго и молча шагал по кабинету.

Николай тихо проговорил:

— Я хочу немедленно работать...

Вениамин Аполлонович кашлянул и продолжал ходить; заговорил, не поднимая головы:

— В Нижний вам, конечно, ехать нельзя, схватят. Придется послать за шрифтом кого-нибудь другого. Шрифт нам нужен. Кого-нибудь другого, да, да! Людей у нас мало, очень мало, очень... А вам мы дадим работу, работа есть, много работы!. Неужели же Михаил арестован?!—круто встал он перед Николаем,—это же, это... не-вероят-но! И Фаня? И Леонид?! Вы давно в организации? С девятьсот пятого?

Вениамин Аполлонович вдруг, быстро, нагнулся к Николаю.

— А ведь не-хо-ро-шо!—дыша в лицо Николаю, прошептал он. И шопот его был острый, колющий и страстный.

— Что?!

— Не-хо-ро-шо! — еще тише, еще острее повторил Вениамин Аполлонович. Костлявое лицо его с двумя огромными серыми глазами придвинулось так близко, что Николай с'ежился, и у него было ощущение—будто серый автомобиль с разбегу повесил над его жизнью два своих фонаря... И, глядя в них снизу, он испуганно прохрипел:

— Что нехорошо?

Вениамин Аполлонович взмахнул рукой, схватывая воздух, распустил пальцы, посмотрел на ладонь и, выпрямившись, заговорил зло:

— Конспирации, вот чего не хватает вам, молодежи! А конспирация вещь очень простая, чрезвычайна-айно простая! Надо только забыть, что вы — Николай. Надо ежесекундно помнить одно: меня, как такового—нет, не существ-ву-ет! Николая—нет! Есть организация. Поняли? Вы и каждый ваш шаг связаны с сложным и дорогим механизмом, портящимся от одного неверного движения... Вы — частичка целого. Вы — организация. И тогда конспирация становится для вас такой же естественной и простой вещью, как, например, еда, когда вы несете ложку в рот, а не в нос или в глаз... Я вдвое старше вас. Я старый работник. Но я не существую, как личность. Меня нет. Есть организация, партия, дело... Мы отвечаем перед народом...

Вениамин Аполлонович подошел к столу и, закурив, жадно затянулся. Потом протянул портсигар Николаю.

— Я не курю.

Когда Николай уходил, снабженный адресом неизвестной ему „товарища Наташи“, где он должен получить дальнейшие указания и работу, Вениамин Аполлонович задержал его на пороге.

— Забудьте, что существует Вениамин Аполлонович Гудим, — проговорил он, растягивая выразительно слова. — Такого нет, и вы не знаете такого. Есть — товарищ Макс. Никогда вы у меня на квартире не были. Поняли? Идите! Скажите товарищу Наташе, что сегодня, в семь, я жду ее.

II

Буйный, пестрый букет цветов озарял большую комнату свежестью красок, и от них в комнате казалось расцветней и больше воздуху. Невольно вспоминалось поле, где так много неба. И может быть от этого, печаль на красивом лице Наташи проступала ярче и запоминалась. Она сидела у окна, сцепив на колене голые, обвезанные загаром руки. Николай только что кончил печальный рассказ о разгроме Нижегородской организации. Он в первый раз видел Наташу. Наташа впервые видела его.

— Когда вы приехали?—мягко, будто по бархату прошла словами, спросила Наташа.

— Сегодня утром. Я с вокзала прямо к товарищу Макс.

— Макс, конечно, читал вам поучения, а чаю не предложил,— с улыбкой встала Наташа.—Он у нас такой... Понравился он вам?

Такая же тихая и мягкая в движениях, как и в словах, она неторопливо накрыла стол, принесла самовар, колбасу, сыр и, усевшись против Николая, строго следила за тем, чтобы он ел и сыр, и колбасу, и ватрушки.

— Ешьте и не возражайте! Люблю, когда едят с аппетитом. Простите, я не дослушала, что вы сказали о Максе?

— У него очень большие глаза. Такие... кажется, одни глаза, а ничего другого нет!

Наташа серьезно сказала:

— У него большое сердце... Вот поработаете у нас—убедитесь. Сколько вам лет?

— Двадцать один... Т.-е. почти двадцать один, — смутившись, поправился Николай и, помолчав, неожиданно добавил:—в ноябре сравняется двадцать...

— У вас в Нижнем есть родственники?

— Сестра Лиза.

— Это у нее лежит шрифт? Она беспартийная?

Наташа задумалась. Николай исподлобья наблюдал за ней. На одном из пальцев правой руки она носила кольцо. Николай раз и два посмотрел на кольцо и спросил:

— Вы та самая Наташа... Ваш муж осужден по делу киевской организации?

Наташа тихо кивнула головой.

— А вы откуда знаете? Вам говорил Макс?

— Нет, Михаил Семенович рассказывал...

Наташа не спросила, когда и что рассказывал Михаил Семенович Николаю; обвела пальцем узор скатерти и, подавив вздох, выпрямилась.

— Я вас, товарищ, пока направлю в Кусково, на дачу. Там поживете для дезинфекции, оглядитесь! Потом и на работу. Паспорт у вас есть?

— Да.

— Надежный?

— Настоящий.

— А деньги?

— Тоже есть.

— Сколько? А ну.., показывайте вашу кассу! Рубль десять копеек?! И это все?!—рассмеялась Наташа, заглянув в кошелек,—да вы комик!

Она достала из стола пятнадцать рублей и всунула их в кошелек Николая.

— Теперь вы нелегальный, не рассуждайте!. Кстати возьмите цветочков, подарите их от меня Оле. Хозяйку дачи зовут Ольга Александровна, запомните. Там очень хорошо, отдохнете и успокоитесь, а работы у нас хватит..

Проводив Николая, Наташа подошла к раскрытому окну и, выждав, когда он выйдет из под'езда, долго наблюдала за ним.

Выйдя из под'езда, Николай посмотрел на номер дома, где жила Наташа, и, словно запоминая что, осмотрелся по сторонам. Потом торопливо зашагал по улице и, раза два оглянувшись, скрылся за углом. Извозчик, стоявший на другой стороне улицы, трусцой поехал по тому же направлению.

III

Наташа, а с нею и весь комитет, были уверены в благополучном исходе поездки за шрифтом. Было решено послать Сергея, а Сергей был старым, опытным волком в таких делах. По внешности Сергей напоминал скорее молодца из Охотного ряда, чем революционера-подпольщика. Длинный пиджак и сапоги бутылкой дополняли сходство. Самому Сергею поездка казалась пустяком и, в ответ на наставления Вениамина Аполлоновича о конспирации, он так уморительно поклонился стриженной в скобку головой и так по-охотнорядски почтительно снял и развел сукожным засаленным картузом, что все расхохотались. Даже нервный и вспыльчивый Адольф.

— Не извольте сомневаться, барин, рыбец-с первый сорт-с! Покорнейше благодарим-с, милости просим в другой раз!

По дороге в Нижний Сергей усердно наливался чаем из захваченного с собой чайника, ел колбасу, крупно нарезанную перочинным ножом, крестился и икал. С предупредительностью лавочника помогал соседям размещать по полкам багаж и при каждом случае извинялся

— Виноват-с, что вы изволили сказать? Никак-с нет!

На вокзале в Нижнем Сергей долго и навязчиво расспрашивал у жандарма, как ему пройти на Больничную улицу; потом толкался по вокзалу, пил в прикуску чай в буфете третьего класса и вышел с вокзала только тогда, когда убедился, что за ним не следят.

Сестра Николая жила на окраине города. На звонок Сергея вышла молодая женщина с приветливым лицом.

— Лизавета Семеновна Новожилова здесь квартируют?

— Здесь. Вам что?

— Нам повидать ее...

Молодая женщина посмотрела на рыжий кожаный чемодан в руке Сергея. Сказала, немного удивленная:

— Я Елизавета Семеновна.

Сергей улыбнулся и решительно шагнул в калитку.

— Здравствуйте, я—от Коли. Он вам кланяется и просил передать, что жив и благоденствует.

— От Коли?! Боже мой!—радостно всплеснула руками Елизавета Семеновна и заторопилась, пропуская вперед Сергея,—заходите, заходите пожалуйста! Я так за него беспокоилась, так боялась! Значит все благополучно?

В маленьких комнатках было опрятно и пахло яблоками. На одной из стен висел большой портрет Толстого.

— Мы с мужем как проводили его— все время беспокоились! Боялись, что по дороге его арестуют. Слава богу, что все хорошо! Как он там живет, как устроился?

— Великолепно!

Сергей совсем не знал, как живет Николай, и видел его только один раз, в день отъезда, когда получал от него необходимые для поездки сведения.

— Я к вам за багажом,— многозначительно посмотрел он на Елизавету Семеновну,— цел он?

— Шрифт?

— Да.

— Цел, цел, с ним столько было хлопот! Прятали, перепрягивали, у нас в городе обыски без конца.

Сергей до вечера просидел в маленьких чистых комнатах, где так славно пахло яблоками и медом. За чаем он вел бесконечные споры с Елизаветой Семеновной и ее мужем, доказывая несостоятельность толстовского учения о „непротивлении злу“. Муж Елизаветы Семеновны с вдумчивым, апостольским лицом мягко возражал. В его мягкости чувствовалась сталь, которую не сломать.

„Какие милье, славные люди!“— думал Сергей, сидя на извозчике с об'емистой корзинкой в ногах. К ручке корзины веревочкой был привязан чайник из белой жести.

Жизнь подпольного работника-революционера напоминала всегда Сергею жизнь пчелы, собирающей в полях и садах драгоценную медовую влагу. Незнакомые города, чужие дома и семьи, люди, с которыми часто встречаешься не вый и последний раз, были чашечками цветов, в глубине которых теплился огонек сочувствия, огонек одной и той же огромной любви к свободному, прекрасному будущему. И в этих случайных встречах с людьми, доселе неизвестными,— поэтому велись речи, очищенные от житейских будней и дряг, речи о народе, об идеалах, об общем всечеловеческом счастье. И быть может поэтому, после

таких встреч, оставалось светлое и радостное чувство на душе, сильнее верилось, а люди, с которыми только что расстался, — казались милыми, добрыми, прекрасными. И не пугали опасности этой жизни. Корзинка со шрифтом казалась тем чудодейственным средством, которое спасет и очастливит, наконец, человечество.

— Хороший город Нижний! — сказал Сергей извозчику, чувствуя потребность что-нибудь сказать.

— Первый город! — с достоинством отозвался извозчик, окая, как истый нижегородец. — Ярмарки такой не сыскать. Из Москвы будете?

— Из Москвы. К сестре приезжал. Сестра у меня тут отдана, — начал врать Сергей, присматриваясь к извозчицьею спине и думая том, что извозчики часто бывают шпиками, — сено у вас почему?

— Сена нынешний год дорогие!

„У извозчиков сена и овес всегда дорогие!“ — подумал Сергей и, почему-то решив, что извозчик не шпики, успокоился и заговорил об ярмарке.

В вагоне он опять наливался чаем, ел колбасу, вел разговоры с почтенной чуйкой напротив, плевал на пол и растирал плевки сапогами. Подъезжая к Москве, он прошел два раза по вагону. Ничто не внушало подозрений. Все пассажиры казались обыкновенными пассажирами.

„Кажется, все в порядке!“ — подумал он, — на Курском выйду вместе с этой чуйкой, заведу разговор, так лучше!“..

— И куда спешат?! — сказал он чуйке, когда поезд остановился, и пассажиры бросились к выходу, — все выйдем, успеем... Нецивилизованный народ пошел!

— Да уж... — неопределенно согласилась чуйка и втиснулась в кашу, образовавшуюся на площадке.

Тяжелая корзина оттягивала плечо, но Сергей старался держаться прямо, свободно, делая вид, что корзина совсем легкая.

— Один раз, в позапрошлом годе, послал меня, например, хозяин в Царицын, — громко врал он, идя рядом с чуйкой к выходу, — поехал я, изволите видеть, приезжаю, значит, туда...

Широкая рука прочно взяла Сергея сзади под локоть. Он не успел додумать какой-то мысли. Рослый жандарм очутился близко-близко. Слева — человек в штатском протягивал руку к корзине.

Мысль лопнула режущими осколками:

„Вокзал... Толпа... Скроюсь“...

От толчка с жандарма свалился картуз, но цепкие руки осадил Сергея назад, и, казалось, вся толпа, все толкавшиеся на вокзале люди всей своей многопудовой непосильной тяжестью повисли на плечах. Десятки глаз со всех сторон протянулись к Сергею — испуганные, непонимающие, любопытные, но все чужие. И острое сознание одиночества, тоскливое и вместе с тем успокаивающее, как в сердце сталь, вошло в Сергея...

В дежурной жандармской комнате Сергей снял картуз, вытер потный лоб и, глядя на корзину, около которой, развязывая, уже хлопотал торопливо человек в штатском, с искренним сожалением произнес:

— На кой же чорт я пёр все это сюда?!

— Для нас меньше хлопот! — язвительно отозвался в штатском, поднимая к Сергею лицо от корзины.

Сергей, на всю жизнь запоминая это запрокинутое ноздреватое лицо с тараканьими усами, с отвращением и ненавистью плюнул в него.

IV

Об аресте Сергея первым узнал Адольф. Сергею удалось переслать из участка на волю коротенькую записку:

„Арестован на Курском вокзале по приезде. Провокация несомненна. Сергей“.

Прочитав записку, Адольф подошел к зеркалу и, дернув за нос глупое лицо, смотревшее на него из зеркала, поклонился:

— Здравствуйте! С приездом!..

Потом перечитал еще раз записку. Страшными были последние два слова: „Провокация несомненна“.

Торопливо напихав во все карманы с полдюжины газет — без газет Адольф не чувствовал себя Адольфом, Адольф помчался к Наташе. Когда шел по улице, ему казалось, что он едет в вагоне поезда, и назойливые колеса отстукивают одно и то же слово: — Провокация... Провокация. Провокация... С этим словом в голове и на языке он отчаянно дернул за ручку звонка у Наташиной квартиры. Наташа сама открыла дверь. Увидев Адольфа, она замахала обеими руками. У нее было встревоженное, помятое лицо.

— Уходите скорее! Уходите! У меня только что кончился обыск!

Как кегельбанный шар от борта, Адольф задом откатился назад, забыв о цели своего прихода. Два пролета лестницы промелькнули сном.

— Адольф! Адольф! Минутку! — перегнувшись через перила, сверху звала его Наташа.

Адольф опомнился на третьей площадке.

— Сергей арестован! Провокация! — крикнул он снизу Наташе и, не слушая ее умоляющего зова, нахлобучил на нос кепку и выкатился на улицу. Торчавшие из всех карманов газеты делали его круглую фигурку смешной и нелепой, похожей на странную полуоципанную птицу с надломленными крыльями. Промчавшись несколько сажень по тротуару, опрокинув лоток с грушами у разносчика, он круто остановился, подумал, и так же стремительно понесся обратно.

Наташа, открыв дверь, поймала его за пиджак и почти силою втащила в коридор.

— Куда вы умчались?! Расскажите скорее, в чем дело? Надо предупредить Макса! Надо собраться немедленно и обсудить. Рассказы-

вайте же скорей! У меня рылись всю ночь, до утра. Ничего не нашли. Адреса я успела уничтожить.

Пугливо озираясь и прислушиваясь, Адольф сунул Наташе записочку Сергея, свернутую в микроскопический шарик. Адольф держал его все время в руках, пока шел по улицам, готовый в любой момент проглотить.

— Читайте скорей! Сергей арестован, провокация, — скороговоркой проговорил он, — прочли? Проглотите сейчас же!

Адольф вырвал у Наташи записочку, скомкал ее и сунул Наташе ко рту.

— Глотайте!

Наташа не могла удержаться от улыбки.

— Зачем же глотать, когда можно сжечь?..

Адольф вместо ответа быстро сунул шарик в рот и глотнул, выпучив круглые глаза.

— Ну, я пойду! — повернулся он к двери.

Наташа опять поймала его за пиджак.

— Да подождите вы!.. Где соберемся? Надо, необходимо собраться. Завтра, послезавтра? Надо Макса предупредить...

— В субботу, на Якиманке, в семь! — шопотом выпалил Адольф и, не слушая Наташи, выскочил в дверь.

Вениамина Аполлоновича дома не было. Адольф оставил ему записку:

„Сережа серьезно болен. Зайдите навестить тетушку, Наталия Андреевна очень расстроена, ей тоже нездоровится“.

Под словом „тетушка“ подразумевалась конспиративная квартира на Якиманке, где происходили заседания комитета.

В этот день и улицы, и дома, и люди странно переменялись. Городская сутолока с ее экипажами, трамваями, конками, магазинами и пивными, с ее тысяченогим торопливым шмыгом тротуаров, где тысячи незнакомых дюдей встречаются, расходятся, обгоняют друг друга, спеша каждый по своим делам, со своими мыслями и мыслишками, радостями и печальями, вся эта суета праздная и непраздная, без которой подпольный революционер, как без воды рыба, не мог бы жить и дышать, — в этот день была похожа на огромного дикобраза, выпустившего свои колючки на каждом перекрестке, на каждом шагу, в трамваях, с извозчиков, из под'ездов каменных, незнакомых Адольфу, громад. Каждый встречный был предателем; предательством дышала каждая улица и каждый камень. И было такое ощущение, что над головой шевелится страшная крыша, готовая каждую минуту обрушиться. Иногда казалось, вот-вот из всей этой суеты и уличного грохота протянется неведомая рука сзади и... схватит. И невольно Адольф втягивал в плечи голову и ускорял шаги. У театра Солодовникова на огромной розовой афише он пять минут читал крупно

написанное слово „Пре-датель“, вместо „Кармен“. Тверскую Адольф обошел. Там был переулочек с зловещим тупиком, хорошо знакомый каждому революционеру. И самое название переулочка „Гнезниковский“ в этот день звучало змеиным, затаенным укусом предательства и ядом.

На Никитском бульваре Адольф присел на скамью и закрылся „Русскими Ведомостями“. Мысль его безнадежно кружилась по заколдованному кругу.

„... арест Сергея, обыск у Наташи, предательство... Кто?“

Ответа не было. И было страшно.

Господин в золотых очках и котелке слишком внимательно посмотрел на Адольфа как раз в тот момент, когда Адольф выглянул из газеты. Адольф поймал этот взгляд, и мураши скатились от затылка, за воротник, по спине. Хитрые глаза из-под золотых очков проникли глубоко внутрь и, казалось, нащупали как раз то, что тщательнее всего было спрятано. Стараясь казаться беспечным, но чувствуя, как ноги просят бежать вдоль по бульвару, Адольф встал. Сердце колотилось, как у пойманного воробья. Медленными, неторопливыми шагами он пошел в сторону, противоположную той, куда шел господин в золотых очках.

— Сейчас повернет за мной... Шпик!..—прыгала мысль, и Адольф едва удерживался от того, чтобы не обернуться. Почувствовал вдруг в желудке проглоченную у Наташи записку Сергея; будто это была не микроскопическая бумажка, а булыжник из мостовой. Ноги не слушали увещаний старого подпольщика и срывались, готовые улепетнуть и бросить на произвол судьбы туловище и сдерживающую их кучерявую голову конспиратора.

В таких случаях всегда развязывается шнурок у ботинка... Адольф остановился и, нагнувшись, скосил назад выпуклые глаза. Золотых очков не было, но как раз напротив торчали два подлые, рыжие глаза субъекта в коричневом костюме. Здесь ошибки не могло быть.

Адольф бегом спустился с бульвара и вскочил в проходивший трамвай. Субъект в коричневом, улыбаясь, помахал ему рукой, когда он выглянул из трамвая.

На квартиру к себе Адольф попал лишь поздно вечером. Хозяйка передала ему записку, оставленную солидным господином с бо-родавкой.

Макс писал:

„Мне сегодня нездоровится. Загляните к Наташе“. Слово „нездоровится“ было подчеркнуто. Но и без этого было понятно: и у Макса был обыск..

Квартира Макса была самой надежной квартирой. Ее и Макса берегли.

Адольф остро почувствовал, как и над ним опускается неведомая и неотвратимая рука. Он сел на кровать, как был, в кепке, с записанными во все карманы газетами и закрыл руками лицо.

— Кто?..

V

Адольф, маленький, выпуклый, странно напоминавший кепку с пуговкой на макушке, катался по комнате и брызгал торопливыми страстными фразами. Он всегда горячился и в обсуждение даже простых вопросов всегда вносил страстность.

— Так дальше продолжаться не может. Не мо-же-ет! Ждать, когда нас всех пересажаяют? Вы этого хотите? А вы? Я тоже не хо-чу! Вы знаете, что и сюда я шел с таким же чувством, как мышь в мышеловку. Я переменял трех извозчиков, шесть трамваев, пять верст пешком исколесил, прежде чем попасть сюда: Где гарантия, что за мной, за вами, за нами нет слежки? Так не-во-змо-жно!

Вениамин Аполлонович с бесстрастным лицом крутил светлый кустик волос под губой. Молчала и Наташа. Адольф поминутно останавливался перед ними и выбрасывал вперед руку, будто у него в горсти были зажаты эти страстные, прыгающие слова.

— Я спрашиваю вас, товарищи, — чем об'яснить эти провалы? Чем? Шесть провалов на протяжении двух недель! Арест Сергея, обыск у вас, у Наташи, провал дачи в Кускове!? Что это, то-ва-ри-щи-и?! Это—про-во-ка-ция! Это значит—в организации есть пре-да-тель...

— Какие же выводы?—глухо спросил Вениамин Аполлонович.

— Выводы? Выводы?—выкрикнул Адольф и описал по комнате полукруг,—выводы? Извольте! Я настаиваю на временном роспуске организации.

Вениамин Аполлонович нахмурился. Адольф заметил это и закипел.

— Что? Что вы хотите этим сказать?!—обрушился он на него.— Вы не согласны, да? Не согласны? Тогда, тогда...

Адольф перевел дух, посмотрел на Наташу:

— Тогда я заявляю о своем выходе из комитета!!! Я не могу работать в такой атмосфере. Я не желаю играть в круглого идиота. „Идиот“—Адольф произносит, как „идиёт“.

С мелкими капельками пота на круглом лице, он изнеможенно упал на диван и уставился в потолок, всем своим видом показывая, что больше говорить не о чем и что для него—все кончено. Правая нога его выбивала мелкую дробь по паркету, и в такт ей крутились большие пальцы рук, один вокруг другого.

Вениамин Аполлонович кашлянул.

— Я считаю ваше заявление, товарищ Адольф, недостойным члена комитета и старого партийного работника.

Адольф подпрыгнул с дивана, как пущенная ракета.

— А я считаю преступным продолжать работу, когда в организации есть не выявленное предательство!—выкрикнул он.

Наташа встала и взяла Адольфа за локоть. Адольф яростно повернулся к ней, готовый к отпору.

— А я? А Макс?—тихо сказала Наташа, глядя ему в глаза,—вы не один в комитете! Голубчик Адольф, так нельзя!.

Как укрощенный дикарь, Адольф скомкался и стих; вз'ерошил африканские волосы и мрачно уселся на диван, дергая то плечом, то ногой, и громко сопя, что у него всегда было признаком большой взволнованности.

— Я вчера, вот, — Наташа достала из сумочки исписанные мелко листки бумаги и протянула их Адольфу, — получила письмо из Орловского централа. Прочтите! Там товарищи кончают самоубийством от пыток и издевательства, а мы хотим здесь отойти от работы... Распустить организацию? Но сердцу-то не прикажешь: не бейся!

Наташа остановилась у дивана против Адольфа, быстро пробежавшего исписанные листки.

— Нельзя так, милый Адольф!

— Но что, что же делать?! — с надрывом воскликнул Адольф, комкая прочитанное письмо, и повернулся к Вениамину Аполлоновичу, сидевшему за столом. Туда же повернулась и Наташа.

Сгорбленный сидел Вениамин Аполлонович и постаревший. Карандаш в руке у него мелко вздрагивал и смешно вис книзу правый ус. Он молчал, сосредоточенный и упорный в каких-то думках.

— Чем объяснить, например, арест Сергея? — спокойнее заговорил Адольф, — вся обстановка ареста говорит о несомненном предательстве. Охранка знала о поездке Сергея. Она ждала его. Сергей достаточно опытен, он утверждает, что его выдали!.. Ведь кроме нас — никто не знал об этой поездке!

Вениамин Аполлонович передвинул к Адольфу медленные, внимательные глаза.

— Что вы? — спросил Адольф.

— Продолжайте, продолжайте! — тихо сказал Вениамин Аполлонович, передвигая глаза на Наташу, и как бы приглашая ее особенно внимательно слушать.

— Если предположить, что его выследили в Нижнем, тогда почему его не арестовали там же? Да я не допускаю, чтобы Сергей мог не заметить слежки! Затем — дача в Кускове? И здесь все говорит за то, что охранка была информирована человеком знающим. Почему сразу же бросились в сарай, где хранился станок, оружие? А квартира на Долгоруковской?! Наконец, эти обыски у вас! Вашей квартиры почти никто не посещал, кроме меня и Наташи...

Наташа, неслышно ходившая взад и вперед по комнате, вдруг остановилась; странно посмотрела на Вениамина Аполлоновича и, словно отгоняя что, тряхнула головой.

— О поездке Сергея знал еще один человек, — глухо проговорил Вениамин Аполлонович и посмотрел по очереди на Адольфа и Наташу; после его слов молчанье натянулось до последнего предела, до жгучей близости бритвы, приставленной к открытому горлу. Обломок карандаша в руке у него прохрипел по бумаге и зарылся в нее, продрав страницу книги. Адольф весь напряженно устремился к столу,

к сломанному карандашу; к тонкому готовому шевельнуться рту Вениамина Аполлоновича. Но Наташа предупредила:

— Ни-ко-лай?!

Вениамин Аполлонович горько наклонил голову. Некоторое время все трое молчали. Первый заговорил Вениамин Аполлонович. Он подробно рассказал о своей первой встрече с Николаем, и, кропотливо разобравшись во всех обысках и арестах, имевших место после приезда Николая, установил простой и страшный в своей простоте факт: проваливались только те квартиры, где побывал Николай.

— Тяжело и страшно высказывать подозрение, — заканчивая, говорил Вениамин Аполлонович, — но перед нами вопрос о жизни организации. Вот почему я беру на себя ответственность...

Адольф глядел в раскрытое окно, но его курчавый упрямый затылок напряженно слушал каждое слово за спиной. Наташа, скорбная, сидела у стола. Все, что говорил Вениамин Аполлонович, — она знала, но она знала и что-то другое, не укладывавшееся ни в какие факты и логику.

— А я не верю, — сказала она, когда Вениамин Аполлонович кончил, — не могу верить. Как хотите, но вот... не верю! Как вспомню его, и не верю.

— Я ничего не утверждаю, — заметил Вениамин Аполлонович строго, — от подозрения до утверждения далеко.

— А вы, Макс, верите? — посмотрела на него Наташа, — ну, тронь верите?

Вениамин Аполлонович взялся за голову.

— Ах, Наташа! Нет, конечно, нет! Сердце протестует, но факты, факты!.. Чем опровергнуть их? Чем? Вспомните Клавдию Полякову. Разве кто-нибудь из нас, хотя бы на миг, мог допустить, чтобы эта милая, тихая Клавдия — и вдруг сотрудница охраны!? Никто. Разве вы допускали?..

— Нет.

— Вот видите! Никто не допускал, а на деле оказалось — эта милая Клаша — злостная, расчетливая предательница!.. И сколько народу из-за нее пропало — страшно подумать! Нет, тысячу раз нет! — шлепнул он по столу ладонью, — поменьше сердца в таких делах, побольше трезвого, жестокого разума и логики! Логика неумолима, Наташа!

Адольф круто повернулся:

— Надо, товарищи, проверить это, проверить его! Ошибка здесь не допустима! Надо проверить.

У Наташи были благодарные глаза, когда она посмотрела на него. Вениамин Аполлонович перебил Адольфа коротким:

— Как?

— У меня есть знакомая семья в Сокольниках. Никакого отношения к революционным организациям не имеет, люди чистые во всех отношениях. Пошлем его туда... Скажем, что там склад оружия.

Предлагаю намекнуть ему в разговоре, что оружие хранится в кладовой. У них есть кладовая... Понимаете? Если он провок,—он выдаст, Можно даже упомянуть, что оружие должно быть скоро перевезено оттуда. Тогда он непременно поторопится донести куда следует...

— Вряд ли он попадет на эту удочку,—покачал головой Вениамин Аполлонович,—хотя... попробовать можно! Вы что скажете, Наташа?

— Я согласна. Так или иначе, но что-то надо предпринять.

— Я сейчас же, отсюда поеду в Сокольники,—сказал Адольф,—если это не даст результатов, попробую организовать за ним слежку...

— А согласятся ли на такой эксперимент ваши знакомые?—спросил Вениамин Аполлонович,—обыск—удовольствие не из приятных! Кто они?

— Совершенно мирные обыватели, милые люди и только! Они согласятся, я уверен. Да вы их немного должны знать, Макс! Помните, мы как-то с вами заходили в один дом по Тихоновской улице? Прошлым летом?

— Н-нет!—припоминая, не припомнил Вениамин Аполлонович и встал, смотря на часы.

— Пора расходиться! Кто первый выйдет? Вы, Адольф? Ну, пожелаем успеха нашему плану. Берегите себя, друзья, на наших плечах слишком, слишком много! А вы, Наташа,—задержал он руку Наташи в своей,—не забывайте пример Клавдии Поляковой. Не всегда сердце говорит правду. Я знаю, душой понимаю, как тяжело вам... Но и мне ведь не легко, Наташа милая!..

Голос Вениамина Аполлоновича дрогнул. Он повернул Наташу за плечи к двери.

— Идите, идите!

VI

Адольф с заседания комитета поехал в Сокольники, а через два часа уже звонил у двери Наташи.

— Все сделано. Я из Сокольников, там—согласны. Завтра или даже сегодня посылайте его туда с каким-нибудь поручением. Не забудьте—дайте ему понять, где спрятано оружие... Если там будет обыск,—я просил известить об этом вас. До свидания, я пойду к себе! Вы сказали, что сегодня он должен зайти ко мне—я хочу перебраться в другое место.

Наташа задержала Адольфа.

— Голубчик Адольф, скажите мне... Вы верите, что Николай предатель?

— Не знаю. Вот увидим!—уклонился Адольф, хмурясь, и решительно повернулся к двери.

— Подождите, минуточку... А что если бы такие же факты сложились против меня, вы бы поверили, что я?..—Наташа не договорила. Серьезно смотрела Адольфу в глаза.

Адольф дернул плечом и засопел.

— Поверили бы?

— Этого... не может быть! — пробормотал Адольф.

— Почему?

— Не может быть!

— Но почему?!

Адольф посмотрел на Наташу с таким видом, будто на миг допустил, что перед ним стоит предательница. И тряхнул упрямой, курчавой головой.

— Тогда и я... провокатор! — неожиданно заключил он и поспешно добавил, — вообще я принципиально на такие вопросы отвечать не желаю! Глупо! До свидания!..

Адольф жил в одном из переулков, около храма Христа. Он снимал комнату у старой чиновницы, служившей сиделицей в винной лавке. Квартира помещалась во втором этаже, над лавкой. Пелагея Ивановна, одинокая и бездетная, была привязана к своему жильцу, как мать. По паспорту Адольф значился крестьянином Калужской губернии, Петром Петровичем Крапивиным. Пелагея Ивановна за чаепитием иногда говорила, поглядывая подслепыми глазами на курчавую, черную, как тушь, голову жильца:

— В вас, Петр Петрович, только смиренность одна калужская, а кроме ничего!

В молитвах перед сном каялась Пелагея Ивановна и не скрывала своего расположения и особой, чувствительной жалости к революционерам. И как-то раз (давно было это!), заметив беспокойство жильца, выбегавшего к двери на каждый звонок, Пелагея Ивановна всунула в приотворенную дверь его комнаты голову и значительно кашлянула.

— Вы бы, Петр Петрович, для спокойствия дали мне сверточек-то! — шопотком проговорила она.

— Какой сверточек?! — вспыхнул Адольф.

— Который позавчера принесли... Он у вас под кроватью. Дайте его мне, я снесу вниз, в склад... Кому придет в голову там рыться!?

И с тех пор, частенько, в беспокойные дни, Пелагея Ивановна принимала из рук Адольфа свертки и прятала их в складе, где стояли ящики с водкой и пустой посудой.

Вернувшись к себе, Адольф первым делом предупредил Пелагею Ивановну о своем намерении переменить квартиру. Пелагея Ивановна расстроилась и даже обиделась.

— Столько времени душа в душу жили... Не понравилась, видно, я вам напоследок?!

Адольф всячески старался ее разуверить, но старушка в ответ лишь покачивала головой, и на глазах у нее были слезы.

— Чего уж, не по нраву пришлась! Бог вам простит, а я против вас ничего не имею, кроме жалости... Когда оставлять-то меня хотите?

Адольф, узнавши от Наташи, что Николай знает его адрес, твердо, тогда же, решил немедленно переменить комнату. И даже сообщил Максу свой новый адрес — одного знакомого врача, где временно думал устроиться. Но теперь, глядя на опечаленную и расстроенную Пелагею Ивановну, он заколебался и на вопрос ее ничего не ответил.

— Когда-нибудь, Пелагея Ивановна, вы все узнаете! — говорил он, проходя к себе в комнату, — я тоже привык к вам, мне тоже очень не хочется с вами расставаться. Я вас очень люблю, Пелагея Ивановна!..

— Какая уж тут любовь?! — приговаривала Пелагея Ивановна, идя следом за ним, — вам, молодым, не до нас, старых. Какая уж тут любовь!? А сердце-то мое чует — не к добру это. Нонче к вам заходил молодой человек, забыла совсем, из ума вон!

Адольф встревожился.

— Когда заходил? Какой он из себя? Что он говорил? Он в комнату входил?

— Что вы, что вы, Петр Петрович, как же это можно чужого человека в комнату впустить? Разве я не знаю! Что вы? Рыженький такой, из себя несимпатичный. Все допытывался, когда вы дома бываете...

Адольф сел у окна, выходящего в переулок. Золотой огромный купол храма Христа казался близким-близким. Снизу, из Замоскворечья и с моста, доходили звонки трамваев и глухой гул. На улицах зажигались фонари. Пелагея Ивановна принесла самовар и подогретый ужин.

Адольф ел много, долго и жадно. А когда наелся, ощутил во всем теле приятную усталость и прилег на диван. Он уснул почти мгновенно; последняя мысль его была: не заснуть бы!

Проснулся за полночь.

Посмотрел на часы, на кровать, на пустую сковороду из-под жаркого и стал раздеваться, твердо решив завтра оставить комнату.

— Сегодня ночью ничего не может быть... Если он провокатор — сегодня ему не до меня, в Сокольники двинутся искать оружие.

В окно, выходящее во двор, залитый асфальтом, вошел сдержанный топот ног нескольких человек. Адольф погасил огонь и высунулся в окно. Двор был проходной: одними воротами — в переулок, другими — на Волхонку. Оттуда, со стороны Волхонки, озаряемые слабым светом фонаря во дворе, шли люди. Гуськом. Впереди серая шинель пристава.

— Обыск?!

Натягивая пиджак, Адольф выбежал из комнаты.

— Пелагея Ивановна, обыск!—сдавленно крикнул он в дверь хозяйки,—подождите открывать! Подождите! Я вниз, в лавку...

Торопливо вырывая из записной книжки листки, Адольф совал их в рот, давился ими и глотал.

В кухне, в полу была дверка и лестница вниз, в винную лавку. Запасный выход склада выходил во двор. Дверь запиралась на крюк с внутренней стороны. Адольф скатился вниз, как мяч, и застыл у двери, прислушиваясь.

Голос Пелагеи Ивановны спрашивал наверху:

— Кто?

Что ей отвечали—слышно не было.

— Сейчас, сейчас,—говорила Пелагея Ивановна,—я раздетая. Сейчас открою!

Настойчивый звонок снова забился по квартире, над головой Адольфа. Он слышал, как звякнул замок; слышал тяжелые шаги вверх, справа, где была его комната; бесшумно снял крюк и осторожно нажал дверь, боясь, чтобы, она не скрипнула.

„По Лебяжьему переулку, к Румянцевскому музею, там извозчики, иногда лихачи...“—торопливо закружилась мысль.

Нахлобучив кепку, он шагнул вперед, через порог, прямо в объятия городского.

— Сто-ой!

Откуда-то из-за выступа дома отделилась темная фигура и повисла на левой руке Адольфа, с испуганным и пронзительным визгом:

— Держи-и!!!

День Адольфа кончился.

VII

В ночь с четверга на пятницу—Адольф был арестован в среду—к дому № 8 на Тихоновской улице подходил усиленный наряд полиции. Шли боковой дорожкой, в тени сосен, почти незаметными, сливающимися с деревьями, темными призраками. Впереди двое тихо разговаривали—пристав и человек в штатском. С Сокольнического круга разбежались последние звуки оркестра.

Человек в штатском говорил, понижая голос до шопота:

— Придется оцепить кругом. Во дворе есть кладовая аль сарай. Там главное надо. Улов должен быть!

— Ул-о-ов!—передразнил злобно пристав,—залепят в лоб из маузера, вот и... поймашь!

Он зябко повел плечами и замедлил шаги.

— Н-н-ничего, Иван Филиппыч, н-н-не зал... не залепят, Иван Филиппыч!—заякаясь, торопливо стал его успокаивать штатский, и голос у него вдруг осел и засипел, как сырое полено,—не залепят, Иван Филиппыч, бог не без милости, Иван Филиппыч!..

— Какой тут бог!—раздраженно оборвал его пристав,—он, что ль, сидит в браунингах? На прошлой неделе, в Суцевском, пошел вот так же Климков...

Пристав глотнул недосказанное.

— А я, Иван Филиппыч, я завсегда на такой несчастный случай, когда, скажем, подходишь, примерно, к двери, за каковой должен укрываться преступное лицо, я, Иван Филиппыч, завсегда следую указаниям военной хитрости... Стукнешь, телеграммка, скажем, или, что там еще выдумашь... Стукнешь, а сам этим моментом в сторонку от двери, или присядешь на корячках. Так что случается, бабахнет через дверь, а я цел и невредим без всякого повреждения!

— Капаяк!—подозвал пристав одного из городских,—возьми четверых к воротам. Двоих оставишь у дверей. Двоих по сторонам, на дороге поставь. Если увидишь—бегут и на оклик не остановятся—стрелять! Понял?

— Так точно, ваше в-дие!—громко бухнул городской.

— Т-ссс!—исступленно зашипел пристав.—Осел! Скотина! Эфиоп! Тише! Слушай... Двор оцепить с соседних владений по-трое. Да не зевать! Смотри у меня! Сгною. Понял?

— Так точно! никак нет!—сразу на все ответил Капаяк и, отставая, стал подтягивать в кучу наряд.

Терраса одной из дач, затянутая парусиной, была освещена. По парусине передвигались огромные тени; тихий звон посуды доносился оттуда; слышались голоса:

— Малый в трефах.

— Пасс!

— Пасс!

Пристав покосился туда и вздохнул:

— Вот живут же люди, как подобает!.. Эх!.. Служба, будь она треклята! Дали б им, чертям, конституцию эту, или это самое учредительное собрание... бомбы только не позволять делать, да оружие отобрать...

— Никак это невозможно, Иван Филиппыч!—помолчав, вздохнул штатский,—тогда у нас с вами никакого отечества не может быть! Оплот престола и верноподданнические чувства должны погибнуть втуне, Иван Филиппыч...

Не доходя дома № 8, остановились. Пристав переложил браунинг в карман шинели. Капаяк отдавал тихие приказания и, когда темные фигуры бесшумно рассыпались по назначенным местам, подошел к приставу.

— Так точно, ваше в-дие, готово!

Пристав всмотрелся в темную дачу впереди и, скороговоркой перекрестившись, повернул к штатскому, приглашая вперед:

— Ну?

Штатский попятился.

— Уж вам, Иван Филиппыч, вы уж первый!.. Вам уж... Я уж за вами, Иван Филиппыч! Вы уж как начальник... Можно даже сказать вроде главнокомандующего. Уж вы вперед!

— Тьфу!—свирепо отплюнул пристав. Молча поправил лаковый пояс и пошел решительно вперед, крикнув:—Капаюк, за мной!

— Здесь, ваше в-дие!

Капаюк с винтовкой выдвинулся вперед, открыл калитку и, все ускоряя шаги, застучал сапожищами по ступенькам террасы.

VIII

На узком листке бумаги Николай что-то писал мелким, убористым почерком, когда вошла Наташа. Толстый том Олара „История Французской Революции“ лежал перед ним на столе раскрытый. Смутьившись, Николай торопливо спрятал узкий листок в карман пиджака.

— Что это вы, конспект составляете?—спросила Наташа. Ее глаза пытливо устремились к карману, куда Николай спрятал бумажку.

— Нет, это я так писал!—смутился еще более Николай и, густо покраснев, отвернулся,—я вас совсем не ждал, хотите чаю?

Лицо Наташи закрывала густая вуаль. Она не подняла ее; присела у стола и, придвинув том Олара, начала медленно его перелистывать.

— Очень хорошая книга!—сказал Николай.—Может быть, вы чаю хотите?

— Нет-нет, я тороплюсь,—отклонила Наташа,—я к вам на минутку.

За стеной в соседней комнате старческий голос, добрый и ровный, ворчал:

— Озорник ты мой, непослушны-ый! Опять выпачкался весь, трубочист ты эдакий!.. Вот возьму хворостинку да чик-чик-чик! Не хочешь?..

— Это моя хозяйка с Марсиком... Кот у нее, Марсик,—пояснил с улыбкой Николай прислушивавшейся Наташе. Наташа тоже улыбнулась, но, словно спохватившись, схоронила улыбку—серьезная, строгая, посмотрела на Николая.

— Завтра надо поехать в Салтыковку,—заговорила она, быстро перелистывая страницы книги-вздрагивающими бледными пальцами,—там у нас на даче есть оружие, литература и еще кое-что. Надо все это перебросить в другое место. Вы знаете товарища Семена? Нет?

Николай слушал с сосредоточенным вниманием.

— Он будет ждать вас там, на платформе, на скамье. В руках у него будет газета: „Утро России“. Запомните? Вы подойдете и попросите прикурить. Он с папироской будет... Он спросит: „Который час?“. С ним вы пойдете на дачу и поможете.

— Товарищ Семен, „Утро России“, папироса, который час,—повторил Николай.

— Да, да!

— Салтыковка?

— Да.

На окне лежала недоеденная колбаса и ватрушка, над постелью Портрет Лассалья, прищипленный кнопками, и Писарева—в черной рамке; столочка книг на самодельной полке из дощечки и веревочек; а на спинке узкой кровати деревенское, из холста, полотенце с вышитым красным петухом.

— А что, у вас мама есть? — спросила Наташа. Николай покачал головой.

— Умерла?

— Да, и папа и мама...

Николай, заметив, что взгляд Наташи остановился на расстегнутом вороте его рубахи, торопливо застегнул высокий черный воротник на все три белых пуговики.

— А когда мне ехать туда?—спросил он.

— С поездом в десять тридцать.

— Я могу и раньше! Я ведь очень рано встаю!

— Почему?

— Я привык. И я очень люблю утро! Когда я просплю, мне все кажется грязным, старым...

— Семен будет ждать вас там к одиннадцати,—перебила Наташа, внимательно смотря на него. Ее взгляд был сгранный: так смотрят на вещи и так смотрит человек, когда он один.

И опять доорый старческий голос вошел в комнату, через стену:

— Не будешь больше? Нет? Смотри, какой ты у меня чи-исгенький, беленький, как снежок!.. Скоро кушать будем, молочко будем пить!.. Ах ты, м-мой...

Слова зарылись в пушистый поцелуй.

Наташа посмотрела на стену, откуда доходил этот ласковый, певучий голос и, по зернувшись к Николаю, тихо проговорила:

— Николай, слушайте!.. Скажите!.. скажите мне одной!..

Николай вдруг и весь насторожился и впился глазами в лицо под густой вуалью.

— Что-о?

Наташа захлопнула книгу. У Клавдии Поляковой было лицо с такими же невинными глазами и большим ртом...

— Вы не перепутаете, что я вам сказала?—договорила она, вставая,—не забудьте, поезд в десять тридцать, Салтыковка, товарищ Семен!..

— „Утро России“, прикурить, который час!—с улыбкой закончил Николай,—у меня память отличная. Все будет сделано в точности. Разве я когданибудь что-либо напутал?

— Н-нет!

— А после зайти к вам?—спросил Николай.

— После?..—Наташа минуту смотрела на Николая, словно не поняла его вопроса.

— Когда все сделаем?—пояснил Николай.

— Да, да! Конечно, конечно!—поспешно проговорила Наташа.

— Во сколько зайти?

— Когда хотите!

— Вечером, часов в восемь, в девять, хорошо?

— Да, да! До свидания!

Наташа торопливо застучала каблучками по крутой лестнице.

— Осторожно! — вслед ей кричал Николай, стоя на площадке и перегнувшись через перила, — лестница у меня гадкая, не упадите, до свидания! До завтра!

Наташа не оглянулась. Не ответила.

В раскрывшуюся парадную дверь ворвалась шумная, грохочущая улица. Николай улыбался, стоя на площадке, и долго глядел вниз, где скрылась Наташа.

IX

Ветер неслышно шевелил и передвигал по деревянной платформе осенние листья. Листья были блеклые, нежные, еще не совсем утраченные зелень, и от ветра казались живыми. Прозрачная грусть осени озаряла все предметы и лица особенным, чистым светом; небо было глубоко и просторно и дышало свежестью, как голубой огромный водоем.

На одной из скамеек сидел человек и читал „Утро России“. Он часто посматривал в сторону Москвы, откуда должен был притти поезд. На нем было непромокаемое пальто с поднятым воротником. Окурки усеивали платформу у его ног. Он жег одну папиросу за другой. Взад и вперед мимо него бродили одиноко осенние дачники. Газетчик несколько раз предложил ему журналы. Когда вдали показался поезд, человек в непромокаемом пальто вдруг ужасно заторопился; скомкал газету и сунул ее в пальто; потом быстро пересек платформу, пути, и очутился на другой платформе — для поездов, идущих в Москву. Застегнув пальто и вздернув плечи, отчего лицо его ушло еще глубже в поднятый воротник, он отошел в конец платформы и стал смотреть в сторону, обратную той, откуда подкатывал поезд. Как сковорода с маслом, шипящий паровоз прополз мимо, разделил вагонами две платформы, постоял, свистнул и потащил дальше темнозеленые коробки. Среди немногочисленных пассажиров, вылезших с поезда, был Николай. Он быстро и весело прошел платформу из одного конца в другой, от скамьи к скамье, и, удивленный, осмотрелся. Взглянул на часы. И еще раз, но уже медленнее, пошел вдоль платформы, мимо скамеек. Увидя на другой стороне неподвижную фигуру в непромокаемом пальто, Николай нерешительно пересек линию, направляясь туда. Человек в непромокаемом пальто, стоявший к нему спиной, оглянулся как раз в тот момент, когда Николай уже подходил к нему. Две пары глаз встретились. Человек в непромокаемом пальто отвернулся и зашагал от Николая. Николай догнал его. Обходя справа бросил взгляд на карман пальто, откуда торчала газета „Утро Ро...“. На поднятом воротнике заметил две металлических кнопки. Торопливо достав папироску и неумело вставив ее между указатель-

ным и средним пальцами, Николай повернулся к человеку в непромокаемом пальто:

— Позвольте прикурить!

И еще раз две пары глаз встретились. Человек в непромокаемом пальто сунул вперед свою папироску и хотел пройти дальше, и уже сделал несколько шагов от изумленного Николая, но вдруг резко повернулся и спросил:

— Который час?

— У-уф! — вздохнул облегченно Николай, — вы товарищ Семен? Я, Николай, от Наташи.

Пожали друг другу руки. Николай всмотрелся в лицо Семена и наморщился, что-то припоминая. Семен глядел в сторону, страшно внимательно рассматривая рельсы.

— Сядем на минутку! — предложил Николай.

На скамье он еще раз всмотрелся в Семена и зажмурился.

— Я никогда вас не видал, но я вас знаю, заговорил он тихо, не открывая глаз. — Вот и пальто это припоминаю и кнопки на воротнике...

Николай был одет в ту же черную с тремя белыми пуговками рубаху, как и вчера, когда пришла к нему Наташа.

Семен, украдкой рассматривая Николая, ежился будто от сырости и был не в силах подавить охватывавшую его мелкую дрожь. Она напоззала, как от ветра зыбь. Напоззала от этой близости с Николаем, сидевшим рядом, плечом к плечу, и мелко трясла ноги, руки, сердце и песком поскрипывала на стиснутых зубах.

Николай открыл глаза и повернулся лицом к Семену.

— Я вчера был в опере, — сказал Семен, и вдруг встал, и заторопился: — Идемте! Надо итти! Вставайте!

— Далеко итти? — спросил Николай.

— Во-он туда! — указал Семен на сосновый бор за полотном дороги, — там нас ждет еще один товарищ. Вставайте!

В лесу к Семену и Николаю присоединился Ваня — крепкий, коренастый рабочий в рыжем картузе и стеганом пиджаке. Он молча поздоровался с Николаем за руку. Шли все трое, рядом, по мягко шелестевшей листве и хвое. Пахло прелью и рекой. Около большого пруда Семен свернул с дороги в лес.

— Тут короче! — коротко пояснил он.

В лесу было так тихо, как бывает только осенью, когда слышен шорох падающей ветки. Не было птиц. Сосновый бор напоминал пустой покинутый жильцами и огромный дом. Николай оживленно рассказывал о лесах в Нижегородской губернии и, останавливаясь, закидывал голову, любуясь глубокими голубыми колодцами неба в просветах вершин.

— Как славно! Смотрите! Далеко еще нам?

— Нет, скоро! — односложно отвечал Семен и раза два выразительно посмотрел на Ваню.

— Здесь и дач-то нет!

— Там дальше будут.

Семен замедлил шаги.

— Я закурить хочу. Ваня, хочешь?

— А я нарочно купил десяток „Дюшес“, — остановился и Николай, — я ведь не курю! Наташа сказала, чтоб я попросил у вас прикурить, вот я и купил. Хотите? Возьмите пожалуйста себе! Возьмите, мне же не надо!

Он прогянул желтую коробочку папирос Семену.

— Не надо. Идите, идите! — странным голосом сказал Семен и изменился в лице, — идите вперед, я... сейчас.

И лишь только Николай повернулся, Семен дернул из кармана браунинг и торопливо выстрелил ему в спину.

— А-ах! — остро и удивленно вскрикнул Николай, повертываясь. Правая нога у него высоко вскинулась при повороте. Какое-то мгновение он казался гимнастом, застывшим на одной ноге, перед тем, как сделать замысловатый трюк. Его светлые с просинью, безумно раскрытые глаза остановились на лице Семена, и был ужас глаз этих огромен. Семен и Ваня почти одновременно выстрелили еще раз, не целясь, в эти глаза.

Желтая коробочка с папиросами „Дюшес“ описала полукруг, выскользнув из распустившихся пальцев, и упала у ног Семена.

Николай уткнулся лицом в желтую, влажную листву, выпрямляя ноги в заплатанных ботинках.

Х

Когда в сумерках, рассеиваемых светом зажженных в улице фонарей, вздрогнул и забился, как пойманная птица, звонок, у Наташи вырвалось дрожащее и изумленное: — А-а-а...? — Звонок повторился настойчивый и резкий.

В комнату прошел, тяжело ступая, Семен. И стал посредине. Свет уличного фонаря падал на его лицо. Наташа подошла к нему близко-близко. Его лицо и глаза сказали ей все. Наташа ничего не спросила. Семен молчал. Молча протянул Наташе листок бумаги, исписанный наполовину мелким, убористым почерком. Наташа зажгла лампочку и дрожали у нее руки, развертывая бумажку...

Николай не дописал письма „миленькой сестрице Лизаньке“. Не дописал о Москве и новых товарищах, среди которых есть прекрасная женщина, ради которой он готов на самую страшную жертву...

„... у нее в глазах такое же чистое и бездонное небо, как в поле, когда лежишь на спине во ржи. Ее зовут Наташа, она...“

Здесь письмо обрывалось. Здесь пришла к нему в его маленькую комнату с недоеденной колбасой и ватрушкой прекрасная женщина с чистыми, как небо, глазами; пришла Наташа, чтобы дать ему последнее поручение.

Наташа ладонью разгладила скомканный лист бумаги, с темным пятном на одном из углов.. И шепотом спросила Семена:

— Ты читал?

Семен ничего не ответил. Мотнул головой и оставался так же стоять, выпрямленный, деревянный Большой рот его резко обозначался на худом лице и—казалось—губы были сжаты страшной силой и не разомкнутся никогда. Лишь изредка смешно подпрыгивала левая бровь.

Наташа провела рукой по лбу. Упорно Семен смотрел на нее. Она села у стола и долго, бережно разглаживала узкую полоску бумаги с темным пятном.

— Ты вынул это у него из кармана пиджака, из левого?—спросила Наташа и добавила тише,—он положил его тогда в левый карман. Я вспомнила... Вчера это... Что ты смотришь так?

Неустрашимый, молчащий, стоял Семен перед Наташей. И еще раз Наташа провела по лбу рукой—тонкими трепетными пальцами.

— Семен?..

Семен был ее учеником. Она направляла первые шаги его в революционной работе. Семен молился на нее и был предан ей, как предан человек смерти — неотвратимо.

— Семен?..

Абазур лампы затенял его лицо — впадины и бугорки на нем обозначались резко, как на камне. И каменным был молчащий, неподвижный рот — большой, грубый, прямой.

— Семен?.. — в третий раз проговорила Наташа и встала. Подошла близко к Семену, глядя на его змкнутый рот. Было слышно, как глубоко дышал он. Наташа положила ему на плечо легкую руку; потом тихо провела ладонью по взлохмаченной голове его и, огойдя к окну, выпрямилась там. Но почти мгновенно, словно крикнула улица что ей, она оторвалась от окна и вновь в упор подошла к Семену.

— Семен, а что, если мы... ошиблись?.. — одним дыханием докончила она, кладя на плечо ему руку и страстно всматриваясь в оставленные на ней чужие, незнакомые глаза.

У Семена заклокотало в груди и в горле. Большой рот дернулся. Он снял руку Наташи с плеча и передвинулся от Наташи на один шаг. Потом еще и еще. К двери. С порога его глаза, холодные и злые, как лезвие, протянулись к Наташе.

— Я исполнил постановление комитета,—жестко проговорил он и два последних слова повторил еще раз.

Наташа с'ежилась. Зыбким стал пол. Похолодевшие пальцы заметались по воротничку блузки, и оторванная пуговица одиноко стукнула о пол.

Медленно Наташа повторила:

— Да, да! Вы, товарищ, исполнили постановление комитета.

Хлопнула дверь, отрезав убегающие шаги Семена. Наташа была одна.

XI

В дежурную комнату вошла неслышно сестра и тихо позвала по имени врача, уткнувшегося в газету.

— Вас очень просит больной из четвертой хирургической...

Сбросив пенсне и потирая переносицу, доктор посмотрел на сестру, что-то припоминая, и быстро встал. Застегнул халат.

— Он очень плох,—проговорила сестра,—почти все время в забытьи...

Доктор вскинул плечи и развел молча обеими руками, как бы говоря: „мы с вами сделали все!..“ Сопровождаемый бесшумно ступавшей сестрой, он быстро прошел по коридору, через большую палату с двумя рядами коек и колоннами посредине, и осторожно открыл дверь в отдельную палату № 4.

На койке, укрытый светло-коричневым одеялом, лежал Николай. Забинтованная голова и шея сливались с подушкой, и повязка резко подчеркивала лихорадочно яркие глаза.

Увидя доктора, он зашевелился, но доктор ласково остановил его:

— Тссс! Не волнуйтесь и лежите смирненько!

Сестра подала доктору стул. Он сел и взял руку Николая, нащупывая пульс. Николай закрыл глаза. Он дышал короткими неровными вздохами, и в груди зловеще похлюпывало. Когда врач бережно опустил его руку на одеяло, Николай открыл глаза.

— Доктор... я с одним... с вами хочу...—прошептал он с усилием, размыкая бескровные губы, с запекшейся в уголках кровью.

Сестра вышла и прикрыла за собой дверь.

Николай положил свою руку на руку доктора.

— Я умру скоро... умоляю вас... пошлите записку... Я не могу умереть так... Пошлите, она придет, она не может не прийти... умоляю, доктор...

Николай смолк и, бессильные, опустили веки... Доктор нахмурился. Часы этого юноши, привезенного с тремя тяжелыми ранами в больницу,—были сочтены. Ничто не могло спасти его. Кто он, кто его ранил? За что? — доктор не знал, но вся обстановка и его слова говорили о страшной, необычной драме.

— Дайте... бумагу... каран... даш,—зашептал опять Николай,—я не могу так... Обещайте мне, доктор! Я все, все скажу вам, она... расскажет...

Доктор вынул записную книжку и карандаш сам вложил в прозрачные пальцы Николая.

С мучительными усилиями царапал карандаш по бумаге; выскальзывал и падал на одеяло. Два раза доктор подносил к губам Николая питье.

— Не отходите!—говорил доктор сестре, выходя из палаты. Запечатав записку в конверт, он немедленно отослал ее по адресу с привратником.

Наташа приехала через полчаса вместе с привратником, проводившим ее в комнату дежурного врача. Врач встретил Наташу с хмурой сдержанностью и пригласил идти за ним. Испуганно озираясь на длинные ряды коек, с молчавшими на них фигурами больных, Наташа шла молча, ни о чем не спросив доктора. Перед дверью четвертой палаты врач остановился.

— Подождите здесь!

И несколько мгновений, пока он был в палате, легли в сознании Наташи тяжелыми пластами одной огромной жизни, которую не было сил изжить до конца... Длинный, мягко освещенный коридор уводил глаза к неведомой двери в конце. Было в нем тихо, и белые, бесшумные фигуры сестер, изредка пересекавшие его, оставляли после себя напоминание о чьих-то страданиях, боли, смертях. И каждая молчаливая дверь в нем говорила о том же, а все вместе — и тишина эта, и белые сестры, и запахи лекарств, и вся эта скорбь уводили невольную мысль туда, где в молчаливом лесу крестов и памятников на могильных плитах лежат печальные надписи об отошедших в иной мир... „Вкушая, вкусих мало меду, се аз умираю...“

Доктор из двери сделал Наташе знак рукой, приглашая войти. Неуверенным порывом Наташа очутилась в палате.

Восковая, прозрачная рука была покорно и беспомощно вытянута по коричневому одеялу... Это первое — что увидела Наташа.

Николай лежал, слегка запрокинув голову. И так как у него были закрыты глаза — белое лицо, марля на голове и подушка сливались в одно. Его измененное лицо показалось Наташе далеким-далеким, будто напоминание о другом, знакомом и живом Николае.

Подойдя к изголовью, Наташа всматривалась в это лицо и запоминала каждую складку и тень. Было тихо в палате; торопливо тикали часы в кармане у доктора.

И Наташа позвала:

— Николай.

Николай открыл глаза и, глядя на Наташу, словно медленно узнавал ее. Ссохшиеся, темные губы шевельнулись и не могли разлепиться. Николай сделал какое-то последнее усилие, чтобы заговорить, и вдруг из уголков его глаз, устремленных к Наташе, выкатились две крупные, медленные слезы...

Одним слабым движением губ прошептал он что-то и опять был бессилен разлепить клейкие губы, которые уже целовала смерть. Закрылись глаза, и ресницы протянули чуть заметные тени.

Наташа упала лицом к холодной руке на одеяле; щекой слышала, как слабо шевельнулись пальцы...

XII

Вениамин Аполлонович, встревоженный, усадил Наташу в кресло. Ее бледное, без кровинки, лицо было жутко освещено лихорадочными глазами. Вениамин Аполлонович пристально всмотрелся и побледнел.

— Что с вами?!

Наташи протянула ему обрывок бумажки.

Разбегающимися буквами на клочке были нацарапаны крупные, разорванные слова.

„Меня убили... Кто меня убили? За что меня, товарищи, убили, скорее скажите, я умру, скорее скажите, мне страшно, за что же? Никого нету, приходите же скорее, в больнице умираю, Николай“.

Вениамин Аполлонович впился глазами в лицо Наташи.

— Он умер?

Наташа наклонила голову и зарыдала.

— Я была в больнице... Ночью умер... Там врач—меньшевик, он прислал эту записку... Что, что мы сделали?! Боже мой! Я не могу!

— Товарищ Наташа! — строго сказал Вениамин Аполлонович, — слышите, товарищ Наташа! Опомнитесь!

Его твердая и тяжелая рука легла на голову Наташи. Наташа порывисто вскинулась, сбрасывая руку.

— Вы понимаете, что это?! — шопотом с безумными глазами проговорила она. пони-ма-ете? Мы убийцы! Мы убили нашего то-ва-рища! Проговорила и ждала, исступленная, острая, как боль ожога.

— Успокойтесь, Наташа, возьмите себя в руки. Записка не опровергает ничего, написать...

— Как?! — с выкриком выпрямилась Наташа. — Вы думаете, что эта записка — ложь, что он лжет в ней?!

— Успокойтесь! Я ничего не думаю. Я говорю, что эта записка не опровергает фактов. Обыск в Сокольниках — факт.

— Нельзя лгать перед смертью! — опять перебила его Наташа, и опять ровный глухой голос Вениамина Аполлоновича повторил:

— Успокойтесь... Вы утверждаете, что мы ошиблись? Пусть мы ошиблись. Я вас спрашиваю во имя чего совершена эта... страшная ошибка? Отвечайте. И кто виноват? Вы? Я? Адольф? Мы? Нет, Наташа! Они-и!

Вениамин Аполлонович угрозно вытянул руку к раскрытому окну.

— Они, Наташа, все те же наши враги, враги народа. Эта жертва на их чашу бесчисленных грехов и преступлений. И они заплатят нам за нее... А мы?!.. Мы подняли новую ношу на наши перегруженные плечи. Не согнуться бы, Наташа, родная, не ослабнуть бы, не попустить... Вот что нам остается. Не сломаться бы в этой борьбе... под этой ношей?! А-а-х!!

Он хрустнул пальцами.

— Ведь мы-то должны продолжать наш путь, Наташа. Мы-то остались жить. А каково нам будет идти с таким... с этим страшным грузом?!

Наташа притихла. Она подумала о Семене.

Она ушла от Вениамина Аполлоновича поздно вечером. На груди под кофточкой уносила бережно сложенный обрывок бумаги, исписанный крупным почерком, — последнее письмо Николая. Ее красивое лицо

было похоже на мертвое лицо затворницы. Строгий и молчаливый Вениамин Аполлонович проводил ее до двери и в дверях молча поцеловал в лоб.

С двумя полосками на серебряных погонах человек взглянул на часы, ударившие восемь раз, и взял телефонную трубку. Назвал номер коротко и повелительно; и ждал, подпирая бровями оседавший на глаза большой, неумолимый лоб.

— Алло... Ну... что у вас хорошенького?

В трубке зашипело, кашлянуло, и голос глухой, ровный пополз оттуда:

— Чуть было не сорвалось, полковник..

Набирая на жесткий, окантованный воротник мундира складки шеи, человек в погонах наклонял голову и слушал, выразительно играя бровями.

Часы показывали десять минут девятого.

Вениамин Аполлонович Гудим положил трубку и сел в кресло. На костлявое лицо вылезла странная улыбка и шевельнула волосатые уши.

М. СВЕТЛОВ

* * *

Я в жизни ни разу
Не был в таверне,
Я не пил с матросами
Крепкого виски.
Я в жизни ни разу
Не буду, наверно,
Скакать на коне
По степям аравийским.

Мне робкой рукой
Не натягивать парус.
Веслом не взмахнуть,
Не кружить в урагане —
Атлантика любит
Соленого парня
С обветренной грудью,
С кривыми ногами...

Стеной за бортами
Льдины сожмутся,
Мы будем блуждать
По огромному полю —
Так будет, когда
Мне позволит Амундсен
Увидеть хоть издали
Северный полюс...

Я, может, не скоро
Свой берег покину.
А как хорошо бы,
Под натиском бури,
До косточек зная
Свою Украину,
Тропической ночью
На вахте дежурить.

В черниговском поле
Над сонною рощей
Подобные ночи
Еще не спускались,
Чтоб по небу звезды
Бродили наощупь,
И в темноте
На луну натыкались...

В двенадцать
У нас запирают ворота,
Я мчал по Фонтанке,
Смешавшись с толпою,
И все мне казалось:
За поворотом
Усатые тигры
Прошли к водопою.



Память

ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ

Я опять прихожу под окно,
Я, что ночью, ищу: тот ли сад?
Но сощурился дом тихим сном,
И сквозь ставни огни не блестят.

Как вершины лесов тихо спят,
Тихо спит отшумевшая память.
Ветром время — вращая—несет
Остывающий солнечный камень.

Я опять окликаю отца,
Но не мать отвечает мне: поздно!..
Как вершины лесов, тихо спят
Имена, пронизавшие воздух.

Его звали Василий Петрович,
Его звали Васильем-отцом,
Но бессилен тот вечер припомнить,
Как он пел и каков был лицом.

Так вот, вот же, вам наперекор,
Я еще не забыл колыбельной:—
Как над Тереком выплыл забор,
Где, как Лермонтов, мать моя пела.

Она пела, а я засыпал,
Чтоб, наплакавшись досыта, знала,
Что я вырос, ушел, ускакал,
И она мне коня подседлала.

Я опять прихожу под окно,
Я, что ночь, будто тополи плеском,
Подлетаю: поклон вам, поклон
До сырой земли и до детства.

От оставшихся визгов щенков
Моей памяти теплая челюсть,
И нагретая яркой щекой
Материнская нежность и прелесть.

От нагретых до полдня песков,
До остывшего вечера в речке
Дохластнула горячая кровь,
Рассказали гремушки овечьи.

И над миром опять берега,
Горизонт на восток и на запад
А на север Владимировка¹⁾,
А на юг я умчался, заплакав.

Но на юге и гуси поют,
Говорят, когда день в перелете,—
Пусть по горло в снегу я стою
Пока песню гусей переймете.

Но на юге и ночи, как мать,
Море черное, дикие грозы,
За рекой зоре-черные ждать
Меня будут глаза и вопросы.

Я плечом облегченным лечу,
Оттого, что у бабьего лета
Осень жжет золотую свечу
Ради зимних древесных скелетов.

Оттого и никто не умрет
Пусть, как память, пылятся предметы,
Что раскрытый немолкнущий рот
Вечной свежестью полон поэта.

Я что ночь, то иду под окно,
И опять меня встретит тот сад,
Где сощуренный старостью дом
И седина деревьев висят.

Спите тихо, вершины лесов,
Не спешите, заглушенная память,
Мы услышим там шум голосов,
Мы подсмотрим за ними сквозь ставень.

¹⁾ Село, где я провел детство.

Живая вода

Рассказ

С. Сергеев-Ценский

I

Человек человека один-на-один бьет не вполне уверенно. Он даже способен опасаться: а вдруг тот, кого он бьет, выкинет какую-нибудь неожиданную штуку?..

Он бьет ббльшей половиной своего существа, а меньшая в это время наблюдает и взвешивает.

Меньшая шепчет:—Довольно!—Ббльшая продолжает бить. Меньшая говорит внятно:—Будет! Брось!—Ббльшая бьет слабее и с выдержкой. Меньшая, наконец, приказывает:—Брось, тебе говорят!—и мгновенно становится на место ббльшей, и человек, который бил, уходит от того, кого он бил, внешне с видом правым и задорным, а внутри иногда ему даже бывает стыдно.

Совсем не то толпа. Тонкие чувства ей незнакомы. Толпа, когда кричит,—не кричит, а судит; толпа не рассуждает, а приговаривает с двух слов; толпа и не бьет, а казнит, и тот, кого она бьет, знает, что уж больше он не встанет.

И Федор это знал,—Федор Титков из станицы Урюпинской,—из себя не очень видный и невысокий, но тугой телом и ярко-красный лицом, молодой еще малый, с маленькими глазами, сидящими не в глазных впадинах, а непосредственно сверху крутых щек.

Но он видел, что то же самое знал и другой товарищ, по фамилии Манолáти,—из бессарабских цыган,—черный, и все лицо в белых шрамах,—и третий,—сапожник из Ахтырки,—Караванченко, товарищ Семен, человек из себя хлипкий и грудь впалая, только голос громкий, и глаза блестят.

Когда захватили их в этой станице и связали им руки, их спресли коротко:

— Большевики?

Они ответили так же коротко:

— Большевики.

И только Манолати добавил ехидно, вытянув шею:

— Ниче-го, рогали́, ни-че-го!.. От побачите:—наша будет зверху!

Потом их повели к колодцу с очень высоким журавлем, и не было около них ни крику, ни раздражения, только густая пыль поднялась от тяжелых сапог, и кто чихал, кто кашлял и плевал на землю. Иногда просвечивали по сторонам казачки, стоявшие около домов, и кружившиеся мальчишки.

Титков перед тем, как их схватили, здесь, на работе, ел селедку и не успел напиться, а потом они были заперты на ночь в сарай.

Очень хотелось пить,—и день был жаркий,—и когда он подходил к колодцу, он всем своим тугим, набухшим телом чувствовал, что подводят его как раз туда, куда надо, и искал глазами ведро.

Ведро,—большое, как бадья,—и с мокро блестящей цепью стояло как раз на полке колодца, и он не сводил с него глаз.

Подошли,—оно было полное до краев: кто-нибудь только что поил здесь лошадь и вытянул его, но лошадь не захотела пить больше.

Кругом колодца песок был сырой, и пахло волами. Овод сел на щеку Титкова; он смахнул его, потерявшись о левое плечо, а сам все смотрел на ведро и сказал, когда остановились, не умоляюще, а просто, однако внятно:

— Братцы, дозвоьте напиться!

На это ближний казак, рыжебородый, с синими жилками на носу и с мокрыми косицами из-под фуражки, отозвался не менее просто:

— На-пёсси!—и жестко ударил его в ту щеку, с которой только что он стер овода.

И тут же он увидел, что сшибли с ног товарища Семена,—он брыкнул обеими ногами об его ногу,—и почему-то мелькнула в глазах черная голова Манолати, мелькнула как будто выше других голов, точно улетела,—но только он это заметил, как что-то сзади так хлопнуло его по затылку, что он присел на колени и пробормотал отчетливо:

— Значит, убивают... конец!..

И втянул голову в плечи, вдавил ее туда, как черепаха, а ноги вытянул. Он лег ничком, и песок под его губами пришелся очень мокрый и с сильным запахом лошадиной мочи.

Попытался он было убрать под себя и руки, но они были связаны крепко: изо всех сил дергал,—веревка не поддалась.

Били решенно и молча, только хекали,—серьезно, как свинью колют. Сначала Титков различал, по какому месту больнее, потом били уж сплошь по больному: только стискивал зубы и глотал слюну.

Тонко крикнул товарищ Семен, и потом перестало быть его слышно. Титков подумал:—„Убили!“—и еще глубже втянул голову. Зато Манолати было слышно несколько раз. Он вскрикивал:

— Наше!.. Зверху!.. Будет!.. Будет!.. Зверху!..

Титков успел подумать о нем определенно:— „Привычный... Не иначе, как сто разов бит!“..

Но вот ударили его по правой руке так, что в голове зашлось от боли, и еще раз ударили по голове так, что он перестал слышать и крики Манолати и все другое.

Очнулся он от холода.

Все тело было мокрое с головы до ног.

Не сразу вспомнил, что с ним такое, но первое, что вспомнил,— колодец. Потом вспомнил казаков и как били. Подумал:— „В колодец бросили!—Но тут же поправил себя:—Зачем же колодец им портить? Его потом чистить надо“...

И, приоткрывши глаз, который был выше над землю, увидел мокрый рыжий треснутый носок сапога перед самым лицом и тут же поняв чье-то вполне добродушное:

— Эге!.. Этот чорт никак ще живой!

И потом еще голос:

— Цыган тоже шевелится!

Только успел подумать, что это кто-то хочет их спасти, как тот самый носок с трещиной ударил его чуть ниже глаза.

Опять подвернул вниз лицо и втянул голову.

— Зверху!—хрипнул около Манолати.

И потом начали молотить сапогами, и на его спину взобрался кто-то очень тяжелый и подскакивал.

Титков подтянул живот, но подкованные каблуки острыми краями сорвали ему кожу с рук... Наконец, другая рука, еще не перебитая, хряснула под каблуком повыше кисти.

Титков лизнул было языком мокрые губы, но тут же перестал что-нибудь чувствовать.

Потом еще раз поливали его ледяной водой из колодца. Он опять открыл один глаз,—другой заплыл, и не разжимались веки,—и опять увидел он мокрый огромный носок сапога.

Его перевернули. Какая-то борода, точно отцовская, над ним наклонилась, и он прошептал в нее:

— На-пить-ся!

Потом сразу несколько оглушительных голосов:

— Живой!.. Ну, не чорт?.. Цыган,—и тот уж подох, а этот живой!..

И несколько мгновений так он лежал и видел над собою чашу бород и красные носы среди нее, и, как будто люди эти совсем другие были, а не те, которые только что трудились над тем, чтобы его убить, он опять прошептал им:

— Напиться... братцы!

Но тут над глазом его взметнулся медленно усталый кулак и разбил ему зубы.

Потом кто-то спросил удивленно и даже горестно:

— Да игде же у него, анафемской силы, печенка?

И как ни пытался зажать Титков свой живот, жесток был в него удар подкованной ногою.

Минут через пять уже все трое около колодца лежали совершенно неподвижно.

Казак умылся, прокашлялся, высморкался, как делали они это утром, после сна; кое-кто даже намочил себе волосы и расчесал их металлическим гребешком.

Казáчки с ребятишками на руках подошли посмотреть поближе. Солнце склонялось уже к полудню, и под'ехала к колодцу подвода, на которую сложили все три тела и повезли версты за четыре от станицы,—в балку.

Двое молодых казаков шли около подвода не садясь. Винтовки поблескивали у них за плечами.

Без винтовок теперь уж не отходили от станицы и за четыре версты: время было беспокойное—восемнадцатый год.

И вот, когда Титков, лежавший на подводе сверху других, открыл свой глаз, он, прежде всего, почти ослеплен был блеском именно этих двух винтовок за спинами казаков, идущих рядом.

Казак и винтовки—это припомнилось потом—было, видел и раньше; необыкновенный же блеск этот был нездешний уже...

Но боль раздалась сразу во всем теле, и горло и все внутри горело нестерпимо.

Это как раз тогда он очнулся, когда подходили уж лошади к балке, и еще допытывался он у своей памяти, что с ним такое, и где он, и отчего везде боль, как услышал, один казак говорил другому:

— Вот здесь кругой берег... Так и полетят, как галки...

А другой голос отозвался:

— Здесь, конечно, самый раз...

Не понял Титков этого разговора, и когда его, все еще мокрого, выволакивали с подвода в четыре руки, ругаясь, он застонал всем разбитым телом и глянул единственным глазом,—и четыре руки суеверно обмякли, а он брякнул о землю и застонал громче.

Тогда лошади зафыркали и заболтали головами, а двое с винтовками отскочили шагов на двадцать...

Он слушал и слышал, как один, длинно выругавшись, добавил:

— Да ты ж, нечистая сила, когда же ты подохнешь?

А когда глянул, увидел, как другой сдернул винтовку, взял на прицел и выстрелил...

Титков даже чуть покачнулся, лежа, точно в грудь ему вбили огромный гвоздь... Но тут же, чуть повыше, другой гвоздь вбили: это разрядил по нем патрон второй казак.

Рот у него разжался, чтобы вылить кровь; раза два он дернул головою и стих.

Когда казаки подтащили к откосу уже деревянеющий труп Семена с разбитой головой, они раскачали его, взявши за ноги и за плечи, и бросили молча. Труп цыгана Манолати с подвернутой на бок головой они сбросили с подговоркой:

— А ну,—там уж твое пускай будет „зверху“!

Над телом же Титкова, подтащив его к бровке оврага, остановились:

— А вдруг он, чорт этот...—начал один.

— Живой, думаешь?—сказал другой.

И даже мокрую рубашку ему задрали, посмотреть, как прошли пули. Но увидавши, что тело все—сплошной синяк и кровоподтек, и пули прошли навывлет в правую сторону груди, только трянули чубами из-под фуражек и дружно столкнули его вниз и смотрели, как оно катилось кувырком, цепляясь то ногами, то головой, пока не легло, наконец, на дно балки около двух других тел.

Было уже к вечеру. Солнце перекаатило уже за балку: тень и прохлада.

Три бабы из соседнего хутора спустились в балку за дровами. По дну и кое-где по откосам росли там кусты. Их упорно вырубали каждый год, но не менее упорно они вырастали снова. У баб были с собой косыри и веревки.

Когда наткнулись они на трупы, то в испуге бросились бежать, но, оглядевшись, остановились; одна подталкивая другую, подобрались снова к телам.

Глядели, качали головами и даже кончики головных платков подносили к глазам.

— Не воняют еще?—не веря себе, спросила одна.

— Похоже, свежие,—потянула носом другая.

— Авчерась же я здесь лазила, бабоньки,—ничего тут такого не было!—всплеснула руками третья.—И какие же это их злодеи так-то?

Трупы смиренно должны лежать. Страшно, когда пытаются поднять голову труп. Это хоть кого испугает.

И когда, чуть приоткрыв глаз, повернулась слабо голова Титкова, бабы ахнули и взвизгнули все враз и засверкали по дну балки голыми толстыми икрами ног.

Но не больше, как через четверть часа, одна подбадривая другую, подошли в третий раз и услышали шопот:

— Бабочки, дайте напиток...

Маленький ключик пробивался в овраге шагах в двухстах ниже, и бабы знали это, но ведь с ними не было кувшинов и кружек,—только косыри и веревки...

Кровавую кепку, осмотревшись, заметили они на обрыве,—это с головы Семена Караванченки слетела она, когда его тело раскачали и бросили. В этой-то кровавой кепке, чуть ее обмыв, и принесли воды

Летний день—огромен, и бабы, выехав в обед, думали обернуть к вечеру, не было дел в городе никаких,—только это: постоять над могилкой, положить веночек—и домой.

Лошадей была пара, и лошади были сытые.

И когда дробно стучали копыта и колеса по малоезжему проселку, бабы вспоминали, как они везли парня.

— Рази так увеченных возють, как мы-то везли?—говорила рассудительно одна, постарше, лет сорока, Лукерья, с выцветшими глазами.—Он по-настоящему-то на телеге от одного трясения помереть был должен.

— Да уж я тогда кобылу вожжами стегаю, а сама-то все назад на него гляжу, бабоньки,—и так жалкую вся...—говорила Аксинья, помоложе,—и черные брови дугой.

— Он у меня-ишь на коленках головой-то лежал,—и так я, не шевеля, просидела дорогу цельную, аж ноги сомлели,—вставляла третья, Ликонида, самая младшая, и в серых глазах тоскливость.—Хуть бы имячко его узнать.

Ехали бабы с венком, а по сторонам от них стелились поля казачьи, а потом пошли мужичьи поля: как раз невдали от хутора шла граница области,—начиналась губерния.

Много народу разного прошло недавно по этим полям и потоптали местами хлеб, и бабы замечали на полях эти следы равнодушно топтавших ног.

Однако солнце светило ласково, и земля пахла парным своим телом—понятно бабам (у земли ли не бабье тело?).

Ястреб кружился вверху точкой,—сторожил землю, как и всегда он ее сторожил родящим летом. Кукушка в балочке куковала. Глазастые слепни серые садились на репицы лошадям, и лошади крутили хвостами, требуя, чтобы их согнали вожжей.

На одном хуторе горело недавно, и бабы это знали: видели зарево с неделю назад,—а теперь наткнулись глазами в стороне на обгорелые избы и сараи.

— Небось и скогина какая сгорела,—сказала Аксинья, правя.

— Ну, а то долго ли,—поддержала Лукерья, подтыкая под себя солому.

А Ликонида, державшая в руках венки, оторвала от него листик, который показался ей лишним, повертела около губ, бросила на дорогу и сказала тоскливо:

— Глу-упые мы, глупые бабы... И куда это собрались? И зачем это едем?...

Однако колокольни города показались уж из-за темного зеленца садов, и отозвались ей другие две:

— Все одно уж,—теперь недолго.

Как раз кладбище приходилось справа от дороги, когда под'езжали к больнице, стоявшей на отшибе, и бабы говорили одна другой:

— Кабы известно, как его имя,—вот бы и кстати,—слезть да пойти: авось сторож своих упокойников знать обязан.

Даже и лошадей, было, остановили, но на кладбище не встретилось глазам никого, а то бы спросили непременно.

И подкатили к больнице часам к двум дня.

Поставили лошадей у ворот, дали им сена охапку, а сероглазая Ликонида не захотела оставить на телеге венка: еще кто подцепит,—народу много,—так и пошли трое по больничному двору и с венком, спрашивать, где могила того, которого месяц назад привезли они ночью, и как его имя.

Простые люди о болезнях своих и о болезнях близких своих вспоминают только по праздникам, — некогда в будни. И теперь в суете, в толчее на больничном дворе, поросшем травкою между булыжником, бродили три бабы с венком, не зная, у кого спросить о том, что было им нужно.

Попался, было, в фартуке, толстый,—спросили его, но он только буркнул сердито:

— Не видишь разве,—я—повар.

Попался другой, простоволосый, тоже в фартуке и с воюющим ведром в руке, послушал их, но сказал, что недавно тут, и пошел дальше рысцой.

Женщину во всем белом и с красным крестом спросили, — та сейчас же спросила сама:

— А как его фамилия?

— А почем же мы-то знаем, родимая?—удивились бабы.

— А не знаете,—чего же ищете?

И унеслась от них частым перебором высокононьких каблучков.

Попалась потом еще старушка,—оказалась кастелянша, и не знала, но привела их к фельдшеру, рыжеусому, без бороды, тоже в белом халате.

Этот удивил их очень.

— Месяц назад умер, говорите?... Легко вам сказать: месяц назад, а сколько нам искать,—посчитайте... Теперь время какое,—знаете? Сколько их у нас умирает,—подумайте.

— Да ведь этот, наш-то,—он ведь убитый,—пробовали напомнить бабы; но сказал фельдшер, тараща глаза:

— Все теперь убитые... Теперь неубитых не бывает.

Однако обещали посмотреть по книгам.

Навелись бабы к лошадям,—стояли лошади ничего, жевали сено. Обошли весь двор кругом,—и прачешную поглядели, и кухню, и помойную яму (а Ликонида все с венком в руках) и зашли в садик хоть посидеть в холодке, пока фельдшер найдет, что нужно, по книгам.

В садике—маленьком,—всего две тощих аллейки,—больных несколько сидело на скамейках, покрашенных в желтую краску,—все

в халатах белых,—только картузы свои. Один лежал на носилках складных и читал газету,—что даже осудили бабы,—а один сидел в колясочке и глядел вверх на листья, а руки забинтованы, и на голове белый колпак... С двумя больными, похоже, родные сидели, и девочка около одного сосала конфетку в розовой бумажке.

Не очень смело и держась вплотную одна к другой, прошлись бабы по одной аллейке, во всех вглядываясь цепкими деревенскими глазами:—вот они какие больные, вот какое на женщине этой платье с тремя оборками, вот какие на девочке коричневые чулочки...

Прошли мимо того, который читал газету, и его внимательно осмотрели, отметив каждая про себя, какие у него тоненькие пальчики, как соломинки,—и как только газету ими держит!—а глаза быстрые... и мимо того, который в кресле сидел, тоже прошли и его оглядели:— глаза очень запавшие и большие, а руки привязаны к шее белой лентой... и то еще об этом больном заметили, что стоит его колясочка на самом солнце, а казалось так им, что лучше бы ее поставить в тень... И пошли дальше.

Однако далеко в маленьком садике уйти было некуда: дошли до оградки зелененькой и назад по тем же аллейкам, мимо девочки с конфеткой, мимо носилок, мимо кресла на колесах.

Платки на головах чуть сдвинули, чтобы головы продувало, а Ликонида веноч несл, как корзинку, в сгибе локтя, и вздумалось ей на этот веноч поглядеть, когда подходили к коляске, и сказать жалостно:

— Завяли уж и все цветы наши, зря таскаючи...

Но тут больной в колпаке с подвязанными к шее руками вдруг пригляделся к ним встревоженно и проговорил тихо:

— Ба-боч-ки... Это уж не вы ли?...

И сразу остановились бабы.

— Да бабочки ж!...—повторил больной с радостью чрезвычайной, весь просиявши.

— Наш!.. Наш!... Ей-богу, наш!... — закричали бабы на весь небольшой больничный садик.— Да рбдный же ты наш!... А мы-то веночек на твою могилку... вот он... как тогда подреклиса...

И до того неожиданно это было, и до того чудесно это было, и до того сладостно это было, и так перевернуло это души, что не устояли бабы на ногах и повалились одна за другой перед коляской на колени молитвенно и бездумно.

14 февр. 1927 г.

Крым, Алушта.

За грязными картами
 тянется ручка,
Последнего козыря
 ковырем бьёт,
И лысый,
 шатаясь,
 к стенке идёт.
Он к ней примостился,
 глядит стороной,
Как банк обрастает
 на бескозырной.
Печальный бездельник,
 пройдоха,
 проныра,
По узким тропинкам
 прошедший полмира,
На вздорные муки,
 на карты,
 на вздохи
Ты шел
 перекрестками нашей эпохи.
Неужто для карт
 и для грусти джав-банда
Ты шел с караванами
 до Самарканда?
Неужто в самумы,
 в бураны,
 в пургу,
Сжимая гранаты,
 ты ползал в снегу,
Чтоб полночью этой
 срывалась жестянка
Последней монетой
 покрытого банка?
Чтоб долго ссыпался,
 как прорванный фронт,
Чужою рукою
 захватанный понт?
И лысый срывается
 к струнам оркестра,
Он просит:
 «Играйте, играйте, маэстро!»
Маэстро поднялся,
 от сумрачных стен
Высоким прибором
 выходит Шопен.
Я шопотом тихим
 тогда говорю:
«Ты видишь
 за стрельчатым скосом зарю?»

Степанида

Рассказ

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

Села деревня Мотыги на высокий бугор, позади деревни глухой лес, непрорубный и непрохоженный, Сосняк стоит стеной. Зверье и птица в лесу непуганные.

Зимой деревню Мотыги, засугробленную, опевают волчьи песни. Волки, выйдя из лесу, лижут языком лунный свет на снегу, жадно тянут носом, когда от деревни нанесет дымком, ароматом коровьего хлева, распаренным и теплым, или лошадиным загоном.

Волки усаживаются в цепь, словно солдаты на вылазке, и подвывают, соблюдая очередь. В ответ гавкают из деревни басовитые злые кобели, стучит колотушка ночного караульщика, потом в соседнем селе церковный колокол отбивает часы. Когда же последний удар колокола растает далеко над лесом, караульщик, дед Прохор, старый отставной солдат, бросит тупые глаза на небо, покурит в горсточку около своей землянки и отправится спать.

Весной тут другое дело, весной девки под гармонику распевают до полуночи. Весной разливается река, бегут по реке резвые пароходы, над деревней стелется яблонный дух.

В этой деревне, пригожей и веселой, когда зацветала весна, и костенеющей зимами, в середине растерянных по бугру хат, стояла хата Вевей Чувякиной. Горбатые плетни охватывали хату с трех сторон, вдоль плетней сухостойная конопля, да мохноногий репей, за этой же городьбой стояла краснолицая вишня.

Хата у Чувякиной — настоящий дом, на улицу четыре окна, а толку в этом никакого, вот даже и занавески цветного ситца никого не могут обмануть насчет капиталов хозяйки. Все знают, что капиталов у Вевей нет, несмотря на богатых родителей, которые за Волгой в селе. Наберется у Вевей десяток кур, и мычит шершавая коровенка во дворе, только и всего.

Слывет по деревне Вевей ни вдовой, ни мужней женой. Ушел муж в царскую армию во время войны, с той поры, за восемь-то

с лишком лет, десятка писем не прислал. Слышала Вевея, муж в Москве делами ворочает, только слуху не верила и на соседские вопросы отвечала неопределенно:

— Не знаю, коли правду люди про Онисима говорят, значит, не врут...

— А ты бы, чем сидеть-то, с'ездила к нему,—советовали ей.

Но и тут слова Вевеи были нерешительны и даже робки:

— Куда я такие версты... Чай, приедет, ежели соскучится.

Восемь лет прошлым летом сравнялось. Ложился девятый год сочными майскими травами, а Чувякин, видимо, не скучал по родной деревне и по Вевее тож, и за этот год ни одной весточки о себе.

По правде, Вевея не знала точно, куда бы она могла поехать к мужу. В какой стороне эта самая Москва живет, как в нее угодить без провожатого? Между тем окружали женщину соблазны. Выдали Вевею замуж по крестьянскому обычаю шестнадцати лет, прожила с мужем полгода, и, считай не считай, после восьмилетней разлуки с мужем Вевее всего двадцать четыре года выходит.

Одолевали Вевею разговорами родственники, одолевали подруги, одолевали еще и видения разные.

Весенние воспоминания приходили обычно в долгие вечера осени, ветряные и дождливые вечера, когда все лысело вокруг, и деревня Мотыги едва держалась на крутом бугре над рекой, беспокойной и черной. Хаты, того и гляди, поскользнутся и поедут вниз.

Хотя Вевея, творя молитву, ругала себя за несуразные мысли, но через туманную полудрему лезло в голову всякое.

Ошупывала Вевея молодое упругое тело, сбрасывала лоскутное одеяло к ногам, маялась от жары и все прислушивалась.

Бился за стеной вишнежник под ветром, ядовито шипел кто-то вверху около трубы, жадовались петли ставень на большую обиду, дергаясь на ржавом крючке, и все хотели распахнуться.

Не удерживая страха, будила Вевея бабушку Степаниду, дальнюю родственницу.

— Айя,—откликнулась бабушка,—ты чего это не спишь? Больно плотно натопила нонче, вот тебя и накрывает тягота...

— Ой, бабушка, накрывает,—покорно соглашалась Вевея.

— Мужичий дух приходит от жары,—говорит словоохотливая Степанида,—оно и трудно, сон тогда пьяный, будто спишь и не спишь...

Обе лежат и слушают уличные шорохи, шелтанья, ветряные запевы, дождевые россыпи.

— Шла бы ты замуж,—советует бабушка,—по новым временам нынче даже при живом муже к другому перейти можно. Слышь, аль нет?

— Слышу, бабушка...

— Тогда ты и поступай, как твое хотенье требует. Да мужика-то, смотри, покрепче выбирай, из земляных, теперь работники для земли надобны, так ты из таких, других по сторонке от себя, молодые—они

все больше тонкогузые пошли, хорошей бабе растрava одна, работницы из них тугие, чего уж там...

— Вдруг Онисим воротится, — подавала робкий голос Вевея, — куда я тогда?

— Воротится, от ворот поворот ему. Ждала, мол, ждать устала, было бабе восемь лет терпежу, теперь на месте не усiju, так-то вот...

Бабка Степанида разгулялась, она села около печи на лежанке, крестилась, когда бил ветер в стены, и, улавливая тяжелый и полусонный лай собак, говорила:

— Я, бабонька, родная моя, тридцать лет вдовею, знаю, каково живется одной-то, без мужниной жалости. И так наше житье деревенское — слеза одна, вон в городе бабы просторнее нашего живут.

Вевея слушает и бабу Степаниду и глухую осеннюю ночь, бабкины разговоры, что сверчковые трели за печью, думаешь под разговоры — и сладко, и больно, и смеяться хочется.

— Ты не уверяйся больно в мужнину любовь, — говорит бабка, — ты легче живи. Я знаю какие-такие Чувякины. Слава богу, больше полста годов прожила на свете, встречалась я с ними, мужики жадные до чужого добра, мимо дерьма так не пройдут, вершинку скусят. Твой свекор покойник — Сидор Устиныч, хапун человек был, прямо упаси господи, живоглот, от ненасытности и умер, и смерть была ему такая — никто слезинки не проронил, иные даже смеялись по селу у нас.

Ни вопросов, ни подробных расспросов не ждет старая Степанида, обо всем теперь говорит она с ровным сердцем, пялит полинявшие глаза в темноту, и воспоминания перед ней текут сквозным бреднем. Хотела рассказать о том, как жил на свете скупердьяй — мужичок Чувякин, Сидор Устиныч, да перекинулась на другое, зная, бредень запутанным местом по мыслям ударил, вспомнила о себе, о своем житье молодом, да незадачливом.

— У меня мужик был, — не торопясь сказывала Степанида, — али я не говорила тебе? Ну, не говорила — скажу, все равно, теперь не уснуть. Ты без мужа тоскуешь, я с мужем томилась шесть годов, вот как в жизни разложено, как по звездочкам. Мужик мне такой определился, от тоски косточки ломили, по виду хорош был, а вот не угодлив, весь скрипучий какой-то, ни слова от него путного, ни обходенья душевного... И что я, в девках была, смотрела, не могу нонче припомнить, парень со всех, будто, сторон ладный, и глаза не скупые, вышла замуж за него, пелена с глаз, вижу, лучше с домовым жить, чем с ним. Недели после свадьбы не прошло, зудить начал:

„Сыми, Степанида, полусапожки, не зима, босиком ходить можно... Прибереги платьишко-то, придет время надеть нечего будет...“

— И мать ты моя, долюшка горькая! Каждый день так. За изношенные валенцы два раза бить принимался. „У тебя, говорит, нога тяжелая, эдак, говорит, на тебя одну работать мне придется“.

— Что же, отвечаю я, или я не работаю?...

„Не видно“, говорит...

— Ах, ты, мать ты моя, долюшка горькая! Как это не видно...

— Сидим мы с ним, и такие у нас вот разговоры. Люди добрые по праздникам в гости, к нам ни один пес не заглянет, ну и сама к другим шагу не моги. Плакала я: неужто всю жизнь так будет?

Он мне одно свое: „А ты по иначе думала? Обмишулилась, ошибочка в твоей жизни получилась“. И жаловаться стал: „Не при наших достатках по гостям ходить, брагу варить, друзей поить. Ты, говорит, что с собой принесла?..“

— Вот я, милая Вевеюшка, и взмолилась тогда. Муж со двора, я на колени:

„Господи“,—сама плачу.—„Господи“,—в грудь себя бью и головой в пол: „Убери ты его от меня, господи! А то руки на себя наложу“...

— Греха-то сколько,—всей грудью вздохнула Вевея.

— Молюсь,—не слыша слов Вевеи, рассказывала бабка Степанида,—не один день молюсь, с самого господня крещения зачала и, почитай, до конца великого поста—без передыху. Робостно мне перед богом, уж я глаза-то в ноги, и слова у меня такие нашлись—не молитва, чего в ум взбредет:

„Одна, господи, просьба до тебя, немного просвету мне для моей жизни, нет мне просвету, Убери, господи, раба твоего Степана, сделай, господи, как-нибудь, чтобы ему на том свете все благодати, и у меня земную радость не отними, господи. Первая просьба моя, господи, царь небесный, и последняя“...

— Молюсь так-то, глаз поднять не смею. Муж придет, я смотрю и все замечаю, будто лицо у него тускнеть зачало. Время-то все идет да идет, думаю про себя: не завелась ли в мужике какая боль внутренняя, лицо-то меня смущало. Вот на шестой неделе поста мужик и говорит: „Едем в город“.

— Ну что же, едем, мое дело покорное. Гляжу, насыпает Степан два воза пшеницы, значит, действительно едем. Дни стояли тогда теплые, дороги рыхлые, мы как выехали из села, так по реке, прямым путем по льду, утро, как следует, не разошлось, а мы уж, трух-трух, трух-трух, лошади кормленные, дорога пошла легкая, мужик у меня наперед, саженой этак за десять, свернулся на возу под тулупом, задремал не иначе. Я себе еду и все мою молитву твержу, бес ли мне эту молитву наговаривал, не знаю, только—что сижу я, а молитва в уме яснится: „Один разочек, господи, молитву мою исполни, или мне пропадать на свете? жить не могу, господи, видишь ведь“...

Вдруг, как завоет впереди меня голос нечеловечий, и услышала я крик.

„Ой, погибаю!“

Лошадь у меня в сторону с дороги как вернет на раскате, я со всего бегу-то на лед, вскочила, вижу впереди полынья, Степан мой с возом и ухнул туда, и уж лошади не видать, один муж барахтается, кричит попрежнему: „Ой, погибаю! Ой, погибаю!“..

Тут самый главный грех и настиг меня, бегаю около полыньи, метаюсь из стороны в сторону и в голове у меня: Ток-ток, ток-ток: „Услыши молитву, господи, утопи Степана, господи“...

Степан за край полыньи, тогда одежда намочла, вниз его тащит, руки обрываются, и заметила я тогда, стоят у него в глазах слезы, смотрит на меня, голосу не подает, задыхается.

Не помню, как уж это я так, опояску с себя, кушак сняла и ему, потом давай тащить, откуда только моя сила, тащу как лошадь. Вытащила, он уже почитай без движения, я его на воз и давай гнать.

Вот тебе—и, господи, уברי мужика, господи-то убрать, а баба давай не пускать.

— Что ты, бабка, рассказываешь, как это может быть,—удивилась Вевея, поднимаясь на постели.

— Может, все может,—подтвердила Степанида.— Молилась я потом с обратной стороны, чтобы Степана бог спас, ничего не вышло, на смерть застудился мужик, в скорости после пасхи, после светлого воскресения христово и помер.

— Отчего смерть пришла? Думала я: неужли в самом деле по молитве? Что это подняло Степана пшеницу продавать, жадность одна—только и всего: к весне хлеб в большой цене ходил, Степан выжидал все. И хоть бы нужда была, а то ведь после смерти добра осталось—всем братьевьям хватило, денег одних больше тыщи. После, как значит, узнала я про деньги, у меня и жалость к покойнику, ровно рукой сняло, обидно было: „Ах ты, мать ты моя, долюшка горькая, полусапожки прятал, босиком ходить заставлял“... Такое меня горе взяло, тогда же с гневного сердца зарок дала замуж не ходить, ко всему еще свекор твой Сидор Устиныч, во грех ввел, подкатился ко мне с большой добротой, допустила я его до себя и денежки ему вручила, которые мне от мужа достались.

Вевея в жарко натопленной избе разопрела совсем, она плохо понимала, о чем ей повествовала бабка Степанида, о какой такой жадности, и к чему тут ее муж Онисим.

В потемках, на лежанке вздыхала бабка, старые кости, или осенний ветер за стеной, не давали ей спать.

Вевея разбросалась, тело покрылось клейкой испариной, тогда поднялась и перешла на лавку к окнам, тут полегчало и на грудь перестало давить и уже слушала бабку внимательно.

— У нас по селу так и идут по порядку,—продолжала совсем разошедшаяся бабка Степанида—по середине Дерябины, самые широкие мужики, по берегу Волги Чувьякны, ближе к лесу Хватовы, и все друг другу родня, и все свою отличку имеют. Дерябины в голодный год на хлебе капиталы нажили: народ, бывало, мрет, а им денежка в мощну прет, дома себе сгрохали, кои в два этажа, крепко мужики шагать пошли: лошади не лошади, тройки угонистые. Бывало, по Волге на масленой неделе с присвистом, точно разбойники. От Дерябиных

купечество зачалось, многие в город переехали из них, торговлю завели на всю губернию.

— Вот, они какие, Дерябины!... Да, вот, они какие, — повторила бабка. — Когда бы я за дерябинского замуж угодила, может, по другому жизнь повернулась, попутал меня бес за Хватова угодить, а Хватовы от роду конокрады, деньги в три узла вязали, крестьянствовали для отвода глаз.

— Как же это так, — недоумевала Вевея, — ты раньше об этом знать должна, чай?

— То-то, что нет. Все было шито-крыто, все были людьми почтенными, всякое к ним начальство бывало: вместе пили, вместе барыши делили. Теперь вот об'явилось да на чистую воду выплыло всё. Тогда и думать не могли — сказать про кого-нибудь: этот такой, тот сякой, они друг за друга горой стояли, концов не найдешь. Дерябины сватовья Хватовым, Чувякиным крестовые братья, давно переплелись, трудно распутать, мы здесь все родственники, одна разница, по-разному жисть ладили — Чувякины чуднее всех, Чувякины от роду кусочники: как весной отсеялись, так на все лето в раз'езд, запрягут мухортую кобыленку в кибитку такую и по селам милостыньку собирать: кто на погорелое, кто по юродству. Едут селами, церковное пение поют, мужик в кибитке сидит по-бабьи повязан, вроде — немочен, и ногами не владеет, кругом его иконки. Ну, как только в село, сейчас пречистой богородице песню, со всех сторон к ним бабы — кто копеечку, кто хлебец, кто яичко, с этого Чувякины разрослись. Недаром казанскими сиротами по всему нашему крестьянскому миру ославились. Одна у них беда — уж ежели дорвались до чего, значит, каюк, силом не оттащишь. А ты, глупая, мужика ждешь, теперь он поди, до жизни будто квас пьет, когда из бани, без отрыву...

Вевея беспокойно заворочалась на лавке и, словно робея перед тем, что может случиться, спросила несмело и дрогнувшим голосом:

— Чего присоветуешь, бабка Устинья: или благословишь меня, тяжело одной-то без жалости мужниной на свете жить, сама сказывала...

— Ах, ты, мать ты моя, долюшка горькая, — встрепенулась бабка, — знамо дело, благословлю. По нынешним законам при живом муже за милу душу к другому перейти можно...

Два стихотворения

ПЕТР ОРЕШИН

1. Хозяйка

Деревья в осеннем бреду,
Стоит паутина в саду,

Шумят голубые кусты,
Летят золотые листья,

И квёлому солнышку рад
Пустой и обобранный сад.

В беревах запутался дом,
Шесть окон и крыша на нем,

И пес, неприкаянный зверь,
Глядит на закрытую дверь.

В саду—многоногий разброд:
Когда же хозяйка придет?

Не даром под грушей телок
Осенней хандрой занемог,

И груша и яблоня тут
Хозяйку любезную ждут.

Все ждут не дождутся, и вот
Хозяйка по саду идет,

Мелькая за каждым стволом
Широким цветным рукавом.

Гляжу я тайком из окна:
Добра и степенна она,

И виснет в густой синеве
Луна на ее голове.

Хозяйка легка и мила,
Весь сад голубым обняла,

Сказала сухим деревьям:
«Спасибо за яблоки вам,

— За тихий приют соловью,
За юность былую мою!»

И я был душой умилен,
Как будто приснился мне сон:

Хозяйка в саду, и над ней
Полет голубых журавлей.

II. Песня.

На осеннем на коне
Едет милая ко мне,

Ближе, ближе, у ворот,
С поля в горницу идет.

Вот сижу я сам не свой,
Вот поникнул головой,

Горько плачу наяву:
Как зазнобу назову?

Поглядел в осенний сад,
На густой древесный лад...

Ах, не мой ли это стыд
Алым яблоком висит?

Да не я ли там увял,
Спелым яблоком упал.

Откатился на межу,
Откатился и лежу?

Замутился лунный свет,
Почему же гости нет?

Кто она, душа моя,
И зачем ей нужен я?

Затемнело за окном,
Синь померкнула кругом.

Золотой туман вдали,
Ни дороги, ни земли!

Сердце бьет невольно
За любовь, за красоту,

За сердечный жар и пыл,
Кто любил и не любил!

Сердце бьет... Я дверью—верть:
— Кто там? Радость или смерть?

Заходи, мне все равно,
В голове моей темно,

И в душе такая муть,
Только лечь бы да уснуть!

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

* * *

Как птицы, которые все покидают
За сладкое слово—свобода,
Ты на лето едешь к отрогам Алтая
На поезде и на подводах.

Они унесут тебя в сумрак и в гулы,
На горы, где путь многотруден,
Где дымные юрты, аулы да мулы,
Да желтые дикие люди.

Те люди, которые любят до боли,
А возненавидят—до пули,
Где небо огромное и голубое
Над улицами в Барнауле.

А мне, как тяжелого хлеба ковриги,
Останутся, видно, на лето
Большие и черствые, умные книги
Да тусклого неба просветы.

И только на карте названия станций,
Да письма—безжалостно просто
Раскажут, как невероятны пространства,
Седые, бездушные версты.

—————

Из детских лет

Воспоминания

В. ВЕРЕСАЕВ

Очень смутно помню старушку-немку, Анну Яковлевну. Низенькая, полная, с особенными какими-то пукольками на висках. Я ее называл Анакана.

Сажу у себя в кроватке и реву. Она подходит и унимает меня.

— Ну, не плачь, не плачь; ты мой барин!

— А-на-ка-на!.. Я твой барин!

— Ты мой барин, ты мой барин!

— Я твой барин,—повторяю я, успокаиваясь и всхлипывая.

— Мой барин, мой барин... Спи!

Когда со старшим моим братишкой Мишей мы сиделись завтракать, Анна Яковлевна ставила перед нами тарелку с манной кашей и говорила Мише:

— Mischenka, Mischenka, iss schneller, sonst wird dieser пузырь alles aufessen!

В детстве у нас постоянно жили бонны-немки, мы всегда слышали:

— Kinder, deutsch sprechen!

И говорили по-немецки лучше, чем по-русски. Маленькая сестренка Соня, когда ее спрашивали, хочет ли она молока, отвечала:

— Соня хочет нет.

Точный перевод с немецкого: Соня will nicht.

А когда покойный брат Володя умирал от крупа, он на все маминны вопросы по-русски отвечал по-немецки. С посинелым лицом и втягивающимися надключичными впадинами, он говорил сиплым, придушенным голосом:

— Mama erlaubt nicht russisch sprechen.

Это маму очень тяжело поразило, и потом нам уж не так строго запрещали говорить по-русски.

Мы причащались. Подошла к причастию молодая дама в белом платье с большим квадратным вырезом на груди. Сестра Юля с удивлением мне прошептала:

— Витя, посмотри-ка. Зачем у нее впереди голое? Наверно, не хватило материи.

Я презрительно ответил:

— Вот глупая! Все не потому. А просто, чтобы легче было чесаться, когда блохи кусают. Ничего не расстегивать. Засунул руку и чешись.

— А-а...

Всегда у нас в комнатах жили собаки,—то огромный ньюфаундленд, то моська, то левретка. И блохи были нашей всегдашнею казнью.

Некоторые свои знания я приобретал совершенно неизвестно откуда, — вернее всего, черпал их из собственного воображения. Однако они почему-то очень прочно сидели в памяти, и я глубоко был убежден в их правильности. Помню такой случай.

У сестренки Мани было расстройство желудка, после обеда ей не дали яблока. Она очень была недовольна. Надудась и ворчала:

— Ну, ведь все равно, уж есть понос. Какая же разница? Ну, с'ем яблоко,—понос был и останется, больше ничего.

Я важно стал ей об'яснять:

— Как ты не понимаешь? Ты думаешь, он так на одном месте и остановится? Он будет итти все дальше и дальше,—в руки, в ноги, в голову. Порежешь руку, и из нее потечет понос; начнешь сморкаться,—в носовом платке понос.

Маня широко раскрыла глаза и замолчала. Это ее вполне убедило. Папа еще сидел за столом и дочитывал „Русские Ведомости“. Он вслушался в мои об'яснения и изумленно опустил газету.

— Витя! Что ты за вздор такой городишь?

— Как? Нет, правда!

— Правда?

Папа в безнадежном отчаянии махнул рукою, молча встал и вышел.

В конце сада, около большой аллеи, росла вишня,—вся она густо была покрыта черными ягодами. Мама дала нам с Юлею корзинку и велела обобрать вишню.

— Мамочка, а можно будет некоторые есть?

— Ну, какая уж очень будет проситься в рот,—ту с'ешьте.

Пошли. Через час приносим маме корзинку. На ее дне горсть красных ягод.

— Только-то? Где же все ягоды?

Мы сконфуженно ответили:

— Очень уж просились в рот.

Помню в детстве отшатающийся, всю душу насквозь прохватывающий страх перед темнотой. Трусость ли это у детей, — этот настороженный, стихийный страх перед темнотой? Тысячи веков дрожат в глубине этого страха, — тысячи веков дневного животного: оно ничего в темноте не видит, а кругом хищники зряче следят мерцающими глазами за каждым его движением. Разве не ужас? Дивиться можно только тому, что мы так скоро научаемся преодолевать этот ужас.

К исповеди нельзя идти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть. Перед исповедью даже мама, даже папа просили прощения у всех нас и прислуги. Меня это очень занимало, и я спрашивал маму:

— Обязательно нужно, чтобы все простили?

— Обязательно.

У меня начинали шевелиться шантажные вождения.

— А что будет, — вдруг я возьму и не прошу тебя?

Мама серьезно отвечала:

— Тогда я отложу говенье и постараюсь заслужить твое прощение.

Мне это представлялось очень лестным. А иногда я раздумывал: нельзя ли бы на этом заработать пару карамелек? Мама придет ко мне просить прощения, а я: „Дай две карамельки, — тогда прошу!“

Это я давно заметил, и это было верно. Стоило заметить только раз, а потом никаких не могло быть сомнений: вещи любят дразнить человека и прятаться от него; чем их усерднее ищешь, тем они дальше запрятываются. Нужно бросить их искать. Им тогда надоест прятаться, — вылезут и сядут совершенно на виду, на каком-нибудь самом неожиданном месте, где уж никак их нельзя было не заметить.

Из этого выходило: потерялась вещь — поищи; не находится — перестань искать: через день-другой выскочит сама (конечно, если не попала к маме в Плюшкин магазин: ну, тогда жди разборки магазина, раньше не получишь).

Никогда не мог понять, что интересного в „Робинзоне Крузо“. Козлики какие-то; шьет себе одежды из звериных шкур, надаивает молоко, строит дом... Интересно было только в конце, где Робинзон и Пятница сражаются с дикарями.

Полицмейстер у нас был очень замечательный и глубоко врезался мне в память. Александр Александрович Тришатный. Невысокий, полный, очень красивый, с русыми усами, с тем меланхолически-благородным выражением в глазах, какое приходилось наблюдать только у полицейских и жандармских офицеров. Замечателен он был в очень многих отношениях.

Во-первых. Один во всей Туле он раз'езжал в санках, запряженных в „пару на отлете“: коренник, а с правой стороны, свернув шею кольцом,—пристяжная. Мчится, снежная пыль столбом, на плечах накидная шинель с пушистым воротником. Кучер кричит: „поди!“ Все кучера в Туле кричали: „берегись!“, и только кучер полицмейстера кричал: „поди!“ Мой старший брат Миша в то время читал очень длинное стихотворение под заглавием „Евгений Онегин“. Я случайно как-то открыл книгу и вдруг прочел:

...в санки он садится,
«Поди! поди!»—раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Я даже глаза вытаращил от радости и изумления: наш Тришатный! Сразу я узнал. Наверно, сочинитель бывал у нас в Туле.

Во-вторых, на всех афишах и объявлениях внизу мелким шрифтом печаталось: „Печатать разрешается. Полицеймейстер А. Тришатный“. И не „полицеймейстер“, а на каком-то неизвестном языке: „полицеймейстер“. По-немецки,—я отлично знал,—будет „полицеймейстер“.

Потом еще—сама фамилия. Тришатный. Три, а чего три,—никому неизвестно. Мещане и мужики называли его „Триштаный“.

Но самое замечательное, самое непонятное и всего больше поразившее мой ум было в нем то, что он только очень редкие фразы говорил по-русски, больше же всего говорил на великолепном французском языке, хотя кругом ни одного француза не было. Помню, упал человек на углу Киевской и Посольской, и лежал боком, тяжело хрипя, со странным лицом, темным, как мокрый снег. Подкатил в своих санках Тришатный, соскочил, толпа перед ним раздалась. Он на русском языке велел городовому привести извозчика, а потом быстро заговорил по-французски, устремив взгляд куда-то поверх наших голов. Бабы, разинув рты, смотрели ему в усы, я оглядывался: с кем это он? Никого подходящего не было. А он все говорил и говорил.—„Voyons!—N'est ce pas?—Eh bien!“ Очень это большое во мне вызывало к нему уважение. И я думал: „наверно, он всегда живет в самом аристократическом обществе!“

Мама велела мне зайти после всенощной в Петропавловскую аптеку взять лекарство. Папа был популярный в городе врач, и в аптеке ко мне относились очень ласково. Раз, помню, для каких-то моих дел (кажется, чтобы спрятать волосы Маши Плещеевой) мне очень было нужно красивую, с картинками, коробочку от лекарств. Я зашел в Петропавловскую аптеку и спросил, конфузясь: можно у них купить коробочку одну, без лекарств? У аптекаря были длинные черные усы, они торчали прямо в стороны. Он улыбнулся, вышел в другую комнату и вынес мне сверточек.

— Сколько стоит?

— Ничего.

Пришел домой. Развернул. Вот радости! Большая зеленая коробочка с альпийским видом, и в ней что-то еще. Открываю, — другая коробочка, красная, на картинке два кролика. В ней—синяя, с девочкой. Еще и еще, все меньше,—так всего восемь коробочек!

Так вот—зашел я теперь в аптеку. Была метель, на гимназической моей фуражке и плечах шинели пластами лежал снег. Я подошел к конторке, протянул рецепт аптекарю, — тому самому, с усами. Он сурово оглядел меня и вдруг резко сказал:

— Потрудитесь снять шапку!

Я густо покраснел и снял. Аптекарь стал писать ярлычок, а я ждал: вот он сейчас увидит, что рецепт для доктора Смидовича, улыбнется и попросит у меня прощения. Но он так же сурово протянул мне ярлычек и отвернулся к другому покупателю.

Я долго взволнованно ходил по улицам, под ветром и снегом. До сих пор мне странно вспомнить, как остро пронзало мне в детстве душу всякое переживание обиды, горя, страха или радости,—какая-то быстрая, судорожная дрожь охватывала всю душу и трепала ее, как в жесточайшей лихорадке. С горящими глазами я шагал через гребни наметенных сугробов, кусал заолодавшие, красные пальцы и думал:

„Вот бы хорошо, если бы я был полицмейстер Тришатный! Так бы в санках, в паре на отлете, я подлетаю к Петропавловской аптеке. Вошел, протянул указательный палец:

— В двадцать четыре часа вон из Тулы!

Аптекарь побледнел, испуганно стал спрашивать:

— За что?

— Ты знаешь, за что! В двадцать четыре часа вон!

И больше ничего не стал слушать. Повернулся—и назад в санки свои. Кучер кричит: „поди! поди!“ Морозной пылью серебрится мой бровный воротник“.

И отлегало от души, и дрожь в ней затихала. Я уже колебался,— не оставить ли аптекаря, так и быть, в Туле? И вдруг опять острая боль пробивала душу, и я вспоминал: вовсе я не Тришатный, аптекарь спокойно стоит себе за конторкой и совсем не раскаивается в том, что так меня обидел. И я дальше, дальше шел в вьюжную темноту и курящиеся сугробы.

„Царь. Его опять хочет застрелить нигилист, а я, как мужичок Комиссаров,—только не толкаю нигилиста под руку, а бросаюсь вперед и грудью заслоняю царя, и пуля мне в грудь на вылет. Я лежу, умираю, царь меня спрашивает: чего я хочу? Все будет исполнено. И я ему:

— Есть в Петропавловской аптеке такой аптекарь Гессе...“

Тьфу! Опять!.. И никакого царя я не спас, и никто меня не спрашивает, и Гессе ничуть не раскаивается!.. И, мыча от боли, я распахивал шинель навстречу вьюге.

Лет через двадцать пять, в Париже, я зашел в магазин купить себе галстук—и машинально поспешил снять шляпу. Приказчик с сконфуженным, страдающим за меня лицом потихоньку сказал:

— Мосье! Наденьте шляпу.

Сербское восстание и русско-турецкую войну я помню ясно, — я тогда был в первом и втором классах гимназии. Телеграммы: „Русские войска переправились через Дунай“, — „перешли Балканы“, — „Плевна взята“. Ур-ра-а-а!.. Восторг, кепки летят вверх. Молебен, и распускают по домам.

Какие мы молодцы! Весь мир на нас удивляется. Русские, как львы, идут вперед и вперед, ничего не может их остановить,—ни реки, ни горы, ни снега! И все иностранные страны со страхом и завистью смотрят. „Кто разрешит восточный вопрос?“ На бумажке четыре портрета, — английской королевы Виктории, германского императора Вильгельма I, австрийского Франца-Иосифа и турецкого султана Абдул-Гамида. Сложить бумажку по пунктирам,—и из лба Виктории, подбородка Абдул-Гамида, бакенбард Франца-Иосифа и затылка Вильгельма вдруг получается — портрет нашего царя Александра Второго... Замечательно! Сам, значит, бог заранее решил!

Многи лета, многи лета,
Православный русский царь!
Дружно, громко песня эта
Пелась прадедами встарь.
Дружно, громко песню эту
И теперь вся Русь твердит,
С ней по целому по свету
Слава царская гремит!..

Немцы и австрийцы очень нам завидуют, всячески стараются мешать нам и помогать туркам. Только мы их не боимся.

Шли как-то немец с турком,
Зашли они в кабак.
Один тут сел на лавку,
Другой курил табак.
А немец по-немецки,
А турок по-турецки.
А немец-то: «а-ля-ля!»
А турок-то: «а-ла-ла!»
Но русский, всех сильнее,
Дал турку тумака,
А немец похитрее,—
Удрал из кабака.

Вот мы какие молодцы! Так мы войну и кончим, — придется немцу с конфузом удирать. Только вот горе, — я просто в отчаяние приходил: всех турок перебьют! Когда вырасту большой,—мне ничего не останется!

А какие турки мерзавцы! Картинки были в „Ниве“, и еще страшнее—вмасленицу на балаганах в панораме: смотришь в круглое стекло,—баши-бузуки и черкесы скачут по горячей деревне, трупы с красною кровью, голые белотелые девушки идут стадом, и турок хлещет их нагайкой; или русские раненые солдаты, а турки выкалывают им глаза, выдирают ремни из кожи спины, белая кожа со страшными красными полосами, и всё совсем, как живое, и в натуральную величину, в четком красноватом свете. Тяжело переводишь дыхание и в темноте, пахнувшей керосином, продвигаешься от одного круглого стекла к другому. А вот битва при Ардагане. Ага! Тут турки удирают, испуганно оглядываясь, а за ними бешено бегут русские со штыками на перевес. Казаки карьером несутся за черкесами, вот черкес обернулся на-скаку, хочет выстрелить в русского офицера, но сбоку казак уже всаживает в него пику.

В Туле у нас появились пленные турки. Горбоносые, черноглазые, в синих куртках и красных фесках. Вот! Сколько глаз каждый выколол нашим пленным! Самим бы им... А потом понемножку становилось все страннее. Раз мама взяла поденными трех пленных турок. Что такое? Хорошие, ласково смотрящие глаза, застенчивые улыбки, рабочие, трудовые руки, тихое и славное в лицах... Мама не в счет платы покормила их обедом. Они благодарно кивали головами и улыбались. Потом я часто видел пленных на улицах, — озябшие лица, кутаются в лохмотья,—а заговоришь,—те же ласковые, добрые улыбки. Все рассказывали и удивлялись: какой честный народ, — куда честнее наших русачков. И работают как добросовестно!

Так у меня турки и остались в памяти: тамошние, на войне, о которых я только читал, — свирепые злодеи с оскаленными зубами и волчьими глазами,—и наши, тульские, которых я видел собственными глазами,—с хорошими мужицкими лицами, ласковые к людям, работающие.

В младших классах гимназии я был очень маленького роста, да и просто очень молод был для своего класса: во втором классе был десяти лет.

Вот раз иду из гимназии. Ранец за плечами тяжело нагружен книгами, шинель до пят, сам с ноготок. На Барановой улице навстречу мне высокий господин с седыми, прокопченными усами, в медвежьей шубе. Он изумленно оглядел меня.

— Такой маленький—и уж в гимназии! Вот потеха! В каком вы классе, молодой человек?

— Во втором. — Я скромно потупился и прибавил: — и первый ученик.

Господин уж совсем изумился.

— Да что вы говорите?! Не может быть!.. Как ваша фамилия?

— Смидович.

— Не сынок ли доктора Викентия Игнатьевича?

— Да.

— Да что вы? Очень, очень приятно видеть таких детей...— Своею теплою, большою рукою он пожал мне руку.—Передайте мой поклон Викентию Игнатьевичу!

Я шел дальше. Очень было гордо на душе и приятно. И неожиданно в голову вскопчила мысль:

„Вдруг бы он сказал: „очень, очень приятно видеть таких детей! Вот вам за это—рубли! Или нет, не рубль, а—десять рублей!“

Десять рублей. Я стал соображать, что бы я купил на эти деньги. Коробочка оловянных солдатиков стоит сорок копеек. Куплю на шесть рублей,—значит... пятнадцать коробочек! Русская пехота, русская кавалерия, немецкие гусары в красных мундирах и голубых ментиках, потом — турки в синих мундирах стреляют, а сербы в светло-серых куртках бегут в штыки. Таких сразу пять коробок, чтобы много было турок. Три коробки артиллерии. Артиллерия шестьдесят копеек коробка. Всего семь восемьдесят. Остается два двадцать. На это — шоколаду. Палочка шоколаду—пятачок. Всего — сколько? Со... Сорок четыре палочки! Сорок четыре. Из шоколаду—ложементы; нет,—столько шоколаду, — можно целую крепость. Из-за брустверов стреляют турки, торчат дула пушек. На турок в штыки бегут сербы, за ними русская пехота и всякая кавалерия.

Потом стал думать о другом. Подошел к дому, вошел в железную, выкрашенную в белое будку нашего крыльца, позвонил. Почему это такая радость в душе? Что такое случилось? Как будто именины... И разочарованно вспомнил: никаких денег нет, старик мне ничего не дал, не будет ни оловянных армий, ни шоколадных окопов...

Очень увлекался я книжкою Грубе „Очерки из истории и народных сказаний“,—мне ее подарили на именины, когда я был в первом классе. Красивый коленкоровый ярко-голубой переплет с золототисненым заглавием и на корешке мои инициалы: В. С. Очерки древне-греческой мифологии, греческой и римской истории. Я хорошо эту книжку знал, был великолепно ориентирован во всех греческих богах, греческих и римских героях. Очень раз отличился в классе. Во втором классе история еще не проходила. И вдруг я, на уроке русского языка, в упражнениях на условные предложения, написал такую фразу: „Если бы Марий не разбил кимвров и тевтонов, то Рим, может быть, навсегда бы погиб“.

— Смидович! Что это ты написал? Что ты знаешь про кимвров, тевтонов и Мария?

Я с одушевлением стал рассказывать о вторжении диких германских варваров в Италию, о боях с ними Мария, о том, как жены варваров, чтобы не достаться в руки победителям, убивали своих детей и закалывались сами. Учитель, задавший мне свой вопрос с ироническим недоверием, слушал, пораженный, и весь класс слушал с

интересом. Я получил за свою работу пять с крестом,—у нас отметка небывалая.

Слава о моем превосходном знании древней истории и особенно греческой мифологии понемногу стала очень прочной. Однажды в воскресенье, когда у нас были гости, папа сказал Докудовскому, председателю земской управы, указывая на меня:

— Вот знаток греческой мифологии: про любого греческого бога расскажет самым обстоятельным образом. Спросите-ка его что-нибудь.

Я скромно и горделиво ждал. Он с любопытством повернулся ко мне, оглядел своими умными, насмешливыми глазами.

— Посмотрим! Ну-ка, молодой человек, скажите мне,—кто такая была Геката?

Геката... Про нее ничего у Грубе не говорилось. Я растерянно молчал.

— Ну, или вот—Ламия?

И про Ламию ничего не было у Грубе... Мама, чтоб оправдать меня, сказала:

— Сконфузился!

Я поспешил исчезнуть.

В детстве фантазия у меня была самая необузданная. Действительность давала толчок,—и в направлении этого толчка фантазия начинала работать так, что я уже не отличал, — где правда и где выдумка; мучился выдумкою, радовался, негодовал, как-будто это все уже случилось взаправду. Раз шел из гимназии и вдруг представил себе: что, если бы силач нашего класса, Тимофеев, вдруг ущемил бы мне нос меж пальцев и так стал бы водить по классу, на потеху товарищам? И всю дорогу домой я страдал, как-будто это, правда, случилось, и искал, и не находил путей, как бы отомстить обидчику.

Ко всякому действию, ко всякой работе спешила прицепиться фантазия и пыталась превратить их в завлекательную игру. Например, есть ложкою клюквенный кисель. Это была история тяжелой и героической борьбы кучки русских с огромной армией турок. Русские (ложка) врываются в самую гущу турок, пробиваются до другого конца,—но сейчас же за их спиною враги смыкаются. Русские повернули, опять в самую гущу. Долго тянется бой. Всё жиже становится красная гуща врагов, все ленивее смыкаются за кучкой героев. Наконец, силы ее истощились. Русские проносятся из конца в конец,—за ними остаются широкие белые полосы, и они уже не смыкаются. И уже русские шарят по всей долине, и захватывают, и беспощадно уничтожают жалкие остатки турок...

— Ура! Победа!

Взрослые удивленно смотрят,—передо мною только пустая тарелка из-под клюквенного киселя.

— Чего это ты, Витя?

— Всех турок победил! С маленькою горстью русских!

И я с торжеством показываю свою ложку.

— А, чтоб тебя бог любил!

Это любимая мамина поговорка. Мама смеется и машет рукою: она привыкла к моим фантазиям.

Или вот. Учить наизусть латинские исключения. Это была интереснейшая игра.

Очень много слов на is
 Masculini generis:
 Panis, piscis, crinis, finis,
 Ignis, lapis, pulvis, cinis,
 Orbis, amnis и canalis,
 Sanguis, unguis, glis, annalis,
 Fascis, axis, funis, ensis,
 Fustis, vectis, vermis, mensis,
 Postis, follis, cucumis,
 Cassis, callis, collis,
 Sentis, caulis, pollis.

— Воины! За мной!

Страшная, неприступная крепость. Враги валят на нас со стен камни, льют кипяток, расплавленную смолу, мечут копья, осыпают стрелами. Мы, закрывшись щитами, ползем по обрывистым скалам, приставляем к отвесным стенам лестницы...

Panis, piscis, crinis, finis...

Молодцы! Уже взлезли на стену!

Ignis...

А дальше как? Дальше, дальше как?

..... cinis,
 canalis,
 annalis...

Валятся, валятся! Сколько перебито! И никто дальше не подходит на помощь. А тех, кто уж наверху, враги теснят, напирают на них, сбрасывают щитами в пропасть. Полный разгром! Жалкие остатки отрядов собираются ко мне...

— Вар, Вар! Отдай мне назад мои легионы!

Формирую новую армию, стараюсь ее вооружить покрепче: ignis, lapis—lapis—lapis, pulvis—pulvis, cinis!

— Воины! Вперед! Отомстим за наш позор!

Первые ряды дружно преодолевают все препятствия, вот они уже на зубцах стен. Бегут ряд за рядом...

Panis, piscis, crinis, finis,
 Ignis, lapis, pulvis, cinis,
 Orbis, amnis и canalis,
 Sanguis, unguis, glis, annalis...

Вдруг заколебались подходящие ряды. Сверху призывные крики:

— Скорее! На помощь!

Как? Как там?.. Fascis... Fascis... А дальше? А дальше как? Господи!

Поддержки нет. Бешено бьются на стене герои, окруженные полчищами врагов. Но иссякают силы. И вот мы видим: вниз головами воины летят в пропасть, катятся со стенами по острым выступам, разбитые доспехи покрыты кровью и пылью... О, позор, позор!

Я лихорадочно шагаю по большой аллее, готовлю легионы к новому приступу. Вот особенно эта когорта ненадежна: *Fascis, axis — axis — axis... Funis, ensis... Funis, ensis...*

И опять в бой. Правы оказались мои опасения. Не выдержала ненадежная когорта: на ней враги разрезали нашу армию пополам и отбросили от крепости.

И опять, и опять обучение войска. И наконец — торжество! Нигде не поколебались, ни одного шага никто не сделал назад. Ура! Ура! — несется по всему саду. Крепость взята.

— Ур-ра-а-а-а-а-а!!!

— Витя, что ты кричишь! Папа спит!

Потише:

— Ура-а-а-а!

Не надо терять времени. Побольше забрать крепостей, пока враги еще не пришли в себя. Подходим к следующей:

*Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis...*

Стройными рядами, блестя шлемами и щитами, устремляются на крепость мои грозные когорты. Нигде никакого замешательства. Крепость взята одним ударом! До вечернего чая мною завоевано десять крепостей — и выучен трудный, огромный урок, беспощадно заданный учителем латинского языка, грозным Осипом Антоновичем Петрученко.

Завтра утром иду в гимназию. Опять веду своих ветеранов на приступ вражеской крепости. И вдруг, — о, ужас! Опять подвела та же самая когорта! Опять осаждающую нашу армию разрезали пополам и отбросили! *Glis, annalis...* А дальше как? Пустое место!

Сажусь на уличную тумбу, снимаю ранец, вынимаю толстенького Кюнера: ах, да! *Fascis, axis, funis, ensis!*

— *Fascis, axis, funis, funis...*

Завоевывается еще десяток крепостей, и в гимназию прихожу триумфатором, предводителем закаленных в бою, непобедимых легионов.

Товарищи с унылым отвращением сидят над Кюнером и тупо твердят:

Panis, piscis, crinis, finis...

Входит Петрученко.

— Преферансов!

— Тимофеевский!

— Кепанов!

Двойки, единицы! так и сыпятся. Петрученко возмущенно крутит головой.

— Ну-ка... Смидович!

И мои испытанные когорты весело, легким шагом, без единой запинки устремляются в бой:

Очень много слов на is
 Masculini generis:
 Panis, piscis, crinis, finis,
 Ignis, lapis, pulvis, cinis,
 Orbis, amnis и canalis,
 Sanguis, unguis, glis, annalis,
 Fascis, axis, funis, ensis...

Петрученко с наслаждением слушает, как самые благозвучные пушкинские стихи, кивает в такт головою и крупно ставит в журнале против моей фамилии — 5.

А вот с арифметикой и вообще с математикой было очень скверно. Фантазии там приложить было не к чему, и ужасно было трудно разобратся в разных торговых операциях с пудами хлеба, фунтами селедок и золотниками соли, особенно, когда сюда еще подбавляли несколько килограммов мяса. Иногда сидел до поздней ночи, опять и опять приходил к папе с неправильными решениями и уходил от него, размазывая по щекам слезы и лиловые чернила.

ГЕРОЙ. — Это был настоящий, самый несомненный герой. Был на турецкой войне, брал Плевну. Он к нам поступил дворником. Григорий. Строгое, надменное лицо, презрительные глаза. Говорил с нами, мальцами, как-будто большую нам честь делал. Любимое его присловье было:

— Дам четыре раза по шее, — жизнью пожертвую!

Когда его спрашивали:

— Верно? —

он с шиком отвечал:

— Нет, не верно, а вероятно, справедливо, окончательно и даже натурально!

Я жадно расспрашивал его про войну. Как вы ходили в штыковые атаки? Скакал перед вами Скобелев на белом коне? У меня был листок с отпечатанным портретом Скобелева, и под ним длинные стихи, — начинались так:

Кто скачет, кто мчится на белом коне
 Навстречу свистящих гранат?
 Стоит невредимым кто в адском огне
 Без брони, без шлема, без лат?
 Кто в кителе белом, с крестом на груди,
 Мишенью врагам нашим служит?..

И еще я спрашивал: было у вас, что нашего солдата отрезали турки от своих, а он проложил себе назад дорогу прикладом сквозь три батальона турок? Сколько турок ты посадил на штык?

А Григорий, вместо этого, рассказывал такие вещи:

— Пришли мы в место одно, называется Казанлык. Там масло делают розовое, — до чего же духовитое! Цены ему нету. Сто рублей капля одна! Чтобы каплю одну такую добыть, нужно, может, целую десятину роз уничтожить. Вот пришел нам приказ уходить... Что с этим маслом делать? Брали помазком, да сапоги себе мазали.

Я ахнул.

— Сапоги?!

— Что ж с ним делать? Не им же оставлять!

— Отчего же не оставить? Ведь они невооруженные, наверно были.

— Нешто можно!

Я не мог понять, почему было нельзя. Настоящий герой, мне казалось, не стал бы этого делать.

Или еще:

— Девки турецкие и бабы ходят, закрывши лицо, — вроде как бы занавеска висит с головы, только глаза в щелку глядят, да нос оттопыривается. Ну, конечно, подойдешь, подынешь занавеску у ней, поглядишь. И, конечно, вообще...

— Что вообще?

— Вообще, значит... Ну, как сказать? Понятное дело. Как говорится, — натурально!

Мне было непонятно, но чуялась под этим какая-то большая гадость. И я задумывался иногда: да правда ли он герой?

Однако вскоре я убедился, — правда. Случился пожар на Верхне-Дворянской, наискосок от нас, в мелочной лавке Огорокова. Лавка стояла отдельным домиком. Когда я прибежал, она вся пылала. Толпился народ. Толстый лавочник кубарем вертелся вокруг пылающей лавки и только повторял рыдающим голосом, хватаясь за голову:

— Укладочку, укладочку мне вытащите, ах, ты, боже мой! В задней горнице стоит под кроватью!.. Господи, г-господи! Пустите же меня!..

Бабы выли и держали его за полы, чтоб он не бросился в огонь. Быстро вышел вперед наш Григорий. Глаза горели особенным каким-то лихим блеском.

— Где, говоришь, укладочка?

Через разметанный забор подошли к задней двери лавчонки, — она была заперта изнутри. В окно лавочник стал показывать и объяснять, где стоит укладка. Густой сизый дым в комнате окрашивался из горящей лавки дрожащими огненными отсветами.

Вдруг Григорий вышиб кулаком оконце, закрыл глаза ладонью и, головой вперед, бросился через окно в комнату. Все замерли. В дыму ничего не было видно, только шипело и трещало пламя. Из дыма вылетел наружу оранжевый сундучок, обитый жестью, а вслед за ним показалась задыхающаяся голова Григория с выпученными глазами; он высунулся из окна и кулем вывалился наружу. Сейчас же вскочил, отбежал, и жадно стал дышать чистым воздухом.

Я был в бешеном восхищении от его подвига. Дома, когда он воротился, все окружили его, любовно смотрели, восторгались. А он встряхивал волосами и хвастливо передавал подробности.

Лавочник дал ему десять рублей и вечером повел в трактир. А в десятом часу прибежала к нам наверх горничная Параша и испуганно сообщила, что Григорий пришел пьяный-распьяный, старик-кучер Тарасыч спрятался от него на сеновал, а он бьет кухарку Татьяну. Помню окровавленное, рыдающее лицо Татьяны, и свирепо выпученные глаза Григория, его страшные ругательства, двух городских, крутящих ему назад руки.

Григория рассчитали. Жизнь в настоящем виде прошла передо мною. И в первый раз мне пришла в голову мысль, которая потом часто передо мною вставала. „Герой“, храбрец... Такая ли уже это первосортная добродетель? И так ли уж она сама по себе возвышает человека?

Когда я был в приготовительном классе, я в первый раз прочел Майн-Рида: „Охотники за черепами“. И каждый день за обедом в течение одной или двух недель я подробно рассказывал папе содержание романа, — рассказывал с великим одушевлением. А папа слушал с таким же одушевлением, с интересом спрашивал, — мне казалось, что и для него ничего не могло быть интереснее многотрудной охоты моих героев за скальпами. И только теперь я понимаю, — конечно, папа хотел приучить меня рассказывать прочитанное.

В 1879 году в Сиднее, в Австралии, должна была открыться всемирная выставка. Однажды в субботу, за ужином, папа стал мечтать. Первого января тираж выигрышного займа. Если мы выиграем двести тысяч, то все поедем в Австралию на выставку. По железной дороге поехали бы в Одессу, там сели бы на пароход. Как бы он пошел? Через Константинопольский пролив... „Принеси-ка, Витя, географический атлас!“.

Мы обсели атлас, жадно следим, как пароход пойдет через Мраморное море, через Эгейское. Остановка в Смирне... „Где Смирна, ну-ка? Вот она... Через Суэцкий канал. Доехали до Австралии. Что нам там смотреть?“ Папа принес какие-то книги, читаем, как открыли Австралию, про климат, про фауну и флору... А что такое фауна? Папа, надев очки, читает про зверей Австралии. Вот потеха! Сумчатые животные. Оказывается, не только кенгуру, а самые разные животные в Австралии — всё двуутробки, с сумками на животах! И мыши, и куницы, и летучие мыши, и даже волки!.. Растения. Фикусы, — вот те самые, которые у нас возле окон, — оказывается, они из Австралии! Целые огромные рощи вот из таких фикусов! Мы будем в них гулять! В роще из фикусов!

Немного откинув назад голову, папа читает сквозь очки:

„Случающиеся по временам засухи составляют для колонистов, страдающих от них каждые 10—12 лет,

самое тяжкое бедствие: они губят и хлеб, и скот. Только Виктория и Южная Австралия не посещаются этими бичами“...

Горя глазами, я жадно расспрашиваю:

— „Бичами“?.. А в других местах колонистов бьют бичами? Кто их бьет?..

Поздно вечером мы расходимся спать, и долго еще говорим про Австралию, — благо, завтра воскресенье, можно спать, сколько угодно. Значит, скоро поедem... И ах! Только утром, проснувшись с протрезвившимися головами, мы соображаем, что для всего этого требуется еще один маленький пустячок: выиграть двести тысяч!..

Но географию Австралии мы за один вечер совершенно незаметно прошли так, как не прошли бы, заучивая уроки о ней, в течение недели.

Я взял из гимназической библиотеки роман Густава Эмара „Морской разбойник“. Кто-то из товарищей, — или еще кто-то, — взял у меня книгу почитать и не возвратил. А кто взял, я забыл. Всех опросил, — никто не брал. Как быть? Придется заплатить за книгу рубль-полтора. Это приводило меня в отчаяние: отдать придется все, что у меня есть, останешься без копейки. А деньги так иногда бывают нужны!

Выдачею книг заведывал наш учитель греческого языка, Оттон Августович Дрейер. Близорукий, рыжий, с красным лицом. Стоя перед шкафом, он записывал взятые учениками книги и вычеркивал возвращаемые, а ученики толпились вокруг шкафа, брали с полки книжки, просматривали, выбирали. Раз стою я так, читаю корешки книг на полках, и вдруг вижу: Ф. Купер. „Красный морской разбойник“. Я побледнел и задохнулся, сердце мое застучало в грудь короткими, грубыми толчками. Взял книгу с полки, долго ее перелистывал, украдкой поглядывал на товарищей, переходил с места на место. Потом подошел к Дрейеру.

— Вот, Оттон Августович, я книгу сдаю, — „Морской разбойник“.

Дрейер мельком взглянул на корешок возвращаемой книги, стал вычеркивать, на секунду поднял брови, — его как будто удивило, что в его записи фамилия автора другая, чем на книжке. Он спросил:

— „Морской разбойник“?

— Да.

— Густава Эмара?

Я с твердым удивлением ответил:

— Нет, Фснимора Купера.

— Угу!

Больше ничего не сказал и вычеркнул. Бледный, трудно переводя дыхание, я вышел в коридор.

Другой раз было со мною так. Мы рядами стояли в гимназической церкви у обедни. Мой сосед со смехом сунул мне в руку три копейки.

— Передай дальше!

— Кому? На что?

— Я почему знаю! На свечку, что ли!

Я передал дальше. Через пять минут монета опять пришла ко мне. Гимназисты от скуки забавлялись тем, что не давали этим трем копейкам достигнуть своего назначения. Я в это время собирал на что-то деньги и опускал их в копилку. Зажав монету в руке и стал ждать, скажет ли мой сосед: „что ж не передаешь дальше?“ Никто ничего не заметил. Я спустил деньги в карман, а дома бросил ее в копилку.

Двенадцать часов. Далеко, на оружейном заводе, протяжный могучий, на весь город гудок, сейчас же вслед за ним звонюк у нас по коридорам. Большая перемена. Несемся по узорным ступеням чугунных лестниц вниз, на просторный гимназический двор. Наскоро прожуете завтрак — и на шибиалку. Это — длинное, отесанное бревно, укрепленное горизонтально на двух столбах, на высоте с аршин над землей. Две партии. Передние в каждой партии стоят посреди бревна, раздвинув ноги, как можно шире. За их спиной густо теснятся один за другим остальные. Нужно сшибить противника с бревна; когда он слетит, стараешься продвинуться ногой вперед, сколько успеешь, — тот, кто стоял за слетевшим, тоже спешит захватить побольше места. Строго запрещается давать подножки и налету хвататься за противника, чтобы его стащить с собою. Побеждает та партия, которая до конца займет вражескую половину бревна.

В борьбе много самых разнообразных приемов, более слабый легко может сшибить более сильного. Можно даже сшибить самым легким прикосновением руки: сильно размахнешься правой рукой, — противник машинально подается телом навстречу удару, но удара ты не наносишь, а левой рукой с противоположной стороны чуть его толкнешь, — и он слетает.

Ужасно интересно. Вот против нас — силач Тимофеев, первый боец шибиалки. Молчаливый, с нависшим на глаза лбом и тупым лицом. Бараньими своими глазами он смотрит прямо вперед, и от каждого его удара на-отмашь слетает противник, и он продвигается все вперед. Я, волнуясь, жду своей очереди, — у меня есть против Тимофеева свой прием. Вот слетел стоявший передо мною, я спешу раскорячиться и занять побольше места. На меня надвигается Тимофеев, размахнулся железною своею ладонью, я моментально пригибаюсь к самому столбу, удар проносится по воздуху, Тимофеев теряет равновесие и слетает на землю, а я, под „ура“ товарищей, продвигаюсь вперед. Дальше идет мелкота, мы снова отвоевываем забранное Тимофеевым пространство. Вот опять надвинулась сзади очередь Тимофеева. Он не разнообразен на приемы. Прямо глядя тупыми своими глазами, он еще сильнее бьет меня на-отмашь. — я откидываюсь назад, и он опять слетает. Один я, ни разу не слетев, завоевываю всю

сшибалку до самого конца. Потом, дома, с упоением всем рассказываю про свою победу. И странно, и обидно,—никто хорошенько не чувствует, как это важно и великолепно. Ведь против меня сам Тимофеев был, и я его два раза сшиб!

Хорошая игра. И полезная. Бывали, конечно, несчастные случаи: мальчик падал на бревно спиной или низом живота, расшибался. Но это бывало от подножек или вообще от неправильной игры. За то игра эта вырабатывала большую устойчивость и крепость в ногах, умение удержаться на них в самых трудных положениях. Не раз впоследствии,—при гололедице или просто, когда оступишься,—удавалось не упасть при таких положениях, где иначе обязательно расшиб бы себе затылок или сломал ногу. И каждый раз добром помянешь сшибалку и скажешь: это только благодаря ей!

Мы очень ею увлекались. Занята сшибалка большими, нас не пускают,—сшибаемся просто на земле, воображая себе полосу бревна. Идем из гимназии по улице, увидим, лежит бревно,—сейчас же сшибаться, пока не сгонит дворник. Совсем, как теперь с футболом.

(Окончание следует).

Л. ЛАВРОВ

* * *

Спят глаза татарником,
Брови виснут тучами...
Хорошо кустарником
Никнуть к долу сучьями...

На людей похожие
Клены машут листьями...
Луный свет рогожами
Скоро стежки выстелит.

Кленов дружбу тесную
Я люблю кампанию,
Загрустивши песнею,
Завсегда им кланяюсь.

Только нынче с кленами
Тоже мне невесело...
Пряжу, ель веленую—
На закат повесила.

Белые ночи

ЕВГ. ПАНФИЛОВ

Скоро ночь, и светлая, как радость,
В парках, у Невы и у ворот.
В деловитых дебрях Ленинграда
По-простецки звонко запоет.

Станем мы наивней и моложе,
Словно нет падений и теней,
Взбесимся ватагой молодежи
Из училищ первых ступеней.

С пионерским галстуком на шее,
С блеском глаз и с легкостью в руке,
С каламбуром на болтливом языке;
Чорт возьми, как люди хорошеют
На теплеющем материке!

Не узнаешь ни себя, ни близких,
По ночам блуждая, как во сне:
Нынче все—любвные записки —
В нашей развеселой стороне.

1926 г.

Народ на войне

СОФЬЯ ФЕДОРЧЕНКО

Гражданская война

(Продолжение)¹⁾

Встал Медведь раненько,
вышел на дорогу,
воет:

сто я лет по путям не бродил,
сто я лет на село не ходил,
сто я лет здешню ягоду не брал,
сто я лет здешнего скота не драл!

Учужали псы, заахали-забрехали—
вставай, народ,
не тешь брюха,
наставь ухо,
быть худу
повсюду!..

Однако не поверил народ!
Посбирались волчьи сотни,
повыбрали сотни соцких,
на раз'яр—волчицу пустовалую,
на раскорм—сельчишко малое!
Опять псы брешут: — брех-брех,
— грех-грех!

А народ спит, как на смех!
Да и как то сталося,
что сельчишко живо осталось?
А такое сталося, что с одного конца
Медведь
по снеть,

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. третья с. г.

а с другого краю
волчьи стаи!

Середь села столкнулся,
друг о дружку споткнулся!
Так и на драку-то мужики сна не сломали,
еще и шкурки потом приспособали!
Миром вернее!

Деревня

Пока еще до легкости дотерпелся я, так по крестьянству своему всех до последнего ненавидел, и белых и красных.

Мужик у всякий враг. Пришел сукин сын, атаман в красных портках, забрал у меня телку, тут и стравил ее разбойничкам своим, псам голодным. Пришел сукин сын, драгунский полковник, что ли, до того в обтяжку, все у него грыжей повылазило, и сено и коней позабрал; приходили сукины дети—товарищи, эти так крышу соломенную и ту пораскрыли, и ни зерна не оставили. Одно, случаем, стуло барское оставили вроде свиного корытца, так когда немцы пришли, они в том корытце всей деревне задницы повыстиралаи.

Пришел к ночи, хата пустая, на печи офицер только что убитый, даже и сапоги на нем, и тепловатый как бы. Полегли, ночью слышим—стонет на печи. Нам молитвой не обороняться, подняли мы винтовочки, тах-тах, и стихло.

Стали в хатке, как бы дружеской даже, офицеров убитых видели. Ночью очнулся я, голова в кожух замотана, кричать нечем. Как вдруг пыр меня ножом между ребра, волокут вперед ногами, а потом куды-то шварк. Очнулся я, слышу—опять меня волокут, как бы уж вверх ногами, шкуру на мне ножом расшивают. Наши это меня из колодезя вывели.

Хозяинище такой старый, глаза злые. Где у вас вода?—спрашиваем. А у меня колодезь коза спортила, смердит колодезь, я его дранкой забил,—говорит. Обошлись мы с водою, спать легли. Тою лунною ночью вышел я, вижу—стоит хозяище над колодезем, голову в колодезь наклонил, и плюет туда, и плюет. Сказился старик, думаю,—подкрался, его за шею, что ты тут колдуешь, а? Тот было заклохтал, а потом, как бы с шуткой.—Это, кажет, я по воинам панихидку служу,—тут, кажет, у меня и белые и красные смердят, а никакой козы и не бывало.

Хоть ты с народом теперь, хоть ты супротив народа,—все равно деревни стережися. Деревня теперь убивать привыкла, почитай каждая воинская часть сколько-то убитых оставляет.—Кто этим для добычи, замест хозяйства разореного, занимается—кто за рядню плату платит, а кто и так, на войну наглядевшись, по человеческой крови скучает.

В деревеньке мужиков не было, кто помер, кто убит, кто в бандитах гуляет, только один страшный старик оказался, бородой—угодник божий, а по его счету на нем за этот год восемнадцать душ, и белых и красных, пришлось.—Я, кричит, один за всех плательщик.

До того паренек в походе растомился, заснул беспросыпно, так бабы его в печь сунули, хворостом обклали, подпалили, и заслонку умазали. Только ноги в сапогах и остались.

Прошу я работишки, да какая ж, говорят, теперь работа, все сами справляем, да и справлять нечего. Не пашем, не сеем, а ждем, что-то вырастет.

Мы по хатам вежливо пошли, — глаз у них словно топор над головою, хлеба нету. Пошукали—нашли малость. Полегли, ночью прокинулись,—стреляют, кричат, пожар полыхает. И хозяйева наши веселенькие действуют, своих гостей из лесу дождавшись.

Стережитесь мужика, говорит. Теперь мужик, говорит, с пеленок и до могилы в бандитах служит. Сморил меня сон, а прокинулся — в хлеву, связанный, и свинья меня гложет.

Беру я лошадь, а отец как бы перечит. Я ему толком, ни к чему дома лошадь, все равно хозяйствовать не дадут. Конь для войны нужен, а он перечит, спасибо мамане, приказала она отцу коня отдать. Сын-то, говорит, с винтовочкой, он теперь и добытчик. А мы старые дожидаться станем, как он для нас добудет, и чего.

Пришли туда к ночи; у нас, говорят, сговор такой, по одному в хату пускать. Что ты сделаешь? А пятеро нас только. Согласиться—поодиночке, как баранов, перережут; не согласиться—а может они все в бандитах служат. Так и ушли мы без ночлега в лес.

Деревня суровая такая, разореная. Прежде сады водили, теперь пни торчат. Хозяйева насупленные. И у нас к им веры нет, еженощно к ихним печкам товарищи мертвые прилипали.

Очухался связанный, стоит над ним старушонка, сторожит. Пусти, просит, матушка, я такой же крестьянин, как и ты, за что ж ты меня убить дашь. А за то и про то, отвечает, чтоб для войны меньше людей осталось.

Встал он случайно у хорошей, ласковой старушки. Ночью его старушка тихонько в бок торкнула,—сыннок, кажет, а, сыннок, выдь ты до утра из хаты моей в клуню. Признаюсь я, придут сейчас из лесов до меня двое сынов моих, бандиты. Перебуди же ты в клуне до утра.

Слышат ночью как бы конский топ, они глядеть, отворяет хозяйин, стережася, ворота, в ворота трое конных. Наши стрелять, те сгнули. А кабы сыто спалось, на том бы свете прокинулось.

Я, признается, и красных и белых бью, я, признается, тех перевою, кто на этой войне кровь льет, и в моей хате на печи от этого занятия отдыха ищет. Бандитов же истребляю за беспорядки.

Если не признаетесь, грозится, все ваше гнездо выжжем. А если признаемся, отвечают, так все равно выжжешь, потому что товарищи ваши от наших рук неблагополучной смертью убиты.

Что тебе белые сделали? Мы, говорит, после красных в твою хату разореную на готовое пришли, сами ж вреда не чинили. А с того зло, отвечает, в красных, может, мой родной сын зверствует, а у белых, что ни зверь, то чужой человек.

Богатый мужик, дом двухэтажный. Трех коров взяли, мелкого скота, а хлеба не найдено. Тут до уха драный мужичонок,—пошуйте в хлеву под навозом. В хлеву навоз до неба, под ним и мука, и крупа, и одежда под паром ждали.

Шуйте, кричит, коль найдете, дерите с меня шкуру, жизни я не радый. И стали искать, по бревнушку хату разнесли,—мы, говорят, мужичью нищету знаем, меж бревна золото растит. Найти не нашли, а хаты немає.

Из укладки ейной вынул тканье и саван,—саван, кричит, на портянки, а тканье на портки. А старуха хлипает, ажно жаль.

Мужик всю землю истыкает, а и сам не помнит, что и где. Интеллигент, тот земле не верит, тот все при себе тайнички носит, у него тайничек легкий.

В незнакомой хате ночка — сказочка разбойная. Ночью входит старушонка черная, закуганая, до какого ни то подошла, ему в доса сыпанула, он чих-чих, и помер.

За что вы, звери, ребят наших в колодезя покидали? А за то, отвечают, терпения не стало, на будущее время глазу у нас нету. Жизни же жалеть не за что.

Зуб очень уж рвет, болит. Стонет он, а с печки старушонка,—иди, кажет, до меня, сынок, может пособлю. Он к ней, рота галченком раззявил, а она ему в глотку спицу железную и всади. По ошибке, об'ясняла.

Вы, советует, лучше в соседнюю хату ступайте, там две нестрогие женщины живут, а у нас скушно. Пошли туды, веселые бабы приютили, то, да се, полегли спать. Ночью будто толкнуло, проснулся,—нет ни баб, ни товарища. К двери, заперта. К окну—припертое. Высадил дверь, во дворе тишина, лунно так,—и пал глаз на колодезь. В нем и нашел товарища, бабы скрылися.

Вот, не так тут вдолге, шел я. Кусты при дороге, тихие такие кустики, сомнительные как бы. Итти надобно, а неловко мне итти мимо

тех кустиков, боюсь, что ли. А смеркалося, не ярко видать. Пошел я легче мыши, да торопко. Минул кусты добром, как сиганула оттуда собака тению. Эге,—думаю. За кустики, а там двое товарищи, забитые. А кем исделано—про то тихие кустики знают.

Двор крытый, те но, и чистый навоз, ничего не найти. В углу лежит кабанчик порядочный, и лежит тихо. Мимо бы прошли, да пхнул его товариш ногою, он и перекинйся, как неживой. А в нем, замест потрохов, карбованые деньги.

Зима, холод. Снял с бабы проходящей шугаюшку ватную, на бабе свое сало теплит, а я топчий. Вдел шугаюшку на тело, и прел на мне шугаюшек до тления, до износу, аж труха с него бумажкой сыщлет. Доглядел,—перепрели на мне карбованцы бабие.

Коль мужик—у него тайничек повезде—повсюду. Коли баба, далеко не лазь, у ней все дела не дальше подола.

Колыска скрипучая, в ней как бы младенец. Искали-искали, к люльке. Матка кинулась, выймает заматаное дитя. В люльке ничего, к дите. Как заголосит бабенка,—стали дитя разматывать. А то не дитя, а чурка, а в свивальнике карбованцы:

Тому месяц я тут красным был. Так каждый, бывало, стог капканет. Просто ни шага в сторону, ва нуждой, так и то хоть вводами ходи. Вот, думалось, сволочь белая. А теперь вот я в белых тут, так не то, что не лучше, а еще и срамят. Нашей деревни никакая краска не берет.

П л е н н ы е

Ткнешь его ногою тихонько, он те в землю, словно неустойчивый какой. Не под ручки же его вести. Так всю дорогу и кунял носом в грунт, просто без лица доставили, до того рожа о камни вытерлась.

Меня как взяли, не чуял жив быть. Но неудачно меня расстреляли, легкое продырявили. И все как раз в самую пору, и силы осталось из ровчика ночью вышолзти.

Эка, ты бы не так, —а в штаб семь верст, глина выше головы. А тут они нежные, плюнуть гыдко, плетью плетутся. Ну, сперва-то гонишь его чем попало, терпишь. А вспомнишь, кого семь-то верст пасти, так до того скушно станет, и убьешь.

Мы так никого не доводили. Время горячее, враги кругом, торопко живешь, прикончишь его на пути, для времени сбережения.

Куда уж ему бежать, берешь битого, стреляного, почитай, и добивать в нем нечего.

Да, у нас лихие ребята, спят в полглава, отбилися, еще ихних перехватили, друг со дружкой скрутили, в часть. Ну, тут Онисим кажет—

а ну те, братики, спытаемся у врагов, может они в часть-то не хотят? Те как бы не отвечают—молчат. Онисим и кажет—значит не хотят, пустить же их на волю пташечками.

Может и сберегли бы каких нужных в обмен, да этот, как за околицу, так сейчас бежить, кажет, ягнятки, мы вам не пастухи. Поробеют маленько и бежать,—а их, словно зайчиков.

Засылают, пустить чтобы им полковника, они за него троих наших обещаются. А то вымучить товарищей грозятся. Мы за полковничком в погреб, ан перемерли все до единого. Дыху что ли не хватило, а голоду ихнего только неделя пошла.

Ты, говорит, не трудися за сапожки заряда гнать, и так сыму. Ну, прямо мне в душу глянул, до того мне сапожки полюбились.

Сколько заложников перевели из-за шитья разного. Вздумали их для верности нагими гонять, так кабы не зима.

Я боюся, а тот как бы смеется—что ты, шуткует, раненько так себе смерти ждешь,—ступай поперед. Иду, а он нарочно за спиной оружием пощелкивает. И повисли на мне ноги мои пудами.

Стали мы плен наш глядеть—кто к чему. И выходит, трое наших же красноармейцев, а двое как бы юнкера, однако не признаются. Своих в команду, юнкеров гнать стали. А они голые, не по погоде. Не идут, что ты делать станешь.

Генерал-стервятник достался. Провели его с версточку, пытаемся—може вашего превосходительства стомились ножки? Скидывайте сапожки, а чтобы пешему не унизиться, нате коника. И всадили ему в сладкое место тростину, чистое мясо.

Бой не в счет;—только на теле вражие руки кандалами горят, до того в плену замнут—захватают. А тут, одежду сдерут, а тут ногою в зад, а тут велят тебе, после эдакой смертной устали,—с коньми вровень перебежку до места делать. А коли плен не из важных—живого не доведут.

И нисколько я вас не боюся, за каждым моим волосом товарищ. А нам что, не народ делать—мы и отпустим его.

У него при дороге кума в окошке светится, а ему верст сколько-то волков пасти велят. Тут, как за околицу—так и к дияволу в штаб, да до кумы, тепла набираться.

Опять-таки и беречь некогда было. Я было одного припокровил, ан в ту же ночь ихние надошли, все равно пристрелить пришлось.

И вины нет—братва голая, перемороженная, а тут топчись по снегам, для вражьего сбережения.

Иностранцы и офицеры

Блеску, треску, разговоров, музыки. Иностранцы просто в окладах горят, все как бы Христы-спасители. Наши перед ними лбами полвыколачивают.

Снялися мы на рассвете, поперед нас иностранцы с начальством на машинах. Прибыли мы к полудню, и дали нам негеройское дело,—за бариново добро мужичью задницу рисовать, иностранные глаза веселить.

Один раз был я, братцы, и бит и порот за комуна. Иностранцы эти тогда с доктором мой зад глядели, очень интересно. Головами хитали, бормотали как бы угу-угу. В другой разок стояли мы все на площади парадом, а на столбиках комиссаров развешивали. Опять же таки эти самые головами хитали, и все угу-угу. Третье же дело такое было: взяли мы город, молебны отслужили, и пошли крестным ходом могилы в чеке глядеть. И опять эти самые головами хитали, и все угу, да угу.

Теперь как бы эти чего здесь дожидаются. Всего навезли, с генералами на машинах раскатывают. Куды они повернут, туды и подадимся, а не по вольному выбору.

Высокий, ладный такой иностранец, лицо здоровое. Набрал голодных ребятишек, всячиной оделил, плачет над ними, как баба. Эх ты, думаю, свет ты белый,—один на нас пушки возит, другой над нами слезы льет.

Хорошие веселые ребята, и все, вроде как большевики, только посердечнее будут. Вы чего ж, спрашиваем, против большевиков к нам приехали, коли вам большевики любы? А у нас, отвечают, дисциплина, вы же по доброй воле пошли, дурни.

Иностранные солдаты все как есть коммунисты. А к добровольцам потому поехали, что иначе-то им сюда и дороги бы не показали.

Выспрашивает, выспрашивает,—понял я,—взяли меня пленного, говорю, и никакой я доброволец, и все мы здесь такие, кроме офицеров. Он как ахнет, удивился, как бы.

Перестал я, братцы, иностранцев, кроме как по языку, отличать. Во всех же делах они, как мы, у них тоже господа и простой народ.

В баню иностранцы с нами не ходили. Только румыны. Они у себя на дому хорошо травленные, вроде нашего. Не брезгают нашего пару.

Татары нас любить не могут, им добровольцы подходящее будут. Те с мечетей не гонют, а татары голые молиться любят, богатые ж—и так с нами не пойдут.

Кто, спрашивает, согласен героем со мною? и нашелся парнишка. Одяглися офицерами, на конь, и айда по дороге. Только вдруг из ку-

стов тах-тах. Герои о вемь мертвяками, мы к ним, что, мол, такое? А это наши неупрежденные офицерской аммуниции не вынесли.

Портретики. Все в нарядах, у женщин груди голые, у всех ордена, да ленты, даже у баб ихних. А дети ангелами нарисованы, телесные такие, кормные. А ты вскочишь, словно пожар. Глянешь на портретики, чуть не рвет тебя с желчи. Вот и рушишь.

В первой комнате картинка,—помещичий дед, что ли, славный генералище, стоит во всех регалиях и в белых портках обтянутых. Из-под ваду евойного воинств православное ровными рядами выступает. Мы тому генералу геройскому и вырезали ... из обтяжки.

Ежевечерно мы в том доме по картинкам меткой стрельбе учились. Комнатища, словно церковь, высока и широка, по стенам картинки полны братии офицерской. Вот мы и пристреливались.

Они нас и застукать на диванчиках. Связали—допрос. Особенно на что картины да аранжерейку выломали. А что ты скажешь, коль в тебе одна желчь и ответчица.

Главное—громом грянуть, раздуматься не дать. Раз было, все местечко до краев врагами налилося, офицеры у попа праздновали—обедали. А мы на конь, через все место скоком, к поповскому окошку, бомбы им на десерт вкатили, и вернулись невредимы.

Француз-большевик повадился в часть. Толкуем ему, тебе, мусью, хорошо, мы доводить на тебя не будем, а наши как прослышат, нас в чистую расстреляют. Не идет, смеется, привыкли мы к нему.

На столе такое, и во сне не увидишь, белый хлеб, и масло даже, и цветы. Я вежливо говорю, помираем, говорю, и больше терпеть нечем. Ничего, говорит, поделат не могу. И глядит на меня иностранец невидящим как бы глазом.

По своим скорбям мы к ним не обращались. Без языка мы, первое дело, второе же дело,—иностранцу на нашей гуще гадать пришлось, а что ему выходит—еще не видать нам.

Заблестели наши офицерики, об иностранцев потершись. Залоснились даже. И нам чудиться стало, будто от дерьма, да дождемся добра.

Сразу бочечка невеликая, ну однако полна золотых денег. Да еще бочечка—вещи дорогие, жертвованные на них. Ковры наилучшие слойкой, и на стенах и под ногою. Не доторкнешь, что земля. Вина шампанские, хоть купайся. Оружие, машины—немцам впору. Провизию татары стадами гнали. А мимо все ездют, все ездют, с горы-то видишь, а сами-то мы ровно во сне, не всамделе живем.

Как же это так, учились, учились, и понятия не нашли, как за ними люди живут? Нет, я ученых бы этих о земь,—за что воюешь! А потом и людям легче станет.

И вот вступили мы в его родной город, и к нему на квартиру. Там мама его, важная дама, сейчас меня на кухню выслала, и как бы в деньчики. Он-то выговаривал ей,—не то, мол, маманя, времячко. А что люди не те, так не сказывал.

Подобрали сестрицу одну геройскую, молодая, а замордована до того, даже паралич у ней. Сейчас ей ордена там, слова всякие под стаканчик. А она настрадавшая, ни рукой, ни ногой, сидит молчки, как воробышек примерзлый. Они то, они се, пьют и пьют,—и до того допились, выскочил генерал, кричит,—хочу в честь геройской сестры джигитовку сделать. Да на конь, да через стол сигать. Как брызнут из-за стола, только параличная сестрица сидит, белая вся. И почал генерал через тую геройскую сестру на коне скакать,—раз туда, раз назад,—раз туда, раз назад.

Ихняя порода роздыха не имела, комиссар кругом. Разомнет офицерик ноги, ан и без головы.

На море от тесноты темно. Посадились они кое-как. А сигналу в море итти нету и нету. Как выскочат к морю красные, как почнут красные стрелять по пароходам. Как почнут чертями по бережку носиться, как завоют на пароходах люди, как загорится на пароходах. А углю им кофегарики не насыпали, а воды им не дадено, теснота, скарб, ребятишки. Иностранцы сигнала не подают, а с берега стрельба, и на берег выпуску не будет.

Суд

Сидят сколько-то суровых офицеров, и сидят вовсе молчки. Введут какого ни то, один спрашивает недолго, потом на других глянет,—те же молчки, головою так, и уведут арестованного казнить. И так молчки человек пятнадцать порешили. А я, на часах стоячи, думал,—так и должно быть на войне, чтобы в суде молчать.

Читают ему, а он кажет—неправда. А подпис? А подпис, отвечает, не я, а спина моя полосованая ставила. Ну, что ж, мы не гордые, мы и спине верим.

Все кое-как, а один до того смят и сломан, кулем валится. Его и под руки, и свади коленом для бодрости, чтобы суд уважал,—а в нем все скрепы подрубленные.

И рассудил по особой правде, как бы не было войны, и все равные. Хорошо. Теперь пустить его? Шкоды нашкодит людям. И пришлось, ради людей, не по правде расстрелять. Теперь судить не к чему.

Я, говорит, свое, наработаное, защищаю; я, говорит, матки в обиду не дам, и не ваше, говорит, это крестьянское дело, меня за это судить и наказывать.

Ну, просто близнец он тебе, а ты суди. Легкое дело, последний остаток с трудового дома тянут, всю семью распугали. Иди, говорю,

добровольно в красную армию, таково решение суда. В красной армии домом болеть некогда, ты со всеми и притерпишься.

Красивый такой, бравый молодец. Суд его просит не задаваться и покориться. А он говорит,—я, говорит, покорился,—это моя выправка вид дает, а то, я как и все, покорный.

Спрашивает судья,—почему телка не дала. Потому, говорит, телка не отдала, что люблю я этого телка выше всякой меры. Сына, говорит, у меня убито, и дочку, говорит, у меня убито,—и один коло меня живой этот самый телок жил.

Середь всех арестованных она цветом цвела, хоть бледна и измыкана. Всех приказал, ее пустить велел. Какой вред от такой маргариточки?

Нашли, говорим, у вас золото и деньги. Так что ж что нашли, отвечает, и вы бы свое прятали. Тут мы и засудили его, не та у нас думка, на нас не равняйся, не вашенские.

Ну что тут сделаешь. Понятия не дано никакого, закону нет еще. Собрались мы трое поумнее — судить. Привели. Кажет старая,—вправду скрывала, потому что сын. Да ведь офицер? А она на то заладила—сын, сын,—вот тут и об'ясняй ей, коли времени хватит.

Ходили мы через всю землю, законы ставили, кругом же враги. Давайте, братцы, сделаем суд для правды. Выбирать стали. Петро главным. Был писарем, хорошо грамотный и даже во всем не глупый. И еще один парень, тяжелой жизни человек, намученный, на чужих лютый. А третий, отчаянный, дошлый, просто из камня правду выточит, коли возьмется.

Теперь таких троек нету. А в прошлом годе, просто думать, что потерялись. И шлют, и шлют, одна другую казнят. Думаешь, вот хорошая, ан глядь, и эту через время утюкали.

Вся как умерла, до чего синя,—вижу устрашена, хочу полегче спрашивать, а сам голосом нечаянно играю, и даже будто тешусь. Я громче—она белеть, я тише, она живится; я опять громче—она белеть. И ни к чему, и не хорошо, и некогда,—а ну нельзя себя удержать.

Младшего на разведку послали. А он и не вернулся. Выпросился старший на розыски, ушел,—сутки нет, двое нет, как на третью ночь ведет к нам старший брат младшего связанным. Вот вам, товарищи, изменник, за говядину нас продал, судите ж его, и порешите на смерть.

Гляжу, а это он самый расселся, револьвера под руку положил и судит. Пропал я, пропал, думаю. А тот, кого ни судит, глаз на того не подымает, только для ужасу при последнем своем решении в глаза зыркнет. Пронеси, молюся, меня тяжкая и нетяжкая. Подхожу в очередь. Спрашивает про имя, выдумал какое-то. Ступай, приказывает, свободен. И тут вскинул на меня глазом, а я сиганул в дверь и драть, и драть.

Я в судьях недолго был, до одного позорного случая. Пересышали мы сквозь пальчики и живых и мертвых. Судил я по новым законам хорошо. Как вдруг, ведут мне неважного пожилого человечка. Обвиняют его соседи, что он сына у себя скрыл. Был обыск и сына в тифу нашли. Помер тот сын под арестом. Самого тоже забрали. Тут я его и сужу. А я-то, его немногие слова слышавши, прикинул все на себя, да на батька своего, да и отпустил. Конечно, после того в судьях меня нельзя было оставлять.

Вырывается один бойкий,—я, говорит, защищать буду. Суд ему честью говорит,—брось, пока ты не подозрительный. Так нет, уперся. Конечно, тому расстрел, да и этот до того до самого дозацищался.

Море же голубое и синее, горы же хорошие тоже. Сидим мы за столиком на молу, судим. И перед нами рядком все этих красивых мест владетели. Измызганные, измятые, уstraшенные, можно сказать, на этом еще свете страшный суд видят.

И арестованным маёта, и суду морока. Не следовал ов прошлом годе судить, не приходилось. Все ясно, и прежде правды казнить было надобно.

Сам я и волк и заяка и собственные мозоли грыз, и горло человечие. А испугу ни на маленькую минутку, потому что знаю,—людям лучше будет.

Самосуд

Тут какие хочешь счеты своди. Один жену оплачивает, другой кого убитого, а и такие есть, что чисто тебе за матрац пружинный на смерть отдают.

Приглянулася ему коммунисточка, а тут белые надошли, она утечь не успела, а тут самосудит народ по улицам. Приходит он до нее, забилася она в уголок, дрожит. Он ей и говорит—живите, говорит, со мной—будете жить; не будете со мной жить,—жить не будете; в окно кликну. Настойчивый кавалер.

Собрала она улицу, вломила. Он-то ушел с большевиками, а разлучница ейная с детками осталася. Напустила баба народ, как тараканов, всю семью подавили.

Пришел до него, отдай, кажет, мыло. Нету у меня, отвечает, я мыло в соэвос отдал давно. Ладно, говорит,—свистнул в окно свору, всегда готовую.

Стал он его на улице дожидать, улица такая людная. Только тот на улицу три дня просто носу не казал, опасался, что ли. Выйдешь, думает, забудешь беречься. Как вдруг и выпел. Сейчас этот как крикнет, держи чекиста,—и сразу все счеты чужими руками сосчитал, а был тот не чекист, а циркульник.

Богу молилась, чтоб злодей утечь из города не успел. И вышло, сказывают ей соседки,—не успел уехать, только не показывает носу никуда. Из-под земли, кричит, своими руками вырою, а каждую сыновью кровинку заплачу. Собрала соседей, двери высадили, и мокрого места не оставили.

Та ей дулю, эта той обратно, та ей дулю, эта той обратно,—как вдруг домыслила одна,—ты, кричит, с чекистом спала, и ему на народ доводила. Затих народ кошкою, да как кинется. Вот тебе и дуля.

Он-то успел. а жена с мальчиком осталася, и затихла. Только на другой день вспомнила барыня все свои обиды, и что в зале живут. К ей, вон из дому. Та молит, куда ж я с ребенком днем пойду. А барыня в окно скривчалась, и убил народ.

Им бежать, а жене родить доспело. Ночью белый обыск, к ней хозяйка навела,—вот, кричит, главного комиссара жена. Ее волочить, а она и роди под сапогами.

Высадили дверь, ан в углу стоит еврей весь белый, волос на нем дыбом, и револьвер в руке. Братцы, кричу, киньте сперва в него чем ни то, а то он теперь как бы дикий человек сделался, и руками его не брать.

Выходит он, на руках младенчика держит. Ах ты, что ты думаешь, мы тебя ради семени твоего сохраним,—да обоих и под каблук, аж мокро. А младенец-то соседкин оказался. Дура ему на охрану дала,—так ей и надобно.

Ну, просто сказать, была она такая хорошенькая барышня, с комиссарами на машинке пишущей хвостом вертела. Сама ж она, как есть девица, даже и в церковь хаживала. А он жил на комиссаров в обиде за нее, ревновал. Тут белые, он до нее, предложение делает. Она позамялась, может, крутила по-барышнинному,—а он сгоряча как крикнет в окно,—чекистка, и ничего ему от нее не осталось.

Как что, самосудом грозят. У меня самовар отняли, скажем, грозятся, чьи ты вещицы сберег.

Собрались они пятеро и пошли по улицам самосудом баловаться. Как кто покажется, что еврей, или русский, на комиссара похожий, даже и женщина, которая не нравится,—сейчас крикнут народу таким залихватным криком—бей, и бьет народ.

Натерпелся сколько, от красных скрываясь, одичал в кутке, волосьями оброс, на голове копна. Тут белые в город, выполз он на свой праздничек светлый. Как кто-то его за волосяную копну о землю,—жид, кричат, и убили.

Старушка такая по улицам ходить принялась, как бы не в себе, суматошная. Сыновей у нее расстреляли, все вещи позабрали, она и смутилась. Как чернявый человек,—он, кричит, моих детей убил. А народ

теперь только того и ждет. Сколько из-за старушки той народу перепортили.

До того кудлатый, аж шапка не лезет, ну морда на нем, ну галифе, чисто комиссар. Тут скочил до него какой-то, да за кудлы. Как взвизгнет, как кинется до него народ, как почнет того кудлатого в куски рвать, как станут женщины каблучками ему глаза топтать.

По улицам народ толоки толоч, с радостью всячиной торговали. Пошла ейная дочка яичек докупить, вдруг как крикнет кто-то, — держи, братцы, чекистку, да до ней. Побросал народ яички и маслица, девицу ешибли, до того истерзали, — мать-то только по лоскутьям и узнала. А она простая, тихая девочка была, по ошибке истерзали.

Двое мальчинок с винтовками, меж них еврей молодой, кругом народ бежит, грозится. Еврей лопочет, не слышать, руками машет, а народ рвется до него, да настоящей минутки как бы на то не выходит, не бьет. Как вдруг мимо на дрожках офицерик казацкий, молоденький, завидел еврея, с дрожек соскочил, еврея поперек лица нагайкой раз и два полоснул, на дрожки, и дальше. И словно он народ с цепи спустил, смяли и растоптали еврея в минуту.

Кого хочешь теперь убить можно, да еще и не своей как бы рукою. Выдь на панель, крикни — чекист, и сделано. Костей не соберешь. У кого враги в соседях, хоть из-за помойной ямы, так те на улицу теперь не выходят, отсиживаются.

Идешь голубем, даже и думки никакой. Как вдруг гвалт, как вдруг тревога такая, как вдруг кинется народ, как вдруг и тебя словно кто швырнет на чужого человека, ничем тебе не виноватого.

К красным

У тех головы не с нашею начинкой, для себя стараются. А я так и жизни за чужой судьбой не чаю, только бы людям легче.

С одним поход делали, другого прислали. Разумный, что вечер нас собирает, как и что раз'ясняет. И к чему все идет. А по-моему, тот бы и раз'яснял, кто поход с нами делал, такому веры больше.

Постой, говорим, с. с., станем к твоему гнезду ближе, посмотрим, какой у тебя на дому флажок висит. Как к его округе подошли, не стал он геройские слова говорить, насчет отца-матери поругания, — ан и вышло, кулачили его родственнички. Сняли мы у них сливочки, и юшки не оставили.

Тоже коммунист. Стали его на носилки класть, висят его кишки из брюха. Так он, замест чтобы кишки свои подобрать, крест на груди рукой греет.

Какой ты, кричит, коммунист, коли ты снам веришь. И не смеи ты, кричит, сны рассказывать. А я ему на это, — ты, товарищ, не очень

командуй, и не кричи. Мы все, как бы равные теперь, в том только, говорю, неравные, что ты обучен, как и что, а я, может, еще из бандитов недавно. А снам я не верю, не баба; а что сны товарищам рассказываю, так так и буду, не хуже я людей. Я коммунист какой, только что за общее дело кровь лью; вот кончим войну, обучишь меня всему,—тогда и требуй.

Первого спрашивает—коммунист? Так, говорит. Второго спрашивает об том же, и тот согласен, и третий такой же. Тут моя очередь, а я никакой коммунист, да чего-то, на тех поглядев, и я коммунистом себя сказал. И всё, как все, перенес.

Подошли к воротам, чисто тебе Брест-Литовский, аж смешно. Да как польют нас пулеметами, просто сердце во мне заиграло, ай да пролетарии. Накрылся я темнотою ночью, да и к ним. Так вот и до конца буду.

Изобидели нас коммунисты дочиста, зернышка не оставили. Все труды, как корова языком. Только поставили меня в часть с офицерами, и что ночь, одну я у них молитву слышал,—на народ кнута до покорения. Сбег я из добровольцев, поступил в бандиты. Да больно воля надоела.

Стоим мы двое на часах, охраняем. Только и солнышко еще на восходе, шасть господин полковник, и с ним еще каких-то два. И прямо к кассе. Никак, говорим, нельзя, и винтовочки навели. А они—ма-алчать, в порядке эвакуации. А мы бровей друг-другу,—эге, мол, коли, мол, эвакуация, так нашим тоже казна пригодится, а коли нет—так за грабеж. И обоих пристрелили. И вправду была эвакуация.

А тут иностранцы всех сортов оружия со всей Европы. Смешались языки—к офицерам приехали, а к нам ходят. Тут эвакуация, тут нам местечка не достало, на берегу остались мы, и стали каждый себя про-являть по своему. Все видать стало. Иван себе с барынь до дюжины колечек дорогих насбирал—за необиду, за вещи ихние, что пропускал, а то и сдерет кольцо-то. А другой наш, так из гостиницы генеральшу к мужу на пароход не пустил. Так и осталась она на берегу с нами. А я не пользовался, рот на интересное разявил.

Снес я его чемодан, оп приказывает,—сядь на чемодан, жди, никому места не уступай. Только он от меня, как генералище ко мне, и—вон, кричит. Я ему доложил, чемодан, мол, полковника. А он—вон, да и все. Выдрал у меня чемодан, и свою генеральшу на него посадил. Ну, думаю, тут дожидаться не приходится. Пусть сами разберутся. Да и утек на берег. Не привелось по Европам прокататься.

Раскрыл рубаху, кажет грудь,—привел, кричит, вас я на худое дело, на плохое место, какие мы добровольцы, не могу я теперь живым жить, пробью, кричит, грудь свою. И застрелился. А застрелился и нас освободил, ушли мы.

У меня и враги-то не мои, мирские. Что мне в его пакости, кабы людям света не застил. Изведем, думается, людям легче.

Да, тяжела штука, а не жаль, пусть наша судьбинушка на ихний же счет идет, а людям легче станет.

Спроси ты меня, чего хочу, для чего мукой мучуся,—а ни шиша мне не надобно, пусть только людям лучше жить станет.

Послали меня в деревушку за маслом. Татарин мне,—скажи, говорит, благородиям, в городе ихние, чтобы спускались в город. Нету красных. Вернулся я, доложил, слетали они, а потом золотце забрали—за остатним, говорят, после пришлем, сторожите. Мы, нижние чины, и остались. Попиваем, товарищей поджидаем. И точно, к ночи прибыли товарищи. Эти ховяева не роскошные, ничего с собою не принесли. И татарых их не прикармливали. Однако жили мы как братья, и так по сие время.

Неохотно шли, настрадано и навоевано ото всех, из рук в руки шваркано. Сбег я перед боем к парням заводским. Эти, думаю, гнездом летают.

Связала нас судьба веревочкой. Детьми в козны играли, в одном кону баловались. Никогда один против другого. А тут встретил я дружка у белых, ефрейтором. Глянули друг на дружку, и пошли по одной пути.

Девятеро взято, один Константин. Не смотрим один на другого. И обидно мне, и жаль-то, и так бы и убил. Эх ты, дружок, думаю, на котором деле попался. Дошел я ночью до ихней сараюшки,—Константин, шепчу, не жить тебе завтра дня, чего приказываешь. Мне, говорит, приказывать нечего, а только горько мне, хуже смерти, при таких делах дружка встретить.

Мы-то сховали его, да было бы за что страх терпеть. Найдут—пропали с потрохами,. Вот мы и спрашиваем, за что такое мы тебя беречь должны? Он раз'яснил. Точно, такого беречь стоило, не всякий.

Зеленые

Пой, товарищ дезертир, соловьем. Дерьма зеленым не подкрасишь, воняет. Мы за весь народ воюем да зверствуем, а ты за мягкую постелю обиделся.

В самой глуши курень под землю, да не хуже медведя, хворостом закидан. Ни духа, ни солнышка, болото разведем, и спим в нем чередами и сторожко.

Направо ли, налево ли, прямо ли,—ни людины. Иду дурницею, думаю,—обманули, и будут братья мне звери-волки. Как над шапкою,—тах-тах. И опять не видно и не чутко. Скоренько я белою тряпицею машу, и тут с под земли просто будто, вышел очень приятный человек, и меня в зеленые принял.

Не мог я русской крови видеть, не принимал, что ли? И все мне раз'ясняли,—голова-то знает, а сердце неймет. Вот я и ушел в лес. А там и того хуже. Скажу—тати просто, для ради себя, и шкурки берегут.

Как жили-то,—крови не лили, голодом томилися, из лесу ни ногой, комарня, мошкарня, совий гук, да волчий вой.

Зеленое—мирный цвет, без кровинки. А тут и красных и белых, кажного на зелень потянуло. Мобилизация—почем зря. А зеленые до того войны боялись, бесперечь им воевать пришлось. И грабить молодцы стали.

Дезертир, говорим. Ан, нет, отвечает,—дезертир сбег—бабу на печи кутает; а мы не то, что бабы, а и печи, почитай, год, не видали. От крови далеко, живем во зеленых лесах, и есть мы зеленые.

Святые угодники и те для людей терпели. Вот и мы так. Кто битвой, кто молитвой,—абы людям легче стало.

Сразу с факелами высыпало полк-полчище. Чистые богатыри, до того при факелах высоко они темнятся. Один спрашивает, что ты за человек, и зачем до нас в леса пришел? Коли ищешь ты сна и покою—из лесу ступай; коли счеты нашими руками сводить собираешься—ступай от нас, коли ж ты, говорит, войну ненавидишь, и через всякое злое житьё от войны уйти готов,—полезай, братишка, в наш курень зеленым.

Захватили они нас, не для истребления, а чтобы ихних зеленей не выдали. А нам лесные жители и люди не в пример добровольцам. Остались мы охотно. Кто из нас покаленее—красных дожидался, а кто позеленей—и по сие время в бору дремлет.

Припал я к сену, сапогов не сымая, на лету. Как торкнулся, подо мною в сене человек. Я и гукнуть товарищей не успел, как шопот его слышу—не кличь, шепчет, братишка,—я зеленый, не бандит. Невинный я, здесь за провиантом был, да за девичьей лаской в лес не успел.

Наши зеленые—те ничего. Пограбят от нужды, всякому в пору. И различки не делают, кто красный, кто белый, кто еврей,—абы хлебушка. Те же зеленые геройствовать взяли моду. Налетом налетят, не то что хлеба, а все берут, более всего вина и вещи дорогие. Для ужасу евреев перебьют, как бы за коммуноу.

Двойки зеленые есть. Бедные и богатые. У бедных в лесу подземный текучий куренок, хлеба корки немає, табачковым делом навоз займается, на собственных ломотных костях спят, родною вонью греются. А есть богатые зеленые. Ковры у них и золото, сигары и вина разные, кони и даже машины. А коло них, за золотце, злыдни из простых людей снабжением ведают, и как бы вестовыми служат.

Приказал нам зеленых по лесам не шукать, а строго настрого, ни с села в лес, ни с леса в село, никошоеньки. И пришелся рецептец тот через неделю,—потянулись до нас из лесов мощи живые, до того тощи, до того неевши,—от корочки вдрызг пьяны. Взяли мы их голыми руками, да безвыгодно для походного дела. И слабы, и воевать отвыкли.

Эти святые. До того воевать не любят, хучь белый стреляет, хучь красный,—бегут святые во места лесные, ажно портки сеют. Зато, как выстрелов не слышать,—оберут место до последней корочки, баб угонят, и в скитах своих зеленых миролюбием хвалятся.

Гибель Пушкина

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

И запылаем сами
Мы пламенней, чем пламя,
И пламенней, чем кровь...

Верлан

На островах пылали—снег и лед.
На острова
В санях и пешеходом
К обрываю гор—великосветский сброд
Звала прекраснородная погода.

До островов,
От самой от Невы,
Не остывает толчея людская—
Глядит, не поднимая головы,
Как скачут лошади, секунды высекая.

В толпе никто поднять не может век:
Слепа толпа.
А солнце над толпою
Неудержимо обливало снег
Безукоризненною белизною.

— А ну, ямщик! Скорее! Не томи!
Куда ты правишь? Этак ведь далече?
Не в крепость ли
Везешь ты, чорт возьми?..
— Нет, Пушкин,
Путь прямой до «Черной речки».

Поторопи, Данзас,—нам недосуг.
Чего угрюм? Гляди заправским франтом!
Иль это правда,
Что хороший друг
Не может быть хорошим секундантом?

Гони, ямщик!
Мне нечего терять,
Быть может, лишь убытки от поместий?

Быть может, честь? Но у меня отнять
Ее собрались.... Так, на подвиг чести!

В толпе никто поднять не может век:
Слепа толпа.
А с солнцем над толпою
Казалось, что сливался человек
Бушующей
Курчавой головою.

Навстречу сани....
 Давние друзья!
— Что поздно, Пушкин, можно ли так мешкать?
У них на лицах разобрать нельзя
Где—сожаленье, где—усмешка.

Гони, ямщик!
Дорога здесь тесна.
И воздух тут пропитан, будто, смрадом.
Навстречу сани...
Кажется, жена
Сверкает близоруким взглядом.

Данзас напрасно медлит и шумит.
Напрасно ждет
Заступничества света:
И ротозеев не расшевелит—
Ни Пушкина необычайный вид,
Ни крик
И ни паденье пистолетов!

— Любезный друг мой,
Ну, к чему греметь:
Не к месту бестолковая волынка!
Кремни и пистолеты осмотреть
Успеем мы на месте поединка.

К чему волнение: брось терзать усы.
Одно вот вызывает озлобление,
Что лошади сегодня, как часы,
Медлительны
До умопомрачения...

— Нет, кони быстры. В снежной пене грудь.
Вон и Дантес кокардою маячит...
Постой, ямщик! Ты можешь повернуть:
Мы здесь сойдем
У Комендантской дачи.

.....
Внезапный вихрь вспорхнул над головой,
Взревел в отчаяньи, обжег ознобом.

Хотел поднять, чтоб унести с собой,
Хотел поднять,—
Но не дали сугробы.

Январский снег широк, глубок, как мысль,
Как пламя, дёпок и, как время, вянок...
Эх, хорошо б
По снегу пронестись
Скользящими полозьями салазок.

Бывало, с девушками, на пруду
Рассеивался горький дым изгнанья....
О, где же ты, когда тебя найду,
Спасительное разочарованье?..

Но что за чушь? Откуда эта блажь?
Я не приговорен.
Нет, я, как некий «витязь».
Эй, секунданты, скоро ли? Когда ж?..

— Готово все!
К барьерам становитесь....

Мы честь и месть несем к ногам невесте,
Жене мы отдаем
Воинственный досуг.
А может лучше было бы—как Пестель,
Как Муравьев... от царских рук...

От царских рук.... Но я для всех—повеса,
Без титула и звания поэт...
Ну, кто сказал бы мне,
Что у Дантеса
Сейчас в руках не царский пистолет?..
Все спуталось.

Послушным будь, курок!
Противник ждет. К барьеру шагом быстрым.
И тут
Решил поэта смертный срок
Предупредительно - поспешный выстрел.

Погиб поэт.
Он перерос свой век.
Он перенес в соседний век расплату...

Большое солнце
Обливало снег
Горячей кровью зимнего заката.

Январь—февраль.

Демократические миниатюры

КАРЛ РАДЕК

Продаю титулы, покупаю партию

Наша любовная переписка с сэром Остэном Чемберленом отвлекла внимание русской общественности от ряда замечательных событий, происходящих в Англии и не менее характерных для ее состояния, чем угрозы господина Чемберлена, хотя и они не так важны. Во времена, когда мы спрашивали себя, чего хочет господин Чемберлен, намерен ли он в нас стрелять нотами, или чем-нибудь более веским, в Англии продавалась целая партия. Не партия оружия для Чжан-Цзо-Лина и не партия солдатских штанов для Пилсудского, а политическая партия, которая когда-то руководила великой империей. Этот торг, не записанный в биржевых цыдулках, так замечателен, что он читается, как роман.

История торга очень проста. Английская либеральная партия разбита не выборным бюллетенем, а историей. Развитие английского капитализма, рост классовых противоречий загнали английскую промышленную, финансовую и даже значительную часть торговой буржуазии в лагерь консерваторов.

Уже давно, еще перед войной, консервативная партия перестала быть партией помещиков. Это партия угольных и железных королей, фабрикантов пушек, мыла, крупных торговцев и крупных банкиров. Либеральная партия сохранила за собой часть торгового капитала и значительные массы английской мелкой буржуазии. Рабочий класс ушел от нее в рабочую партию. Последняя вспышка силы либеральной партии—это ее победы в борьбе с палатой лордов, в борьбе против консерваторов перед войной, за бюджет, считающийся с интересами мелких буржуазных масс.

Героем в этой борьбе был Ллойд Джордж. Он нашел слова, находящие отклик в сердцах миллионов, которым обещал борьбу на жизнь и смерть против привилегий помещиков и капиталистов, против нужды, Ллойд Джордж, которого тогда консервативная пресса назвала разбойником, наследником Джека Кэйда.

Этот Ллойд Джордж давно умер. Первые подземные толчки, мароккский кризис 1911 г., предвестник империалистского взрыва, перебросили мелкобуржуазного реформатора в лагерь империализма. В результате этого было то, что во время войны либеральная партия должна была сделать выводы: пойти на коалицию с консерваторами во имя победы. Ллойд Джордж, оттолкнув старого маститого вождя либерализма, скучного Асквита, который не умел быть трубой войны, возглавил коалиционное правительство и руководил Англией в продолжение нескольких лет: То, что было высшим триумфом в жизни сына валийского углекопа, доканало английский либерализм.

Коалиционное правительство было правительством самой бесшабашной империалистской реакции, правительством разгрома военных спекулянтов. Оно вызвало к себе глубочайшую ненависть рабочих. Оно уничтожило всю легенду о социальном реформаторе—Ллойд Джордже. Имя Ллойд Джорджа сделалось синонимом политического мошенника. Когда кончилась война, английская консервативная партия решила освободиться от ллойдджорджевского руководства. Она, выбросив из правительства Ллойд Джорджа, назначила новые выборы, в которых либеральная партия была растерта в порошок между мельничными жерновами крупного капитала и рабочего класса.

Ллойд Джордж вышел из игры, как политический и как личный банкрот. Он не только расколол свою партию, не только опозорил ее в глазах либеральной мелкой буржуазии, но и сам, как премьер коалиции, сделался экспонентом самых грязных элементов английского капитализма. Приятель военного спекулянта и дезертира, банкира лорда Сосуна, зависимый в финансовом отношении и от его клика и от других военных спекулянтов, Ллойд Джордж ушел от власти, имея за собой разбитую, деморализованную партию.

Единственная возможность удержать хотя бы часть старого влияния состояла бы в коалиции с рабочей партией. Но непопулярность Ллойд Джорджа в рабочих массах закрыла путь, не позволяла даже самым отчаянным оппортунистам обмолвиться словом о коалиции с Ллойд Джорджем. Влияние Ллойд Джорджа настолько упало, что когда в парламенте он открывал рот, то пустыли скамьи и консерваторов и рабочей партии.

Но валийская лисица не унывала. Рабочая партия обанкротилась в парламенте, не решившись на серьезную борьбу с капиталом. Забастовка углекопов, которая могла сделаться исходной точкой, началом новой эры в истории Англии, окончилась грандиозным поражением благодаря предательству правых вождей рабочего движения. Звезда рабочей партии побледнела. В 1919—1920 г.г. на нее были обращены глаза интеллигентских элементов, разочаровавшихся в либерализме, и переход Понсоби, Тревьелена и др. видных и честных радикалов в ряды рабочей партии не был единичным. Тысячи интеллигентов, оказавшихся бездомными после банкротства либеральной партии, искали в рабочей партии убежища. Но и консервативная партия не в состоянии была выдвинут

никакой творческой программы. Она разбила забастовку углекопов благодаря поддержке Томасов и Макдональдов. Но она не в состоянии разбить противодействия, которое оказывают об'единению и обновлению угольной промышленности консервативные угольные короли. Угольная промышленность, раздробленная, технически отсталая, не может продолжать жить в теперешнем состоянии, она остается открытой раной на теле английского капитализма.

Положение Англии на мировом рынке ухудшается. Растет пассивность английского торгового баланса. Консервативная партия не знает никаких других средств против этого распада основ английской империи, кроме протекционизма, на который не хотят согласиться мелкобуржуазные массы, держащиеся сравнительной дешевизной средств первой необходимости. На протекционистскую политику трудно согласиться торговым кругам. Консерваторы злобствуют. Их истерические вопли против СССР не доказательство силы, а доказательство того, что английский империализм не знает, что сделать с бунтующим Востоком.

Валийская лисица выползает из своей норы и начинает готовить себя к возврату к власти. Ллойд Джордж выступает первый с программой решения угольного вопроса путем государственного контроля над угольной промышленностью с участием рабочих организаций, коммун и специалистов. Ллойд Джордж выдвигает программу, при помощи которой он хочет уменьшить пассивность английского баланса. Земля английская, служащая парком для охоты помещиков и разбогатевших капиталистов, должна снова сделаться кормилицей Англии. Она не может дать достаточно хлеба, но она может уменьшить на сотни миллионов английскую зависимость от заграницы путем развития скотоводства и огородничества.

Ллойд Джордж требует чего-то вроде национализации земли. Во время забастовки углекопов, Ллойд Джордж отделяется демонстративно от своих товарищей по партии, лорда Асквита и лорда Грэя, ставших решительно на сторону капиталистов. Он заигрывает с рабочими, он заигрывает с Советской Россией, с которой ведь он начал переговоры в 1920-м году. Он заигрывает с Китаем, создавая себе, таким образом, незаметные политические активы. Расчет его состоит в том, что рабочая партия одна не получит в ближайшее время большинства в парламенте. Тогда он надеется добиться соглашения с ней о коалиционном правительстве. Даже падающая популярность Макдональда ему на руку. Макдональд оппортунист, но одновременно шотландец, упрямый, как осел, и ненавидящий Ллойда Джорджа. Ежели он будет сметен Томасом, то Ллойд Джордж надеется на сделку.

Для этого момента надо взять твердо в руки либеральную партию, надо ее усилить при следующих выборах и надо ее заставить следовать без всякого вливания за его повелениями. И тут начинается история, бросающая столько света на буржуазную демократию.

Крупная буржуазия сбежала из лагеря либерализма. Он остался, таким образом, без серьезных материальных средств. Но эти материаль-

ные средства есть у Ллойд Джорджа. Ллойд Джордж обладает фондом, размеры которого точно неизвестны, но, повидимому, доходят до 20 милл. рублей. Откуда у него эти деньги? Об этом запрашивал в лондонском «Таймсе» публично 80-летний лорд Росбери, когда-то либеральный премьер... Ллойд Джордж ничего на запрос не ответил. Лорд Росбери разразился следующим письмом в редакцию «Таймса»: «Я не получил ответа на мой запрос о происхождении фондов Ллойд Джорджа. Это доказательство такого безразличия, о котором я глубоко сожалею. Политики так заняты отданием почестей золотому тельцу, что им приходится молчать. Казалось бы немислимым, чтобы люди, которые, вероятно, джентльмены, позволяли себе оставлять такие вопросы без ответа. Но если заинтересованные добровольно не отвечают, то остается единственный путь—назначение парламентской следственной комиссии, которая имела бы право допросить под присягой. Картина 90 пэров, которые об'яснили бы комиссии происхождение их дворянского титула, уже многого стоила бы».

Письмо лорда Росбери дает ответ на поставленный им вопрос. В качестве главы коалиционного правительства Ллойд Джордж ежегодно производил в дворянство и назначал в палату лордов десятки спекулянтов, которые за это платили чистоганом в политическую кассу Ллойд Джорджа. В телерешней палате лордов находятся 140 дворян из банкиров, 53 железнодорожных капиталиста, 30 королей угля, 18 собственников бумаг транспортных обществ, 15 собственников пивоваренных заводов и гостиниц. Ллойд Джордж ответил Росбери через свою прессу указанием на то, что он сам, благочестивый старик Росбери, не иначе делал выборы в 1895 году. Торговля титулами принадлежит к традиционной английской торговле, хотя она не значится в торговых балансах Англии. И либеральная партия, искони партия торговли, без всего согласилась на предложение Ллойд Джорджа назначить угодное ему руководство партии взамен за финансирование им выборов.

Все в порядке. И не консерваторам, которые делают то же самое, что Ллойд Джордж, продают титулы дворян, возмущаться этой наглядной картиной современной демократии. Они могли бы только подать иск в королевский суд о разделе фонда Ллойд Джорджа, ибо он заработал на торговле титулами в качестве коалиционного премьер-министра.

¡Реформа молитвенника или господи помилуй

Китайцы ревизуют договоры, навязанные им Англией. Этим договорам по 60—80 лет. Они их ревизуют силой оружия и бойкстом. Немецкий капитализм ревизует версальский договор, на котором еще не успели обсохнуть чернила. Английский рабочий класс не ревизует затхлых законов английской буржуазии. Поэтому английская буржуазия имеет время сама заняться своей ревизией. Что же она ревизует? Она ревизует английский молитвенник.

Вопрос о ревизии английского молитвенника занимает в английской печати не меньше места, чем ревизия отношений к Советской России.

Судьбами молитвенника глубоко задеты не только круги профессиональных попов, но широчайшие круги respectable общества. В Англии всякий сам себе поп, и поэтому ревизия молитвенника касается всякого.

Почему английская буржуазия взялась вдруг за ревизию молитвенника? Ему 250 лет. Для ревизии договорных отношений с богом, закрепленных молитвенником, в 1906 г. была назначена комиссия епископов. О чем идет спор? Английские короли в XVI веке ограбили католическую церковь, дабы нажиться за ее счет. Английские помещики принимали в этом грабеже посильное участие. Английская революция XVII ст. пыталась создать вместо абсолютной монархии конституционную монархию; хотела на место католической церкви, существовавшей в Англии, построить новую демократическую церковь, в которой всякий буржуа мог бы вступать в сношения с господом богом через свободно выбранного посредника. Английская контр-революция вернула церкви привилегии, связала ее с государством, дав только парламенту право контроля над ней. Так, наприм., и молитвенник будет голосоваться английским парламентом, как всякий другой билль о ввозе свинины или вывозе автомобилей.

Рост реакции в Англии привел к тому, что новый молитвенник получил ряд черт, усиливающих близость английской государственной церкви к католицизму. Одновременно он содержит в виду неравномерности капиталистического развития и прогрессивные элементы. Так, напр., молитву за Лигу Наций, которая ей поможет, как мертвому кадилло, молитву для крематория,—но это не примирило прогрессивные элементы. Прогрессивные попы протестуют против приближения нового молитвенника к католическим молитвенникам. Город Манчестер, как известно, самый прогрессивный город. Манчестерский епископ стоит во главе борьбы против неопапизма. Ежедневно перед дворцом нашего хорошего знакомого, кентерберийского епископа, демонстрируют враги римской моды в церковных костюмах, против капитуляции перед папой римским. В самой почтенной церкви Лондона, в которой с богом торгуются самые богатые люди, в церкви Сити, пришли даже к демонстрациям в присутствии городского головы Лондона. Непочтение перед господом богом соединилось с большим тяжелым грехом—непочтением, оказанного городскому голове Лондона.

Английский парламент будет решать вопрос в последнем счету. Не наше дело давать ему советы, как реформировать молитвенник. Может, этим займется спецы из нашего «Безбожника». Но если бы в английском парламенте находилась коммунистическая фракция, то мы бы ей предложили внести, в качестве поправки к молитвеннику, проект молитвы «господи помилуй», в которой была бы изложена картина все ухудшающегося положения английского капитализма. Может быть, этой идеей займутся левые члены рабочей партии. Но мы просим их лидера Хвитли, как убежденного католика, не братья за дело.

Дозволено ли советнику английской королевы прелюбодействовать?

Английский суд занимался недавно очень сложным вопросом, вопросом о целомудрии давно почившего в бозе героя английского либерализма, Гледстона. Русский читатель, одичавший в революции и потерявший интерес даже к целомудрию девушки, наверное, спросит в отчаянии—какого чорта может интересовать целомудрие старого Гледстона? Но русский читатель тем и отличается, что потерял все мерил для суждения о делах культурных наций. Поэтому мне придется рассказать подробно прискорбную повесть о том, как одичание коснулось даже кругов благочестивого Альбиона и как в самой Англии поднялась безбожная рука на добрую славу национального героя.

Виновником является известный английский писатель, капитан Райт. Он посмел в книге напечатать черным по белому, что Гледстон, притворившийся святым, не только имел постоянных любовниц, но, кроме того, даже покупал любовь с вольного торга. Это выступление капитана Райта можно объяснить только тем фактом, что он принимал участие в войне, был даже секретарем военного совета союзников, что, как известно, не может остаться без плохих последствий даже для самой сильной морали.

Кощунские утверждения капитана Райта возмутили все либеральное общественное мнение. Сын обиженного премьера Англии назвал Райта клеветником. Дело перешло в суд. Капитан Райт назвал живущую еще актрису, которая была любовницей Гледстона. Об этом все знали, но общественное мнение было глубоко обижено отсутствием галантности у военного писателя. Последний назвал и чиновников, которые ему рассказывали, что агенты королевской полиции принуждены были, во время любовных посещений премьером его милой, стоять всю ночь под окном и сторожить правителя Англии. Он назвал свидетелей любовных эскапад Гледстона по публичным местам. Но возмущенный судья спросил капитана Райта: может ли он доказать, что Гледстон, который был глубоко религиозным человеком, не навещал девиц, сошедших с пути истины с возвышенной целью вернуть их на оный путь? Капитан Райт обмолвился только солдатским словом, что если найдутся такие идиоты, которые в это поверят, то и он готов поверить. Но судья оказался готовым взять на себя упрек в идиотизме. Он верил в добродетель Гледстона, ибо Гледстон был советником королевы. И с глубочайшим возмущением спросил он капитана Райта:

— Так, значит, вы хотите сказать, что первый советник королевы не сохранил верности своей жене?

Глубоко сокрушенный, но не сдающийся, офицер ответил:

— Да, сэръ, я это хотел сказать.

И за это был осужден.

Вера в добродетель старого ханжи Гледстона восстановлена. Читая этот судебный процесс, я взял в руки появившуюся недавно корреспонденцию Парнеля, вождя ирландцев, с Катериной О'Шейи, корреспонденцию, представляющую собой пламенный памятник человеческой любви.

Парнелъ имел несчастье полюбить жену своего товарища по партии и по парламенту, капитана О'Шейи. Парламентский трибун, живущий замкнутой жизнью, не знающий других страстей, кроме борьбы за освобождение своего народа, воспламенился любовью к высоко интеллигентной прекрасной женщине. Ирландцы—католики. Затруднения в разводе, политические последствия этого развода заставили Парнеля и Катерину О'Шейи скрывать их великую любовь. Наконец, их связь получила огласку, и тогда Гледстон, правительство которого опиралось на поддержку ирландцев, затребовал отставки Парнеля с поста руководителя ирландской фракции. Гледстон не мотивировал свое требование политическими соображениями. Он мотивировал его моральным возмущением. Как верующий, заявил он публично, он не может иначе, как с глубоким возмущением, отнестись к такому падению. В действительности, Гледстон великолепно знал в продолжение 10 лет об отношениях Парнеля и Екатерины О'Шейи.

Екатерина О'Шейи была в продолжение многих лет, когда ирландцы стояли в официальной оппозиции к правительству, но на деле поддерживали с ним закулисные сношения и вели переговоры об ирландском билле, посредником между Парнелем и Гледстоном и встречалась с Гледстоном, как наиболее доверенное лицо Парнеля.

Невинность либерального ханжи судом установлена. Она не менее судебно установлена, как честность, открытость и искренность английской буржуазии.

Свобода печати или душа без штанов

Когда левый блок боролся во Франции за власть против Пуанкара, знаменосцем в этой борьбе явилась ежедневная газета «Котидьен», созданная левыми радикалами в 1924 г.

В «Котидьене» ежедневно подавались в качестве свежего блюда подогретые принципы французской революции самим историком Олларом, законы человеколюбия г. Бюиссоном, принципы социал-демократии самим Пьером Реноделем. По международной политике писал в «Котидьене» неизбежный Грумбах, эльзасец, который из любви к Франции дезертировал во время войны из германской армии, но из любви к собственной жизни не вступил во французскую. Грумбах, специалист «Юманитэ», во время войны по международному рабочему движению изливал все свои чувства ненависти, которые вызывала в пламенной его душе русская революция, ограбившая, как известно, бедный французский народ. «Котидьен», одним словом, был попыткой создания боевого органа французского радикализма. Стрелы его были направлены в первую очередь в грудь Пуанкаре, олицетворение французской реакции. «Котидьен» печатал пламенные статьи против парламентской коррупции. Писал о зависимости депутатов от Комитэ де Форж. «Котидьен» отекал радикальной добродетелью, как блины отекают маслом.

И вдруг появляются документы, доказывающие, что «Котидьен» брал деньги от страховых об-в, от об-в спальных вагонов, из тайного

фонда правительства—индо-китайского банка, из фонда румынского правительства (особенно чистый источник) и, наконец, из тайного фонда Комитэ де Форж. В дальнейшем стало явным даже то, что «Котидьен» брал деньги от вернувшегося к власти г. Пуанкарэ.

Сотрудники «Котидьен» с проф. Олларом во главе проливали слезы возмущения над морем разврата, допущенного органом, которым они идейно руководили. Они выступают обличителями, пишут статьи и выпускают брошюры. Бедный издатель «Котидьен», Дюмей, пытается очень неубедительно доказать свою невинность. Никто ему не верит. В июне м-це соберутся акционеры газеты для ликвидации дела. Если г. Дюмей не лишен юмора, то он должен спросить своих обличителей—что же они думали о средствах, на которые он издавал газету?

Современная газета нуждается в десятках миллионов рублей для того, чтобы поставить телеграфную информацию, репортаж. Даже если она распространяется в сотнях тысяч экземпляров, а этого могут достичь только бульварные газеты, играющие на самых низких инстинктах народных масс, она не окупается. Она вынуждена искать покровителей, т.-е. тех, которые платят ей громадные деньги и требуют за это соответствующих услуг, особенно в биржевой части. Современная буржуазная газета имеет выбор между проституткой, платной поштучно, или постоянной содержанкой. Только рабочий класс, опирающийся на мощную организацию, способный к крупным материальным жертвам, отказывающийся не только от сенсации, но даже от большой телеграфной информации, которая ему материально не по силам, содержит на Западе несколько больших газет. Во имя затхлых идей мелканского радикализма никто не станет покупать газету, не имеющую широких мировых связей. Мелкая буржуазия не имеет ни организаций, ни способов поставить массовую газету и обеспечить ей распространение. Мелкая буржуазия падка на всякие сенсации и не покупает газеты, не способной цекотать ее нервы тысячами телеграмм из всех углов мира.

Г-н Дюмей сделал из этого выводы: т. к. нельзя издавать радикально-буржуазную газету, не продавая ее невинности, то он торговал ее телом, чтобы иметь возможность демонстрировать миру душу радикализма.

Мы всегда говорили г-м Оллари и Бюиссону, что их идеалистический метод не позволяет им понимать историю. Это теперь оправдалось на их собственных судьбах. Почтенные господа Бюиссон и Оллар думали, что душа может гулять по бульварам Парижа без штанов и всякой другой одежды. Но это невозможно не только потому, что парижские флики не менее моральный народ, чем лондонские судьи, но и потому, что душа радикализма, не напечатанная на бумаге, вообще незрима.

Можно еще поверить, хотя и с трудом, что старший ребенок Оллар не ставил себе вопроса, на какие же деньги, чорт возьми, издается «Котидьен». Но кто поверит, что этого вопроса не ставили себе старые прожженные политики, в роде Пьера Реноделя, который великолепно знает, где раки зимуют.

Фурманов

(Из воспоминаний)

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

I

Это было в конце 1921—или начале 1922 года—не могу вспомнить точно. В Высшем Военном Редакционном Совете я услышал, что нам дали нового работника. Фурманов—так называли его.

Имя это было знакомо: комиссар у Чапаева, затем какая-то крупная история в Семиречьи, поход Ковтюха.

Говорили про него хорошо. Боевой товарищ.

Несколько дней спустя мы встретились. Он появился как-то незаметно, без шума, и фамилию свою, при знакомстве, произносил тихо. Это был молодой, сухощавый человек, среднего роста, стройный, с красивым лицом. Лоб его был хорошо вылеплен, высок и крепок, каштановые, не длинные волосы, откиннутые назад, подчеркивали белизну лба и темные брови, а легкий с желтизной румянец и энергичный рот говорили о здоровьи, бодрости и упорстве.

Сильное впечатление произвели на меня его глаза. Большие, они казались черными и широко открытыми. Фурманов как-то неподвижно вглядывался в человека. Его глаза не скользили, но останавливались подолгу. Он не смотрел—но всматривался, пронизывал, буравил спокойными зрачками. Казалось, что в темной глубине этих внимательных глаз горел невидный, но жаркий огонь.

Был Фурманов молчалив, с речами выступал редко и, кажется, не очень долюбливал многоглаголанье. Не любил также жестикулировать. Всегда сдержанный, он казался скрытным, замкнутым, точно один-на-один с собой упорно обдумывал что-то, ни с кем не делаясь своей внутренней работой. Улыбался он редко, а когда улыбался—белые, крепкие зубы блеском освещали лицо, оно делалось мальчишеским и задорным, и так странно обнаруживались ямочки на щеках у этого сурового и жестковатого на вид человека.

Он был всегда спокоен, и, встречаясь с ним нередко в заседаниях ячейки, иногда подолгу беседуя, я не замечал, чтобы он изменил самому

себе, чтобы нервность, которая была в нем глубоко запрятана, показала себя, опрокинула бы его сдержанную силу. А сила, как свернутая пружина, чувствовалась в каждом его движении, в каждом слове.

Фурманов не спешил говорить, как не спешил и работать. Он не торопился вообще об'являть свое мнение. Было видно: любил сначала хорошо подумать, а потом высказаться.

Здесь проявилась черта, едва ли не самая характерная в Фурманове: скромность. Был он по-хорошему мягок, никого не задирал, не толкал локтями близких, никому не наступал на мозоли, не лез на видное место—точно хотел отойти в сторонку от базара и суеты. Трудно было в этом человеке, казавшемся застенчивым, подозревать огромную внутреннюю работу. А ведь как раз в годы наших частых встреч Фурманов, по возвращении из Семиречья, оформлял свой боевой и житейский опыт. В это время был написан «Чапаев» и готовился «Мятеж». Многие ли, даже из близких его знакомых, знали об этом упорном труде?

Однажды с смущенным видом (Фурманов не любил обращаться с просьбами) положил он мне на стол об'емистую рукопись. Это был «Чапаев». Фурманов не знал, как лучше поступить, чтобы издать книгу. Посылать ли в Госиздат? Но там ее могут «задвинуть» в редакционную корзину. Государственное Издательство и в те годы не отличалось деликатным обхождением с авторским трудом.—Или, быть может, издаст ее наше военное издательство? Послать в Истпарт? Его это тревожило—он не вошел еще в литературу, как «свой» человек, не имел, так называемых, «связей», без которых, к сожалению, молодому писателю трудновато бывает пробиться «в люди». К тому же, мне это было ясно из бесед с Фурмановым—они не представлял себе, какая сила была вложена в «Чапаева», и какой успех ожидает эту книгу. Или то была показная скромность? Не думаю. Он и в самом деле не предполагал, что вещь, им написанная, отличается какими-нибудь особыми достоинствами.

Напротив: его личная работа не казалась ему значительной настолько, чтобы беспокоить товарищей, восседающих на высоких госиздатовских вершинах, где творилась литературная погода, создавались и разрушались литературные репутации. «Госиздат!»—Это звучало тогда для Фурманова как Академия, как счастье, которого ему, грешному и скромному, не добиться.

Он, помнится, не совсем был даже уверен, удастся ли ему вообще скоро издать «Чапаева». И когда, через посредство Николая Леонидовича Мещерякова, с которым я познакомил Фурманова (Мещеряков, кажется, с письмом направил его в «Истпарт»), «Чапаев» увидел свет, Фурманов был первым, кого поразили успех этого произведения. Он признавался мне, что несколько удивлен этим успехом, ибо не задавался целью создать такую крупную вещь, не думал, что она произведет большое впечатление. Просто в меру своего опыта и своих сил, которые считал не очень великими, пытался охотно и без претензий изложить чапаевскую эпопею.—И вот,—с приятным недоумением разводил он руками,—такой успех!

Фурманов свою удачу переживал крайне сдержанно. Ни горделивых мыслей, ни похвалы,—вот-де мы утрем нос! мы пока-а-жем, как писать!—и т. д.—ничего подобного в нем не было. Успех его взволновал—но он не навязывался с хвалебными отзывами, хвастовства—даже такого безобидного и простительного—в нем не оказалось. Скажу больше: он не то что не поверил в успех, но боялся, как бы не оказались похвалы преувеличенными. Его беспокоило: сумеет ли он удержаться на высоте. Вель удача—да еще литературная!—обязывает. Вот это чувство ответственности перед собой, перед литературой, выросло в нем вместе с ростом его успехов. Он как бы не доверял своим силам—ибо превосходно понимал, как переходяща удача, если она случайна.

II

Есть мастера, которые быстро находят свой материал, тогда говорят: вот NN нашел свою линию. Существует зависимость между особенностями художнического зрения, свойствами творческой индивидуальности и материалом, который подвергает художник обработке. Нередко писатель находит такой материал в начале своего пути: это и знаменует литературный успех. Возьмется он за материал ему несвойственный, чужой,—терпит неудачу.

Бывает наоборот. Долгие годы литературных исканий не дают художнику успеха—при несомненном таланте! Нужны какие-то внешние обстоятельства в биографии художника, изменение общественной среды, чтобы загорелся и заискрился талант, до того липь вспыхивавший и погасавший.

К последнему типу писателей принадлежит Фурманов. Художника в нем разбудила пролетарская революция. Нужны были громы и грозы Октября, великолепный пафос гражданской войны, героические походы по Уралу, Кубани и Семиречью, давшие ряд изумительных впечатлений и наблюдений, чтобы анемичный беллетрист, каким был Фурманов до «Красного десанта» и «Чапаева», превратился в сурового и сосредоточенного бойца, задымленного порохом, под канонадой собирающего драгоценный материал для будущих картин, широких—как степные просторы, и суровых—как сама борьба.

Этот вот материал, от которого пахнет кровью и порохом, который жегся, как неостывшие угли—испепелил в Фурманове его первоначальную писательскую манеру: бледные красочки, кисло-сладкое интеллигентское сентиментальничанье.

Революция переродила его, закалила, омужествила. Он сделался настоящим писателем именно тогда, когда, казалось бы, распростился с писательством, если не навсегда, то надолго.

У него был огромный личный опыт—Урал, Кубань, Семиречье; но он редко рассказывал об этом: писательское чутье мешало ему разглаговльствовать о том, что постоянно томило его изнутри. Сосредоточенность и молчаливость были именно признаками этой постоянной

внутренней работы. Только теперь, много лет спустя после наших встреч, я постиг завидную способность его без остатка отдаваться одному творческому делу, одной мысли, единственной задаче.

С первой встречи Фурманов поразил меня нежеланием «выдвигать» свою персону на видное место. Он искал места поскромней, незаметней. Меня это несколько удивило: что греха таить, редки такие товарищи в наши дни. А Фурманов как будто хотел забраться в уголок, где бы его не тревожили. Он выполнял обязанности секретаря журнала «Военная мысль и революция» и в «кабинете» его (в «кабинет», если память мне не изменяет, была превращена кухня—мы уплотняться начали ведь с 1921 года!)—крошечном и полутемном—было сосредоточенно тихо, суховато, деловито. Поглощенный творческим своим трудом, он не замечал ни плохих условий работы, ни шума, кипевшего вокруг—не заявлял претензий, не выставлял требований, которыми сопровождалось обычно появление каждого нового мало-мальски крупного работника. Он ограничивался минимумом удобств, самым необходимым, без чего немислима была работа: остальное его волновало мало. Он уступал в мелочах—это значило: он не уступит там, где речь пойдет о чем-нибудь значительном и крупном. Его работа в журнале была мало интересна—она не давала ему, разумеется, никакого удовлетворения. Но он отказывался от всяких иных работ, более интересных и сложных: берег, очевидно, силы для творчества, которому в тиши, в комнате с наглухо закрытыми дверьми, с занавешенными окнами всецело в то время отдавался.

Лишь позднее, после того, как «Чапаев» был опубликован, когда литературный успех был закреплен, когда первые главы «Мятежа», вероятно, были написаны, лишь после того Фурманов решил оторваться от старой военной пристани и отправиться в плаванье по литературному морю.

Удалось ему это не без труда. Фурманов был военный работник. Высший Военный Редакционный Совет—одно из центральных управлений Реввоенсовета. Никаких мишальностей и сентиментов в военной работе не допускалось. Хороших работников было немало,—но они ценились все же—и «просто так» отпускать их на все четыре стороны не полагалось. А Фурманов был очень ценным. Поэтому его первые просьбы о разрешении уйти с военной работы, помнится, встретили отрицательное отношение не только с моей стороны, как тогдашнего председателя В.В.Р.С., которому лишиться Фурманова было неприятно,—но и со стороны Э. М. Склянского. Положения Склянского были ясны и точны: «Работник хороший, и Военведу нужен—не отпускать! Скрипит? Пусть поскрипит. Интересы революции и Красной армии выше личных интересов».

Интересы революции и Красной армии были близки и Фурманову, но его мотивировка была, тем не менее, правильной. Дело в том, что второстепенные функции, которые он выполнял, легко могли быть переданы другому. А в Фурманове (после «Чапаева» это сделалось ясным) остава-

лась неиспользованной большая литературная сила, которую Военвед в те годы и не мог использовать на все, как говорят, сто процентов. Об этом Фурманов сдержанно, с обычным спокойствием, внимательно выслушивая мои возражения, говорил мне, настойчиво опровергая мои доводы. Атаки свои он возобновлял несколько раз и однажды, смотря мне в глаза своим внимательным и упорным взглядом, заметил:

— Странно, все-таки, как вы, литератор, редактор большого журнала, который борется за советскую литературу, не хотите поступиться интересами издательского аппарата во имя интересов советской литературы. Или вы считаете, что я в самом деле не способен на настоящую творческую литературную работу и больше пользы принесу революции, если буду корпеть в канцелярии?

Это был аргумент! Не скрою: он меня задел за живое. Пришлось сдаться. Склянского удалось уговорить—в таких случаях покойный Эфройм Маркович был покладистым. Дело ведь шло не о «личных» интересах Фурманова.

Фурманов был обрадован. Но и в радости оставался все тем же простым и спокойным—только руку пожал сильнее, чем обычно. А рука у него была сухая, крепкая и горячая.

Стоит отметить: Фурманов очень хотел переменить работу. Литература влекла его к себе неудержимо. Но в этой борьбе за «литературу» он не прибег ни к чьему содействию. Он очень хорош был с М. В. Фрунзе: их связывала общая боевая работа. Фурманов мог обратиться хотя бы к его дружеской защите—он не сделал этого. Протекционизм лежал как-то вне характера Фурманова.

В Госиздате он оказался на своем месте. Н. Л. Мещеряков, тогдашний идеологический руководитель Гиза, не мог им нахвалиться: не кичившийся собою, исполнительный, добросовестный,—Фурманов скромненько сидел за своим столом, читал материал, редактировал—и все делал точно, без лишних слов—с той деловой военной выправкой, какую умным людям дает Красная армия.

Много раз в Госиздате—на лету, на бегу, впопыхах,—Мещеряков бросал мне по поводу Фурманова:

«Великолепный работник! Превосходный работник! Суший клад!»

III

В деятельности Фурманова нельзя заметить никаких черт, которые говорили бы о его честолюбии, подчеркивали бы в нем желание выделить свою личность, протиснуться в первые ряды, отеснить или затмить своего соседа!

В нем не было никакого карьеризма. На лице его я никогда не подметил угодливой улыбки, застенчиво-почтительного смешка, когда с ним говорили товарищи очень большого полета. Он высоко ставил чувство собственного достоинства—пролазы и подхалимы вызывали в нем холодное и брезгливое отвращение. Он не ценил временной удачи, ибо знал

цену аплодисментам легкомысленных аудиторий—и не искал их. Его увлекал успех серьезный и глубокий. Скрывая, он таил мечту оставить в литературе такой след, который нельзя было бы стереть сразу.

Он был мягким и вместе с тем жестким. Я не сомневаюсь, что под оболочкой сурового и дисциплинированного бойца в нем скрывалось нежное сердце, которое умело сочувствовать и способно было незримо для чужих глаз сочиться кровью. Но он лишен был сентиментальности—не любил говорить о чувствах, о настроениях, размазывать лирическую «кашу по чистому столу». Он держал себя в железных рукавицах воли, оттого-то казался таким упругим, стойким, негнувшимся. Отсюда и его прямота—честная прямота человека, который хочет знать правду и не станет искать утешения в «возвышенных обманах» мечты. Молчаливость его была не от недостатка мыслей. Словесная скупость Фурманова происходила все от той же волевой установки: что хочешь сказать—говори кратко, четко и ясно. И здесь давала себя знать военная выучка. Он больше слушал, чем говорил, а если начинал говорить, то обдумав, взвешивая каждое слово, отдавая его с осторожностью, точно прощупывая почву при каждом новом шаге. Оттого-то взгляд его был думающим. Упорная мысль постоянно изнутри освещала его темные глаза. И если он что додумывал до конца, и додуманное высказывал, было почти что бесполезно пытаться его переубедить. Он твердо стоял на своем, внимательно-колючим взглядом как бы пронизывал противника, волнения своего не выдавал, слушал терпеливо, но выслушав—спокойно возвращался к своему обдуманному и решенному. Он не любил раз решенное—перерешать: то, что он решал, было крепко—всерьез и надолго. Оттого-то некоторые товарищи считали его догматиком. Это неверно. Но он был постоянен в оценках и не менял их в зависимости от обстоятельств, черта—без которой нет хорошего большевика. Когда позднее он сделался одним из руководителей ВАПП'а, работавшие с ним товарищи узнали, как жесток бывал Фурманов, какие беспощадные удары наносил он даже друзьям, даже близким людям, когда считал, что эти близкие люди совершают ошибки, с которыми он никак не мог согласиться.

Он был революционером. Это значит, что закон революции был для него—высший закон. Это значит, что он любил революцию. Но его тянуло к писательству—литература и была его второй страстью. Как примирить эти две страсти? Для литературного попутчика—сначала литература, потом революция. Для писателя-большевика—сначала революция, потом литература. И если вообразить себе альтернативу: или революция, или литература—«попутчик» пожертвует интересами революции во имя литературы, писатель-большевик—интересами литературы во имя революции. Попутчик-литератор, даже если он революционер, служит прежде всего литературе, думает о литературе, живет литературой; большевик, даже если он писатель, служит прежде всего революции, думает о революции, живет революцией. Такие взаимоотношения дают иногда попутчику возможность выигрывать в своей писательской квалификации: но зато он теряет качество революционности. Литератор-

большевик иногда теряет литературное качество, но зато выигрывает в революционной квалификации. Гармоническое сочетание этих взаимоотношений—предел, к которому стремятся писатели-попутчики и писатели-большевики. Этого предела еще не достиг ни один. Не достиг его и Фурманов, но писательский путь его лежал именно в эту сторону: гармонически сочетать литературу и революцию, превратить революцию в произведение искусства—такова ведь и была задача жизни, которую поставил себе Фурманов.

Фурманов превосходно понимал, что гражданская война, закончившаяся на фронтах, переносится в другие области жизни, принимает новые разнообразные формы. И если в 1918 и 1919 годах это была борьба с оружием в руках, позднее на хозяйственном фронте она превращалась в трудовые процессы, а в области литературной принимала формы творческого художественного производства. Потому-то, чувствуя в себе силы служить революции именно на литературном фронте, Фурманов отказался от всяких иных возможностей, от всякой иной славы, а возможности у него были огромные. Здесь же ждали его не только успехи, но неудачи, сомнения, разочарования. Литературный труд—опасный труд, неблагодарный труд. Шум лавров, улыбка славы—они ведь не только заманчивы, но и обманчивы. И сколько юношей и девушек, обольщенных этими влекущими зовами—теряли себя в жестоких садах литературы, не найдя того, к чему призывало их обманутое воображение.

Фурманов представлял себе эти опасности. Но они не страшили его—он ведь не славы искал и не аплодисментов жаждал, когда шел в литературу. Он шел, как на борьбу, на завоевание литературы, шел, стиснув зубы, с готовностью преодолеть все препятствия, испытать все горести, победить—или умереть. И если успех сверкнул ему в лицо—он не вскружил ему голову.

Несмотря на похвалы, Фурманов неутомимо продолжал работать над своими, уже изданными и прогремевшими, вещами. Он не обольщал себя достоинствами своего стиля. Несколько раз в беседах со мной говорил о том, что в его языке нет достаточной экспрессивности, краткой и выразительной остроты, что в композиционном смысле надо еще много над вещами потрудиться. И действительно—последнее время своей жизни он тщательно занимался шлифовкой фразы, работал над словом, как материалом искусства.

Больше, чем критика, он критиковал свои произведения,—ибо обладал редким для многих писателей чувством с амокритики. Оттого-то похвалы не опьяняли его. Оттого-то он не жаждал дружеских рецензий, не рассылал своих книжек друзьям и недругам—с разнузданно льстивыми надписями, не искал внимания персон влиятельных в литературе. Он не любил сладкоречивых людей только потому, что они сладкоречивы, его нельзя было купить комплиментами, дешевая цена их была ему известна. Но всегда с большим вниманием и с большой охотой прислушивался он к оценкам суровым и нелицеприятным. Было ясно, что именно из этих оценок Фурманов извлекал всю ту пользу, которую искал

в критике. Он не принадлежал к той породе писателей, которые расценивают критиков своеобразно: если *хвалят*—*хорош, друг, умница*; если *бранят*—*плох, враг, бездарь*. А ведь большинство нашей писательской братии так именно к критике и относится, будто литература—залежалый товар, а критик—маклер, работающий на процентах.

Печальнее всего, конечно, то, что есть молодцы, берущие на себя роль критиков именно в последнем смысле.

IV

Фурманов был интеллигентом. Он не сразу пришел в большевистскую партию. Был у него период анархистский, максималистский. Но пролетарская революция переплавил в нем интеллигентское бунтарство, вышколила, вымуштровала его, превратила в хорошего большевика с крепкой духовной мускулатурой. Аналогичен был и его писательский путь — от бледных, интеллигентских рассказов добольшевистского периода—к «Чапаеву» и «Мятежу».

В таком пути русского радикального интеллигента нет ничего случайного: он вполне закономерен и не один Фурманов сумел преодолеть в себе интеллигентский индивидуализм и анархизм. Пролетарская революция—великий воспитатель. И если одна часть интеллигенции, крепко спаянная с буржуазией, не сумела порвать буржуазной пуповины—и очутилась по ту сторону баррикады, то ведь другая часть—революционная и меньшая—пошла вместе с пролетариатом, связав свою судьбу с его судьбой, и в пролетарских рядах в борьбе стала перековывать свое интеллигентское мировоззрение.

Фурманов — один из немногих, кому удалось это сделать с наибольшим успехом.

Смерть неожиданно поставила точку на недописанной странице его жизни.

Но и то, что Фурмановым «написано», закрепляет за ним видное место в богатой галлее выдающихся людей, выдвинутых великолепной нашей эпохой.

Среди фигур, которые останутся в истории,—далеко не последней будет автор «Чапаева» и «Мятежа»—большевик, писатель и просто замечательный человек.

Март 1926.

Из восточных литератур

Поэтическое творчество афганцев

Б. ПУРЕЦКИЙ

Материалом для первой половины настоящей статьи, где дана характеристика устного поэтического творчества афганских бродячих поэтов-музыкантов, послужили работы французского филолога Дж. Дармстетера, проводшего несколько лет в Афганистане, записавшего и издавшего свыше 100 текстов произведений афганских поэтов, а также ценнейшие сведения, полученные мною от афганца Бадер-Хана, бывшего преподавателя афганского языка в Институте Востоковедения в 1921 году. Этот человек, заброшенный империалистической войной из далекого Джелалабада в Москву, оказался сам безудержным поэтом, буквально влюбленным в свой «сладкий язык», и большим знатоком афганской поэзии. Несмотря на кратковременность занятий с Бадер-Ханом, мне, крайне заинтересованному в проверке материалов Дармстетера на современность, удалось получить у него сведения о том, что не только многие песни, записанные Дармстетером, в настоящее время еще можно услышать в Афганистане, но и некоторые из упоминаемых в книге французского филолога афганских поэтов были еще живы в начале текущего столетия и в годы, непосредственно предшествовавшие империалистической войне.

Все эти поэты или «думы», как их зовут в Афганистане,—выходцы преимущественно из низших слоев афганского населения, и для большинства из них профессия поэта, музыканта и певца является единственным средством существования.

Хотя многие из поэтов совершенно неграмотны, они все же получают своеобразное образование. Дум-новичок идет к прославившемуся думу-учителю. Тот учит его своим песням, затем песням знаменитых старых и новых певцов и наиболее популярным песням классических поэтов. Учитель ведет своего ученика, или учеников в «Ходжрэ»—своего рода клуб, где по вечерам собирается народ потолковать о новостях, послушать рассказчика или певца. Он водит их на празднества частные и общественные, куда его приглашают. Половину вознаграждения учи-

тель берет себе, другую же делит между своими учениками. Между прочим, хороший дум всегда умирает богачом. Когда ученик почувствует в себе достаточно сил для самостоятельного творчества, он кончает учение, начинает слагать стихи и иногда сам становится учителем. Необходимо заметить, что такие афганские певцы-профессионалы почти все не чистокровные афганцы, но афганизированные индусы. Чистокровный высокородный афганец слишком горд, чтобы выступать публично—говорит Дармстетер в своей книге¹⁾.

По форме песни афганских «думов», конечно, не всегда выдержаны в смысле соблюдения традиционных, классических правил построения стихов. В конце каждой строфы часто имеются припевы. В последней или предпоследней строке строфы иногда несколько раз повторяется последнее слово или часть его. Например, «зо дмин яр яр яр!» (я твой милый друг друг друг), или «рохсар сар сар» (по-русски было бы примерно: щека ка ка) и т. д.—прием, встречающийся в поэзии других народов. Поэтические образы заимствованы большею частью у персов и индусов. Что же касается содержания песен, то оно весьма разнообразно, хотя любовный элемент безусловно преобладает. Любовные песни, или «газели», наиболее характерны для такого рода поэзии. Кстати несколько замечаний о самом слове «газель».

Происходит оно от арабского слова «ghazila», означающего ухаживать за женщиной, говоря ей приятные слова; отсюда—арабское отглагольное существительное: «ghazal»,—первое значение которого: любовная речь, ухаживание, а затемю—«лбовно-лирическое произведение». От арабов «газель» перешла к персам, афганцам, индусам и т. д. Поэтому связывание термина «газель» с названием животного (газель), как это иногда делается²⁾, не имеет под собой серьезной почвы. То же самое можно сказать и о передаче термина «ghazal» по-русски словом «газелла».

Газель—короткое стихотворение, чаще семь-девять стихов (бейтов), т. е. четырнадцать-восемнадцать полустихий. Первые два полустихия рифмуются (внутренняя рифма или «брачная», как зовут ее арабы), затем рифмовка идет через полустихие.

Как будет видно из второй половины статьи, в современной художественной афганской литературе от классической газели осталась только форма, часто наполненная содержанием, далеко не соответствующим самому термину...

В качестве образцов устной поэзии афганцев мы даем произведения лучших «думов» конца прошлого и начала нынешнего века.

Такова, например, знаменитая газель поэта Мирá—«Захмэ», первая из подобного рода песен, «удостоившихся» перевода на английский язык, при чем на слова ее была даже написана музыка для фортепиано с пением. В Афганистане «Захмэ» встречается в нескольких вариантах.

1) «Chants populaires des Afghans».

2) См. Литературную Энциклопедию, т. I, изд. Френкеля, 1925 г.

В подлиннике форма газели строго выдержана: первые два стиха рифмуются одинаково, затем рифмовка идет через стих до конца газели. Образы в ней обычные для персидской и индусской поэзии. Влюбленный поэт сравнивает себя с нищим, лежащим у дверей возлюбленной. Грудь любимой женщины—спелые плоды, уста—сахар, зубы—жемчуг. Харо—нарицательное имя для возлюбленной, подобно тому, как Лейла—у арабов и персов.

В последней строфе Мирá возражает упрекающим его в плагиате, который у афганских поэтов—вещь самая обыкновенная.

«З А Х М Э»

Сижу одиноко в печали глубокой,
Разлукою с милой томим...
Сегодня пришла и взяла мое сердце...
Взяла и ушла вместе с нпм...
Ушла так тихо, спокойно...

Борьбою измученный, кровью покрытый,
Я нищим стоял пред тобой.
Жизнь—только страданье, а ты—исцеленье,
С тобой лишь найду я покой.
А как с тобой тихо, спокойно!..

Полны аромата плоды наливные,
И сладки как сахар уста,
И*зубы как жемчуг... О! как совершенна
Любимой Харо красота!..
Она меня ранила в сердце жестоко,
Теперь она только в мечтах.
И плачу я тихо, не слышно.

Я раб твой навеки, слуга твой до гроба,
Приди, погляди на меня.
С утра и до ночи лежу у порога,
Никто так не предан, как я.
Лежу спокойно, не слышно...

Мирú не пугают соперников козни—
Не вор он, а честный поэт!
Пускай их клеветят! сумеет рассеять
Он лживый и злобный навет!

При переводе газели Мирý так же, как и при переводе других образцов, порядок рифмы подлинника полностью не сохранен.

Мухаммаджи—полупомешанный поэт из селения Пакли. В 1888 году Дармстетер встретился с поэтом случайно в Абботабадской тюрьме, где тот отбывал шестимесячное заключение за нанесение побоев какому-то индусу. Приводимая ниже газель Мухаммаджи по мастерству и художественности выполнения представляет совершенно исключительное явление в восточной поэзии. Основой каждой строфы ее являются четыре строки с одинаковой рифмой. Пятая строка имеет столько же слогов, как

и предыдущие четыре, и связана общей рифмой с последней шестой строкой, повторяющейся без изменения в каждой строфе. Подобное построение стихотворения весьма приближается к персидским «мусаммат» и, без сомнения, заимствовано из персидской поэзии. Повторяющийся припев, в данном стихотворении заключающий каждую строфу, особенно усиливает художественность ее построения. Две различные картины: вечернее гуляние девушек-селянок и объяснение дочери с матерью, показанные в последовательно развивающемся действии, связываются, объединяются этим припевом в одно высоко художественное целое. Повторяющийся реди́ф ¹⁾ четвертой строфы «нэшта» (нет) и шестой строфы «на каум» (не делаю) весьма гармонируют с внутренним смыслом содержания и психологией действующих лиц.

Кроме высоко художественной композиции, поэма Мухаммаджи дает целый ряд сведений бытового характера. Во-первых, перед нами картина социального неравенства. Семья бедного крестьянина, с трудом перебивающаяся «от старого до нового хлеба», находится в экономической зависимости от местного кулака-ростовщика. Несмотря на уверения матери, дочь не верит, что когда-нибудь можно будет выбраться из долгов и поэтому решает порвать с семьей. Между прочим, мать девушки, повидимому, является самостоятельной и независимой хозяйкой у себя в семье. В последней строфе поэт говорит о себе и своих поэтических достоинствах. Прием обычный для восточной поэзии.

ГАЗЕЛЬ МУХАММАДЖИ

Лишь только приходит вечер, и царица моя начинает цветами себя украшать,
 Пылает огнем мое сердце...
 Лишь только приходит вечер, царица моя, надев ожерелье на шею, с подругами вместе
 идет на прогулку...
 Бархат локонов темных ее блестит от черного масла,
 Как сито, пронизано сердце мое!...
 Бутоны розы подобна она, как кабульская цапля, нарядна...
 Пылает огнем мое сердце!
 Бутоны розы подобна она, когда красным кисейным шарфом накрыла головку свою...
 Она прекрасна, как солнце!..
 С известием дева младая спешит, то к одной, то к другой подбегает подруге, вокруг
 себя всех собирает...
 Нет! То был букет цветов, для мучений влюбленных он собран!
 Пылает огнем мое сердце!

¹⁾ Реди́ф—созвучные или одинаковые слова, стоящие в каждом стихе после основной рифмы. Напр., в четверостишии Омара Хайяма:

Сосуд с вином душистым ведь ты разбил, господь,
 Дверь радости и счастья ты мне закрыл, господь!
 Вино мое на землю ты чистое пролил...
 Карай меня! Но пьяным не ты ли был, господь!

(Перевод Л. С. Некора).

Основная рифма здесь в словах: разбил, закрыл, пролил, был. Реди́ф—господь.

По ступенькам идут к реке, меж собою щебечут, брызжут водой на длинные кудри свои... Затем поют песни..

А когда домой приходит она, говорит своей матери... плачет..

Пылает огнем мое сердце!..

Когда же домой приходит она, своей матери так говорит:

Посмотри! И рангин ¹⁾ нет у меня!

И зеркала нет у меня!

Ни шерстяных туфель, ни румян нет у меня!

Даже родинки крохотной нет у меня! ²⁾

А когда за водой я иду, надо мной подруги смеются!..

Пылает огнем мое сердце!

Отвечает ей мать:

Моя дочка, нет у нас денег; теперь у нас ничего нет!..

Но жатва настанет, и бог нам поможет долги заплатить.

Посмотри на нашу одежду!

Тогда я куплю наряды тебе, пускай они стоят сто рупий! ³⁾

Пылает огнем мое сердце!

Ей дочь отвечает так:

На тебя я работать не буду больше!

И в поле работать не буду больше!

И из дома сейчас уйду! уйду! уйду я!

Саляр ⁴⁾ ведь никто не носит!

Мухаммаджи плачет, когда приходит в жилище убогое милой.

Пылает огнем мое сердце!

Мухаммаджи говорит: «пусть врагов у меня и соперников сотни!

Против всех их пылаю я гневом!

Как Гази Сердар Диванэ ⁵⁾, я делаю также,

Я их всех разбиваю!....

Как воики из джунглей, трусливо они бегут от меня!

Пылает огнем мое сердце!

При переводе газели Мухаммаджи, в целях по возможности полного сохранения отмеченных выше особенностей конструкции подлинника, прозаический перевод предпочтен стихотворному. Нам кажется что при переводе восточных поэтов, нельзя строго держаться какого-либо одного метода, переводить ли их прозой или стихами. Хотя сторонников, например, только прозаического перевода имеется много. Пожалуй, лучше сообразоваться с особенностями каждого поэтического произведения в отдельности, и тем более это необходимо при передаче образцов народной поэзии. Этот подход применен и в отношении следующих, весьма популярных в Афганистане газелей, принадлежащих поэтам Тевекколю и Мухаммадину Тили. При переводе песенки Тевек-

¹⁾ Рангин—праздничное, нарядное платье.

²⁾ Искусственная родинка на лице—одно из любимых украшений восточных женщин

³⁾ Рупия—серебряная монета.

⁴⁾ Саляр—грубое, полосатое платье.

⁵⁾ Диванэ Баба—один из наиболее чтимых святых в области Сват.

коля, например, оказалось возможным употребить весьма приближающийся к подлиннику музыкальный ритм,—примерно одинаковое количество слогов в каждом стихе, сохраняя при том почти полную буквальность перевода, строка в строку.

ГАЗЕЛЬ ТЕВЕККОЛЯ

Милый друг мой! опьянен я!
От тебя схожу с ума я!
Без тебя не жизнь, а горе—
Как кебаб, сгорает сердце.

Соловей прощелкал громко,
И на розу села пчелка.
Завтра их уже не будет.
Милый друг мой, опьянен я!..

Покажи свои мне глазки...
Сердце жаждет твоей ласки...
Улыбнись хоть раз, родная!
От тебя схожу с ума я!

Градом пусть летят камня¹⁾,
Я найду в себе терпенье
Нищим быть твоим до гроба!
Милый друг мой, опьянен я!

Тебя будет в песнях славить
Тевекколь до самой смерти.
Верный раб я моей милой!..
Милый друг мой, опьянен я!
От тебя схожу с ума я!

В газели поэт сравнивает свое сердце с кебабом, т.-е. жарящимся на пылающем огне мясом. Образ этот весьма распространен в восточной поэзии.

Песенка Мухаммадина в подлиннике по форме весьма выдержана, каждая строфа состоит из трех строк, при чем третья строка повторяется в виде припева: «раша Харо»—приди Харо.

В первой строфе подлинника рифмуются все три строки, в последующих—лишь вторая и третья (припев). Любопытно, что подобное построение весьма напоминает итальянскую народную строфу «сторпелли».

Ритм перевода газели Мухаммадина лишь напоминает ритм подлинника, хотя припев остался на месте—в соответствии с подлинником. Самый перевод сделан почти слово в слово. Упоминаемая в песенке «зеленая родинка между бровей»—одно из любимейших украшений восточных женщин.

¹⁾ Подразумевается холодное отношение любимой девушки к поэту.

ПЕСЕНКА МУХАММАДИНА ТИЛИ

Приди! Я тебя умоляю!
 Приди, Харо...
 Тоскливо кричат попугай ¹⁾
 Уже давно!
 Приди, Харо!
 Я пери ²⁾ прекрасней, и весь я
 Сама любовь...
 Красны мои десны, как сахар
 Мои уста...
 Приди, Харо!...
 Черны твои кудри и запах
 Лаванды в них...
 Как стебель цветка твоя шейка
 Тонка, нежна...
 На белом лице твоём розы...
 Приди, Харо!..
 Зеленая родинка смотрит
 Между бровей.
 Как жизнь у Маджнуна ³⁾ разбита
 Вся жизнь моя...
 Сижу одиноко и плачу,
 Приди, Харо!
 Сказал Гуль-Низа мне, что главки
 Моей Харо
 Ласкает и нежно целует
 Их Ханум Джан...
 А слез сколько горьких я пролил.
 Приди, Харо!
 Совсем опьянен и помешан
 Мухаммадин!
 Он просит лекарства—он болен
 Уж целый год!
 Приди, Харо!..

Вторая газель Мухаммадина, приводимая нами, построена по классическому типу персидской газели. Качание «певвана»—один из любимых образов у афганских поэтов (певван—кольцо, которое афганские и индусские женщины особенным образом привешивают в виде украшения к носу).

ГАЗЕЛЬ МУХАММАДИНА

Всю жизнь свою тебе я посвятил...
 О, подари один лишь взгляд, родная!
 Сорочку я слезами омочил,
 В тоске глубокой без тебя, рыдая!

¹⁾ Попугай—в восточной поэзии птица несчастной любви. Крик его сравнивается со стоном отвергнутого влюбленного.

²⁾ Пери—по религиозному учению парсов—сверхестественные существа, наделенные чарующей красотой.

³⁾ Маджнун—герой арабо-персидской романтической поэмы «Лейла и Маджнун».

Сорочку я слезами омочил...
 Мне сердце раз'едает дым горючий...
 Смотреть мне на тебя нет больше сил...
 Закрой лицо кудрями и не мучай!..
 Упившись ими, я сошел с ума.
 О, дай—скорей к твоим губам прильну я!..
 Уста как розы!.. ты восторг сама!..
 Певзан, качаясь сверху, их целует...
 Мухаммадин любви не заслужил—
 Ему ты изменила, о, родная!

Хотя при переводе газели нами допущены бóльшие вольности, по сравнению с предыдущим образцом, но все же содержание каждой строки почти буквально соответствует содержанию соответствующей строки афганского текста...

Такова поэзия «думов», поэзия уходящего Афганистана. Новый Афганистан идет ему на смену гигантскими шагами. Творцом этого—нового Афганистана является молодая европеизировавшаяся афганская интеллигенция, осознавшая отсталость своей страны, призывающая ее к культурному совершенствованию, и вместе с тем борющаяся за сохранение национальной независимости своего отечества. От поэзии «думов» до поэзии передовых, образованных афганцев—дистанция огромного размера. «Газель» осталась газелью лишь по форме. Любовное содержание ее отошло на последний план, поскольку об этом можно судить по современной афганской прессе, в которой отдел «аэдабият», т.-е. художественной литературы, представлен довольно широко. Забыт мускус локонов возлюбленной, родинки, лежание у порога, сгоревшее от любви сердце и прочие аксесуары восточной лирики. Наука, независимый Афганистан, национальная гордость, призыв к трезвой, трудовой жизни—вот обычные темы в современной афганской художественной литературе. Мы не заботились о стихотворном переводе избранных образцов этой новой лирики Афганистана. Что же касается формы ее, то она остается еще в цепях старых классических традиций, и в этом отношении мы почти ничего не можем прибавить к сказанному выше.

Вот, например, характерная по содержанию «газель»; в своем роде афганское—«Что ты спишь, мужичок!»:

Эй, вставай! Довольно спать!
 Если ты с умом, вставай!
 Брось беспечность и беззаботности!
 Иди к своей цели!
 И беспечность, беззаботность брось!
 Праздность и лень не украсят тебя!
 Посмотри вокруг себя. Все умные работают, а ты все еще спишь!
 Если ты человек, возмись за ум!
 Подбодришь, ведь ты человек!
 Молитвы не помогут тебе, если ты останешься таким же беспечным!
 Ты ничего не добьешься!
 Все разбойники с большой дороги и воры
 Уже достигли своей цели.
 Почему же ты, наконец, все спишь!

Бери пример с воров — они и ночью не спят!
 А ты все спишь!
 Воры и разбойники уносят то, что они вяли...
 Bravo, беспечность! Bravo, беззаботность!
 Довольно спать! Довольно спать!¹⁾

Темы о пользе науки, знания и школы тоже фигурируют весьма часто. Даем отрывок из «газели» на подобную тему:

... Вечер, проведенный в школе—светел как день!
 Школа, это—цветник, в котором растут благоухающие розы!
 Она самого несчастного человека делает баловнем судьбы.
 Школа делает тебя химиком счастья!
 От безделья и лени лучшее лекарство—наука и школа!
 А когда ты окончишь школу, то даже ювелир придет в изумление
 От массы рубинов и прочих драгоценных камней, которые ты вынес
 из рудника школы!²⁾...

Весьма показательны две газели поэта Махмуда Тарви³⁾, в которых он бросает вызов лучшему персидскому поэту прошлого века и «мелодичнейшему» из всех поэтов Персии⁴⁾, Каани (ум. 1853 г.).

Приведем текст газели Каани, в котором тот воспевает свою возлюбленную, афганский поэт заявляет:—«это говорит Каани, я же говорю вот так!». Затем, переделывая каждый стих Каани, Махмуд Тарви продолжает:

Что я сделаю для жизни?
 Родина, ты—жизнь моя!
 Ты мое счастье, ты моя радость!
 Родина, ты—правдник мой!
 Если ты уйдешь от меня,
 Родина, ты—смерть моя!
 За мою честь и мою веру,
 Родина—заступник мой!
 Родина, ты моя Кааба!
 Ты для меня свята, как первая сура⁵⁾ Корана!
 Ты мое благословение!
 Любовь к тебе в моей душе, как нити основы в ткани!⁶⁾

Подобным же образом Махмуд Тарви отвечает на газель Каани, в которой воспевается вино. Хвалебный гимн вину персидского поэта получает в переделке Тарви следующий вид:

Вино! Вино—вода несчастий всех и бед
 И знай его губительный огонь!
 Не пей вина, не пей вина!
 Иначе станешь безумцем...

¹⁾ Журн. «Серадж-и Эхбар-и Афгание», 1913, № 11, Кабул.

²⁾ Журн. «Аман-и Афган», 1921, № 45, Кабул.

³⁾ В наст. время афганский министр иностр. дел.

⁴⁾ E. Browne, Persian literature in modern times (1500—1924).

⁵⁾ Сура—глава.

⁶⁾ «Серадж-и Эхбар-и Афгание», 1913, № 5.

Ты станешь хуже гебра ¹⁾, хуже дервиша...
 Будь ближе к людям и истине! Не стесняйся...
 Опium и гашиш подорвут твоё здоровье!
 Подобно иогу ты не сможешь работать! ²⁾...

В первой строке допущена, непереводаемая по-русски, игра слов, основанная на созвучии слова «шираб»—вино, напиток (от арабского глагола «шариба»—пить) со словами «ширр»—зло и «аб»—вода...

Мировая война, а также события до и после нее нашли яркое отражение в афганской поэзии. По поэтическим достоинствам и глубине содержания особенно выделяется баллада, посвященная разгрому Турции Балканскими государствами накануне мировой войны. Написано стихотворение в форме «тарджибенда», т.-е. в конце каждой строфы его имеется повторяющийся припев, состоящий из двух рифмующихся между собою полустихий, связанных с нею общим смыслом. В подлиннике баллада оставляет значительно более сильное впечатление, чем в переводе:

Ночь темна! Темна, как локоны возлюбленной!
 Вокруг меня лес... лес... Мрачный, полный ужаса лес...
 Какими-то чудовищами кажутся деревья... Ветер и дожди..
 А земля покрыта кровью! Повсюду трупы... окровавленные тела повсюду!
 Я в ужасе... Я дрожу от страха... Я медленно иду вперед.
 Но что это предо мной? Могила! мрачная могила... Могильный камень!
 Я холодею от ужаса. Я не в силах итти дальше. Я опускаюсь на землю, чтоб
 притти в себя...

Но нет! Не прошло и мгновенья, и заунывный стон доносится до моего слуха,—
 Стон, заглушенный рыданиями...

И я улавливаю слова:

«Мы свидетели варварства европейцев...
 От крови Родины мы красны, как тюльпан!»
 Я поражен. Откуда эти слова? Где я?...
 И снова сквозь рыдания—голос:
 «Это Румелия, страна отцов наших. Мы невинные
 Мужчины и женщины, старики и дети...
 Мы замучены... мы перебиты!..
 Знай же наших палачей! это сербы, греки и болгары...
 Чем виноваты мы? Разве что мы—другой веры!
 Мы не держали ружей в руках, мы не обнажали сабель...
 Мы свидетели варварства европейцев.

От крови Родины мы красны, как тюльпан!»
 Услышав я эти слова и чувствуя, как сознание покидает меня.
 Вдруг перед моими глазами—другая картина:
 Три странных существа, три скелета вышли из-под земли...
 Со стоном и рыданием приблизились они к могильному камню.
 И я услышал их разговор:—Нас замучили, нас убили те дикари!
 Идем напишем завещание нашим потомкам, особенно братьям афганцам. Пусть
 они остерегаются злодеев европейцев.

Мы свидетели варварства европейцев
 От крови Родины мы красны, как тюльпан!»³⁾.

¹⁾ Парсы или гебры—огнепоклонники, живут частью в Персии (ок. 10.000 чел.), частью в Индии (ок. 100.000 чел.).

²⁾ «Серадж-и Эхбар-и Афгание, 1913, № 4.

³⁾ То же, 1913, № 11.

Беззащитная империалистическая политика Англии по отношению к Афганистану, продолжающаяся уже много лет, принесла свои плоды. Ненависть к англичанам нашла отражение в современной афганской поэзии.

Вот отрывки из весьма любопытной по содержанию «газели». В начале ее автор восхваляет могущество и отвагу афганцев, сумевших добиться независимости страны, затем говорит:

Мы видели, как не один раз когти сокола
Терзали тело афганца.
Британия не один раз нападала на нас, пытаясь сокрушить наше дело!
Сколько полей битв засеяла она в Афганистане,
А что пожалала? Ничего кроме разочарования!
Сколько раз она, злодейка, прикидывалась нашим другом,
Говоря нам о наших достоинствах и нашей силе!
Послушайте же, что обнаружилось:
Друг Афганистана превратился в хищного сокола!..

Далее поэт прославляет эмира Аманулла-хана, сравнивает его с солнцем, «озарившим непроглядную ночь Афганистана», и перечисляет заботы эмира о поднятии культурного уровня страны. Заканчивается газель так:

Много препятствий было со стороны коварного сокола,
Но у нас есть друзья... У нас братская Турция...
Персия стала другом Афганистана...
С Россией наше мудрое правительство заключило почетный договор ..
Америка—наш искренний друг!
Германия стала другом Афганистана!
Италия, Франция и Япония признали силу Афганистана!
О, родина! Мы—мотылек твоей свечи!
Мы готовы погибнуть за дело Афганистана!¹⁾

Приведенные поэтические образцы, несомненно, свидетельствуют о громадном подъеме национального чувства и культурном сдвиге, обнаружившемся среди передовых, образованных слоев афганского общества. Сдвиг этот еще не распространился на массы афганского населения, живущего вдали от культурных населенных центров и иногда не совсем понимающего персидский язык, на котором предпочитают писать образованные афганские поэты. Там еще до сих пор больше слушают песни «думов»...

¹⁾ «Ашан-и Афган», 1921, № 47.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. ЕВГ. БРАУДО. Бетховен, как явление культуры.—II. НИК. СМЕРНОВ.—На озаренной земле.—III. Г. ЯКУБОВСКИЙ. Летопись царской войны.—IV. Я. ФРИД. Шарль-Луи Филипп.—V. Ф. РОГИЙСКАЯ. Древне-русское искусство перед судом берлинской прессы.—VI. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. Чубаровская бацилла.—VII. ИГН. СТЕЛЛЕЦКИЙ. Неолитическая азбука.—VIII. С. АЛЫМОВ. Порхающие полотенца.

I. БЕТХОВЕН, КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Евг. Браудо

Огромный размах, который, повидимому, приобретут Бетховенские торжества, свидетельствует о том, что Запад и советская общественность придадут этому празднеству значение огромного культурного акта. Бетховенские торжества имеют, несомненно, обще-массовую установку. Действительно, Бетховен, стоящий на грани двух столетий, безгранично усилил выразительность музыки, приблизив ее к восприятию массового слушателя. Огромный сдвиг в музыкальном искусстве был последствием глубочайших перемен в социальной психике передового отряда того класса, к которому принадлежал и сам Бетховен. Но до сих пор наука к этому гигантскому явлению музыки подходила почти исключительно с эстетической точки зрения. Литература о Бетховене полна всевозможных сентиментальных разговоров о величии бетховенских переживаний, о высоком его личном благородстве, но до сих пор плохо выяснена общественно-бытовая обстановка, в которой он творил и проникал своей музыкой в сознание европейского слушателя. Но чем больше мы вслушиваемся и вдумываемся в музыку Бетховена, тем более проникаемся сознанием, что Бетховен не только музыкант, но и, раньше всего, в его музыке отразилось то, что переживала тогдашняя де-

мократия, и что он, пожалуй, в еще большей мере проповедник нового мировоззрения и поэт, чем «композитор нот».

Самым интересным и существенным вопросом при анализе такого явления культуры, [как Бетховен, является выяснение его отношений к величайшим общественно - политическим событиям его времени, все изменившимся, все обновившим в общественном культурном укладе эпохи великой французской революции. Как вождь, как борец с общественной застылостью господствующего класса, как человек, никогда не склонявший своей головы перед властью, безгранично верящий в торжество свободы и социального равенства, он совершенно неотъемлем от идей революции, зажегшейся в дни его юности во Франции. Но, к сожалению, материал для суждения о его общественном мировоззрении—в виде воспоминаний современников или собственных писем Бетховена, или записей его дневников—довольно скуден, и научному исследованию приходится проделать довольно сложную «реставрационную» работу, чтобы установить, как отражалась вся бытовая обстановка на формировании характера и росте творческих сил Бетховена. В отдельных случаях мы в состоянии еще расшифровать стертые

следы, восстановить разорванную нить, тянущуюся к нему от окружающей общественной действительности.

Лучше всего обследованы детские и юношеские годы Бетховена, слабее средний период, и ничтожнее всего наши сведения об эволюции политических взглядов Бетховена за последнее 5-летие его жизни. Между тем, еще при жизни Бетховена курсировали многочисленные, иногда и немного приукрашенные, рассказы об его свободомыслии, сочувствии революционной Франции. Еще до сих пор, несмотря на ясно ощущаемую связь Бетховена как с политической, так и с искусством великой французской революции, нет хорошо и точно обработанной монографии на эту важную тему. Мы отнюдь не обольщаем себя надеждой в сжатой статье исчерпывающе осветить этот вопрос, но попытаемся на основании имеющегося материала социологически проанализировать общественные корни бетховенского искусства.

Бетховен, как известно, родился в 1770 г., и события французской революции встретил 20-летним юношей. Во всех отраслях немецкого искусства в ту пору, когда Бетховен стал выходить на путь самостоятельного творчества, как в сейсмографе после землетрясения, наблюдались колебания иглы, отмечающей подземные толчки. Творческий аппарат совершал регистрирующие функции, хотя художникам того времени далеко не ясны были самые причины этих могущественных возмущений в тогдашнем обществе. Бесплодно было бы, например, искать даже у наиболее ярких представителей немецкой литературы и философской мысли конца XVIII в. какого-либо активного политического отклика на революционные события, развертывающиеся в грандиозном масштабе во Франции, по ту сторону Рейна. Немецкое передовое общество в лице великих поэтов—Шиллера, Гете, философов—Канта, Фихте и Гегеля, ничем себя не проявило в области прямой борьбы, оставшись—по меткому выражению Гейне—якобинцами в царстве грез, мысли и в царстве слов. Но все же германская интеллигенция к концу XVIII столетия, когда

Бетховен впервые выступает как самостоятельный художник и музыкант-общественник, стала просыпаться к новой жизни. Именно в эти годы, сделавшие немецкий народ «народом поэтов и мыслителей», она выступает на борьбу с абсолютизмом, религиозными предрассудками, и в наиболее крупных немецких культурных центрах начинает создаваться атмосфера свободомыслия и свободомыслия, в высшей степени благоприятствовавшая развитию того высокого гражданского пафоса, общественного оптимизма, которыми так дорог в настоящее время для нас Бетховен.

Маленький городок Бонн, в котором родился Бетховен, уже по самому своему географическому положению благоприятствовал ознакомлению молодого музыканта с новыми революционными явлениями во Франции. Город расположен был на левом берегу Рейна, обладал сравнительно развитой общественной жизнью, и в начале 90-х годов маленькая прирейнская область, бывшая родиной великого композитора, очень чутко отражала события, развернувшиеся в Париже. Живительным вихрем пронеслась в начале 90-х годов весть о том, что налоги должны быть распределены равномерно, а закабаленные крестьяне должны освободиться от жестокого гнета, на них тяготившего. Имеются сведения о том, что это брожение выяснилось в виде подачи «предерзостной» петиции.

Сохранилось чрезвычайно интересное описание прирейнской области конца XVIII в., сделанное образованнейшим немецким писателем, Георгом Форстером, сторонником французской демократии и председателем рейнского конвента 1793 г. Безотрадную картину рисуют его «Виды Рейна!» В маленьком и небогатом Бонне хозяйничали курфюрсты-епископы, весьма склонные, несмотря на свой духовный сан, к светским удовольствиям. «Огромные суммы, — сообщает бытописатель нижнего Рейна, — тратились курфюрстами на пышные экипажи, редкую мебель, блестящие и придворные празднества, маскарады, оперы, всяческих шарлатанов и мошенников, балетных танцов-

щиц и певца». Эти суммы получались от усиленных налогов на предметы первой необходимости. Безумные траты, прославившие на всю Германию боннский двор, вели к постоянным денежным затруднениям, которые раньше всего отзывались на мелких придворных служащих, к числу которых принадлежала и семья Бетховена. Это обстоятельство заставило отца композитора очень рано заняться эксплуатацией таланта своего сына.

Контраст этой расточительной роскоши и жесточайшей бедности, в которой воспитывался Бетховен, был совершенно разителен. Отец и дед Бетховена были музыкантами в боннской придворной капелле. Обоим пришлось испытать незавидную долю придворной службы тупоумно-реакционных курфюрстов. Мать Бетховена происходила из среды мелких придворных служащих. Она была дочерью повара. С 5-летнего возраста Бетховену приходилось ускоренным способом обучаться игре на различных инструментах, дабы в возможно кратчайший срок он сделался доходной статьей для нуждающейся семьи. Чрезмерно ранняя эксплуатация его исполнительского дара вырабатывает в ребенке черты крайней нервности, но, вместе с тем, в силу сопротивляемости характера, известную гордость и подчеркнутое чувство независимости. 11-ти лет он подпадает под сильное влияние своего первого серьезного учителя—Христиана Готлиба Неефе. Последний был широко образованный человек, начитанный в литературе, поклонник моральной философии своего времени, и для нас нет никакого сомнения в том, что он привил своему ученику не только музыкальные знания, но и определенные нравственно философские воззрения. По крайней мере многое из руководящих принципов его жизнепонимания, типичное для передовой мелкой немецкой буржуазии, в неприкосновенном виде возвращается потом в более поздних записях Бетховена. Геллерт, Моисей Мендельсон, Клопшток—наиболее распространенные поэты и мыслители эпохи сентиментальной добродетели—долго держали в своем обаянии

самого Бетховена, являясь подножием его гигантского симфонизма.

19-летним юношей Бетховен записался студентом боннского университета по философскому факультету. В это время Бонн, несмотря на зависимость от довольно тупого курфюрста, считался «убежищем наук», и в 1785 г. с пычными церемониями открыт был на месте более ранней «высшей школы» университет с 4 факультетами. Университет взят был под бдительный надзор папской курии, и в течение короткого времени часть изданных его профессорами работ попала в список запрещенных книг. Один из профессоров—друг молодого Бетховена—Евлогий Шнейдер, преподававший теорию изящных искусств, автор горячей оды «На взятие Бастилии», в конце 80-х годов был уволен за распространение опасных лжеучений, эмигрировал во Францию, дело доходило как в Бонне, так и в близлежащем Кельне, до студенческих беспорядков, что явствует из декрета курфюрста 1789 г., согласно которому всем выпускаемым в этом году студентам, в виду их неблагонадежности, запрещалось занимать какие бы то ни было церковные или светские должности.

В университете Бетховен, по всей вероятности, ознакомился с философией Канта, оставившей неизгладимые следы на всем его мировоззрении. Вероятно, в Бонн проник также и Руссо. Во всяком случае, какое-то знакомство с вершинами тогдашней философии Бетховен вынес в эти юношеские годы. Повидимому, он так же много читал по немецкой литературе изящной и еще больше, повидимому, античных классиков—Платона, Плутарха, Гомера, которого он особенно любил, Горация, Овидия, из немецких классиков—Клопштока, Шиллера, Гете и других современных поэтов, даже второстепенных, в которых он был очень осведомлен и знал их лучше, чем кто-либо из его собратьев-музыкантов. В более зрелом возрасте Бетховен особенно увлекся Шекспиром. В этом отношении он был сыном своей эпохи. В более зрелом возрасте Бетховен все глубже уходил в античную поэзию, стараясь у Плу-

тарха, Квинтилиана найти ответы на волнующие вопросы этического и художественно-философского характера.

По мере того, как политический горизонт западной Германии стал насыщаться электрическими разрядами, источник которых был по ту сторону Рейна, в Париже, в Бонне стали распространяться все больше и больше юпошеские произведения Шиллера, в которых заключалось немало революционной энергии, волновавшей молодежь, в том числе и Бетховена. Сохранилось лишь глухое воспоминание о том, что в начале 90-х годов последний был «яростным республиканцем». Никаких писем Бетховена, хотя бы намеком говорящих о его политических взглядах той поры, до нас, к сожалению, не дошло. Единственное очень примечательное его письмо на эту тему относится к несколько более позднему времени. Скудость документального материала заставляет нас поэтому ограничиться одними догадками. Но замечательно, что первая мысль Бетховена о создании гимна на тему шиллеровской оды «Гимн к радости», прообраз финала «9-ой симфонии», где он делает вывод из массовой всечеловеческой музыки великой французской революции, относится еще к боннскому периоду.

Осенью 1792 г. 22-летний Бетховен переехал в Вену, не предполагая первоначально оставаться там очень долгое время. Едва ли он предчувствовал, что на целых 34 года, до конца своих дней, он останется связанным с этим городом. Для провинциала, не имевшего серьезных учителей, Вена, где жил в это время великий Гайдн, рисовалась чем-то вроде последней музыкальной инстанции. Здесь Бетховен надеялся изучить не только все подробности музыкального мастерства, но и развернуться во всю ширину своих творческих сил. Так впоследствии великий реформатор музыкальной драмы—Рихард Вагнер—мечтал о Париже. Так же, как и Париж, Вена далеко не была той обетованной землей, как обыкновенно ее представляют в музыкальной литературе. Не забудем, что гениальный предшественник Бетховена, Моцарт,

скончался здесь в нищете, вследствие равнодушия к нему венской публики.

Способствовал ли венский быт, венская общественность быстрому самостоятельному росту творческих сил молодого гения? Вена конца XVIII ст. была городом политической реакции. Не располагая многочисленным и независимым «3-им сословием», она в политическом отношении значительно отставала от передовых европейских центров. Некоторые либеральные начинания «сверху», к концу 80-х годов кончились полным крахом. Лозунги французской просветительской философии не прошли бесследно и для венцев, но, не имея возможности свободно высказываться по важнейшим вопросам политики, верхи венской буржуазии—профессура, служилая интеллигенция—увлекались отвлеченными вопросами морали и эстетики, и, поскольку страна не была еще разорена войнами, жизнь носила южный отпечаток: вино, танцы и мелодически доступная музыка играли большую роль. Правительство искусно умело пользоваться этими отвлекающими моментами, поддерживая, таким образом, смесь демагогии и абсолютной кастовой замкнутости, типичной для высшей аристократии, на которую монархия опиралась. В городе господствовал строгий полицейский режим: чувствовались грозные симптомы растущего недовольства и ненависти к господствующей феодальной знати. Тяжесть австрийского полицейского режима, ничем не уступавшего николаевскому в России, Бетховену не раз пришлось испытать на себе. Что Бетховен не оставался глух и слеп к политике—судьбе народа—явствует из нескольких замечаний в его письмах середины 90-х годов, где глухим, почти эзоповским языком, Бетховен сообщает своим друзьям на родине о симптомах надвигающейся революции в Вене. Отделенный от общения с массами кругом аристократических салонов, где он за сравнительно короткий срок составил себе имя блестящего виртуоза и «модного» педагога, Бетховен отнюдь не поддавался идеологии этого общественного класса, сохраняя свой независи-

мый демократический облик и возмущаясь, например, тем, что один из его знакомых назвал его в письме «кавалером» («Стыдитесь этого столь неподходящего для нашего демократического времени титула». — Письмо к Н. Зимбергу от 2 августа 1794 г.). Мы знаем далее, что с ним ведутся переговоры о написании революционной фортепианной сонаты, но Бетховен отвергает эту мысль, так как он чувствовал отвращение к настоящему времени, старающемуся перевести жизнь на «старые» пути. Среди нравственно одичавшей касты аристократов, тратившей бешеные деньги на всяческие развлечения и образовавшей в бетховенской Вене своего рода государство в государстве, отделенное от окружающего мира глухой стеной, Бетховен держался с удивительным достоинством. Как у человека, уверенного в своем праве на самостоятельное существование, есть нечто вызывающее, атакующее в музыке и жизненном поведении Бетховена этой эпохи. Еще в Бонне он сочинил хор на текст «Свободный человек». Не преклонялся ни перед кем, не поддавался никому насилью, итти через тысячи опасностей к окончательному утверждению — таков лейт-мотив его двух сильнейших произведений первых годов пребывания в Вене — «Героической симфонии» и оперы «Фиделио».

«Героическая симфония» — наиболее сильное выражение связи Бетховена с идеями великой французской революции. Толчок к ее созданию был дан еще в 1798 г. посланником французской республики при Венском дворе, генералом Бернадотте, призывавшим австрийских композиторов почтить героя революции, Наполеона, особой симфонией. В те времена Наполеон выдавал себя за исполнителя велений революционного народа, и самое название консула, принятое им в 1799 г., представлялось Бетховену каким-то обетом служения республике. В Наполеоне он видел тогда не воина, а организатора Франции на новых демократических началах. И более, чем кто-либо из его современников, он предавался этой иллюзии. Недостаточная осведомленность Бетховена повлекла через несколько лет

за собой резкое разочарование в этом «герое революции». Симфония его, озаглавленная первоначально «Наполесн», получила впоследствии новое название «Героическая».

Борьба, носящая в себе бесконечно много скорби, борьба героической натуры, ведомая с крайним напряжением силы воли, — таковое содержание «Третьей симфонии». Ее формулы, общие с «Пятой» и «9 симфониями», — непреклонная решимость бороться до конца, непоколебимая вера в победу, смешение красок блестящей мужественности с колоритом меланхолического раздумия, сплетение личных страданий с судьбами масс, ввергнутых в мировой переворот. Вся ее музыка проникнута тем «*l'an terrible*» музыкальным революционной музыки, признаками которой были типичные маршевые мотивы наэлектризованной толпы, оросящейся на приступ Бастилии, широкое пользование фанфарами. Во всех частях симфонии военно-революционные ритмы проходят красной нитью, и все искусство великой французской революции не дало даже приближенно столь характерной формулы революционного движения масс, как в этой симфонии.

Ко времени сочинения «Героической симфонии» имеется ряд воспоминаний о Бетховене, набрасывающих яркими штрихами его внешний облик. Когда Бетховен бывал в обществе аристократов, он держался с необычайным достоинством, вызывая впечатление человека выше того круга, в котором он вращался. Было что-то повелительное в его быстрых движениях и коротких жестах. Творец «Героической симфонии» чувствовал себя абсолютно господином положения в музыкальном мире и не скрывал своего гордого пренебрежения к людям, от которых он, в силу обстоятельств, материально зависел. Гордое сознание высокой ценности своих произведений сочеталось у него с глубокой гражданственностью проповедника новой морали в искусстве и быту. Застылость в общественных отношениях ему была абсолютно чужда. Это был лучший представитель того нового поколения людей, которое жаждало сделаться всем, сломив сопротивление старой

реакционной Европы. Человек стихийной честности, прямоты, цельности, столь могуче мечтавший о радости, так страстно, как истый ученик Руссо и просветительной философии XVIII в., любивший природу, Бетховен был своеобразным продуктом революции, воспринятой сквозь призму идеализованных демократических Афин, настоящим оптимистом, человеком, неизменно готовым бороться со стихиями. Его преизбыточное жизненное чувство прорывается буквально сквозь каждую строчку его писем. Насквозь здоровое жизненное ощущение заставляет его созвучно откликаться на разные явления творческой культуры. «Нет трактата, слишком ученого для меня», — пишет он однажды. Новые открытия интересуют его не меньше, чем политические выявления. В Вену приезжает исследователь полярных стран Пери и читает публичные лекции. Бетховен, по собственному выражению, отправляется на северный полюс. Изобретатель Яков Деген делает свои опыты по воздухоплаванию, и Бетховен «не может отказать себе в том, чтобы самому заняться этим вопросом». Бурная жажда знаний, проявлявшаяся у Бетховена, как и все, иногда с комической неуклюжестью, характеризует сына эпохи первоначального роста индустриализма. Во времена Бетховена, удачный патент на изобретение считался более завидным, чем богатое имя.

Еще несколько слов о отношении зрелого Бетховена к литературе своего времени. Юность и пора зрелого творчества Бетховена совпали с периодом расцвета немецкой классической литературы. Его любимыми писателями были Шиллер и Гете, особенно последний. Бетховен глубоко изучил его поэзию, вдохновляясь ею на лучшие свои произведения, как музыка к «Эгмонту», отдельные романы. Каждое стихотворение, избираемое им для композиции, должно было содержать какую-то глубоко продуманную мысль или по своему эмоциональному содержанию отвечать его жажде сильных, ярких ощущений. Если внимательно всмотреться в музыкально-вокальные произведения Бет-

ховена, то, наряду с некоторыми песнями юмористического характера, в них преобладает настроение героизма гражданственности. С точки зрения тех же требований, Бетховен избрал и сюжет для единственной своей оперы «Фиделио», написанной почти одновременно с «Героической симфонией». Он искал сюжета, об'емлющего все лучшие стороны человеческой природы: преданность долгу, самоотверженность, наличие страстей выше обихованного человеческого масштаба. Характерно, что такой текст Бетховен нашел опять-таки у либреттиста эпохи великой французской революции, Николая Буи, бывшего в революционные годы администратором Турецкого департамента. Выбранный Бетховеном сюжет относился к так называемым «операм ужасов», выдвинутым в эпоху великой французской революции. Борьба со всевозможными опасностями, всегдашняя угроза смерти, нависшая над людьми революционной эпохи, — таковы их основные мотивы. Характерно, что даже в реакционной Вене такой текст имел все шансы на успех у широкой публики.

Что Бетховен до конца своих дней оставался верным демократическим идеалам своей юности — может считаться установленным. К материалу писем, воспоминаний современников в последнем этапе его биографии присоединяются еще и так называемые разговорные тетради, куда собеседники оглохшего Бетховена вписывали свои вопросы и иногда в письменной же форме получали от него ответы. Класс, выдвинувший Бетховена, в последние годы его жизни обрек его на одиночество. «Разговорные тетради», однако, свидетельствуют о том, что в круг интересов чудака-отшельника прежде всего входили вопросы политики, естественно права, философии, занимавшие тогда демократическую интеллигенцию. Творец «9-ой симфонии», которая на наших глазах сделалась революционно-массовым гимном, оставляет в своей библиотеке ряд книг, которые полицейские ищейки австрийской реакции первым делом спешат критиковать, как вредные для общественного спокойствия. Было

бы величайшим заблуждением видеть в стареющем Бетховене какого-то отщепенца от живой исторической действительности. До самых последних дней этот радостнейший из художников всегда горячо откликался на ее зовы.

II. НА ОЗАРЕННОЙ ЗЕМЛЕ

(Творчество Ив. Соколова-Микитова)

Заметки

Ник. Смирнов

Есть странные — на взгляд «трезвого» горожанина — люди: мечтатели, видящие в дыму уходящего поезда кавказские предгорья или синеющие морские волны, охотники, для которых первый весенний ветер кажется тревожным гулом гусиных крыльев, художники и поэты, без нужды, казалось бы, странствующие по морям и равнинам.

За лесами — страны чудесные. За морями — земли великие...

Ив. Соколов-микитов — один из писателей-путешественников, один из художников, в творчестве которого поражает, прежде всего, обилие солнца, небесной синевы, теплого звездного света.

«Я гляжу на звезды, на море, на зеленеющую полосу рассвета и говорю себе вслух то, что буду говорить всегда:

— Человеку одна на земле радость: видеть, узнать и полюбить мир...» («Голубые дни»)¹.

Он любит мир древне и прочно, почти язычески поклоняясь солнцу.

Он живет на озаренной земле.

Недаром, увидя двух слепых, певца и любимую им женщину с матово-нежными, слезящимися глазами, писатель испуганно и жутко вздрагивает: «какой невнятной, глухой и безумно-страшной должна быть любовь человека, ни разу не видевшего солнца, и как, в сущности, близка эта любовь к преступлению!»

Рассказ «Мрак»²), не совсем обычный для писателя, целиком оправдывает свое название — этот рассказ тяжел и скорбен, как тяжелейшая из человеческих судеб: жить и дышать с закрытыми очами.

Певец, слепой от рождения, но слышавший, что где-то, за гравью его на-

всегда сложившихся век, сияет цветущий небосклон, убивает свою любовницу. «Он знал, что ослепла она недавно... хорошо помнила солнце и людские лица... и к тому, что она помнила, ревновал он ее».

Писатель, коснувшийся творческим взглядом горьких глубин мрака, только с большей силой чувствует и переживает скромное и огромное счастье — видеть: он исключительно здоровый писатель, радующийся своему здоровью и силе.

Он и пишет, главным образом, о людях с упругими мышцами и широкой грудью — эти люди всегда выходят у него живыми, одухотворенными, в то время, как человек, склонный к рефлексии и неврастении, в его произведениях мертвеет: писатель смотрит на него чуть иронически, прищурясь, как мужик — на фарфоровую статуэтку.

Он с радостью слушает рассказ матроса Лоновенко, похожего на богатыря — «силы у меня, дружок, очень даже много» («Голубые дни»), — и почти завороченно любит статным и ладным деревенским великаном... «Бритое лицо его было каменно, серые небольшие глаза светились задорным огнем, из-под закинутой на затылок шапки на низкий лоб выпалились прямые, соломенного цвета, волосы. Узкий, вышитый воротник холщевой рубахи, застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую, загорелую докрасна, шею» («Пыль»).

Творческие корни Соколова-Микитова лежат в пахучем черноземе. О чем бы он ни писал, где бы ни находился, у него везде и во всем чувствуется мужицкое, деревенское начало.

Плавая по морю, он сравнивает парход с глухой, мирной деревушкой («на парходе было мирно, тихо, улив-

¹ «Красная Нива», № 49, 1926 г.

² Сборник «Чижикова лавра», ГИЗ, 1927, стр. 274.

чиво, как где-нибудь на хуторке под Черниговщиной...»), а, прислушиваясь к парходному гудку на Константинопольском побережье, вспоминает о женском голосе, звучащем в лесном затишьи или в колосющихся ржах.

* * *

В писательском облике Соколова-Микитова есть что-то от старо-русских «переходных калик» и гусяров—не случайно целый цикл рассказов он назвал «былицами»,—есть кое-что и от тех нищих романтиков, что ходили от села к селу с рогатым посохом и скудной котомкой. В нем порой чувствуется сказочник или кладоискатель, бредущий за туманно-огненным призраком папоротника.

В одной из своих новелл («Камчатка») Ив. Соколов-Микитов пишет: «От извечной ли тоски русской души по путям и далям или от чего другого,—уж который раз поднимается по деревне тот же слух о чудесной земле-Камчатке».

Слух о «земле-Камчатке», где «много золота и ситного хлеба» (попросту говоря, прибыльной работы), оказывается, конечно, «творимой легендой»: мужики, собравшиеся на Камчатку, возвращаются обратно из первого же уездного города, и, все-таки, собеседник писателя, Васька, не теряет веры в чудесный край.

— Слышно—ни пахать, ни сеять, а золота, как у нас добра на дороге. Счастливый край!

Дело происходит в лесу, на охоте, на привале, и писатель, отдыхая у костра, мечтает все о той же зовущей, необъяснимо-прекрасной стране...

«Я смотрю на огонь, на лес, на Заливая, и мне вдруг начинает казаться, что все возможно, что где-то есть, живет, существует богатая и счастливая земля-Камчатка».

В этой новелле Соколов-Микитов художественно отражает вековое, стихийное стремление крестьянства к лучшей доле, как в другой былице («У ворот») мастерски романтизирует последнего потомка старинных разбойников—авантюриста Митьку Расколина, являющегося якобы «защитником крестьянского класса».

Крестьянские новеллы и былицы—несомненное достижение Соколова-Микитова.

Эти, иногда крохотные, миниатюры переполнены содержательностью, предельно сжаты, скромно, в меру и со вкусом расцвечены образностью. Соколов-Микитов, частично приближаясь в своих былицах к непревзойденному мастеру этого жанра, М. М. Пришвину, обладает даром великолепного рассказчика.

Он рассказывает неторопливо, уверенно, то с иронией и смешком, то с задушевностью и печалью. Язык Соколова-Микитова—подлинно-русский язык: легкий, удобочитаемый, свободный и певучий, хотя в частностях, особенно в крестьянском диалоге: «вот оно какая дело» и т. д. и т. д., не самостоятельный и не первоисточный: бунинский. Писатель еще в большей мере, нежели от Пришвина, зависит от Бунина, но и в эпигонстве своем он всегда и неизменно сохраняет своеобразие и свежесть. Он современник революции, и в скромных зеркалах его слова отражены не только туманы лазурно-снящихся стран, но и текущие деревенские будни.

* * *

Жаркий, летний день, тихая полевая дорога, серебристо-седеющая пыль.

По дороге, по направлению к деревне, идут трое—два мужика и молодой горожанин Алмазов, когда-то владевший в этих краях усадьбой.

— Что ж, теперь родные места проведать идешь?

— Хочу поглядеть,—ответил Алмазов.

Алмазов идет в деревню, собственно, без дела и смысла: там давно не осталось ни усадьбы, ни родных.

Алмазов останавливается у знакомого мужика. В избе мужика безлюдно и тихо. А мужик и изба выглядят по-новому.

«Все в черном мужике было ладно, пригнано, крепко, как в хорошо срубленной избе. И делал он свое дело споро, ладно и весело, точно играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем: лес на избе был ровный, прямой, щитно пригнанный, подоконники дубо-

вые, толстые, стол новый, прочный, печь, занимавшая пол'избы,—велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар был коренаст, устойчив и так же черен» («Пыль»).

Деревня переменялась, выросла, сверстники Алмазова обросли курчавыми бородами, девочка, носившая когда-то в усадьбу благоуханную лесную малину, превратилась в красавицу в малиновом сарафане,—деревня, уже забывающая помещиков, хозяйственно окрепла, закалилась в непрестанном и шумном труде.

Алмазов смотрит, как пляшет молодежь на вечерней улице, заходит на свадебный пир, где плывет протяжная торжественность величальных песен, все еще грустных и древних, заходит на пепелище усадьбы—там в кустах сирени одиноко белеет над фамильным склепом мраморный ангел с раскрытой книгой,—и везде чувствует Алмазов свою потерянность, обреченность и ненужность.

Алмазов пробует косить с мужиками, пьет с мими—в деревне попрежнему много злого, старого, дикого, и через несколько дней уходит обратно по той же жаркой дороге, заваянной серебрястой, сухой, июльской пылью.

Мужики, несмотря на отдельные вспышки прежней вражды, отнеслись к Алмазову спокойно, чуть иронически, а, в общем, безучастно, как ко всякому постороннему прохожему.

В этом рассказе Соколов-Микитов очень умело, тонко и остро справился с трудной и ответственной задачей—показать соприкосание двух вражеских групп (или их представителей) после величайшей из исторических битв.

Избегая всякого даже мельчайшего трафарета и тенденции, писатель дал глубокую, правдивую картину пореволюционного деревенского быта.

И если Алмазов, подлинный «лишний человек», «отживший на дереве лист», органически чуждый писателю—фигура несколько бледная, теневая (не совсем убедительно и не типично его «письмо к другу»),—то мужики, часто показанные лишь мгновенно, удивляют живостью, меткостью и яркостью рисунка. Особенно хороши образы мо-

лодой деревни (Таня и ее жених), уверенной в себе, здоровой, полнокровной и—человечной.

* * *

Человечность, мягкость, взаимно-родственная людская слиянность проникают все произведения Соколова-Микитова. Под суховатым, холодноватым словесным покровом его творчества бьется большое, теплокровное сердце. Конечно, жаркий цветок любви к человеку писатель ищет не на берегах Галилейских озер или в паломнических долинах Ассизи,—он далек и от запыленных евангельских страниц и от бедной схимы Франциска. Его человеколюбие не отвлеченно, а действительно. Оно обречено в труде, в плавании, в борьбе и несчастьях.

«Чижикова лавра», повесть о жизни невольных изгнанников своей родины—прямая дорога к потаенным истокам его человеколюбия. Повесть, художественно уступающая лучшим вещам писателя,—сюжетная ее многопланность легко раз'единима на самостоятельно-живущие элементы, остается, в то же время, крупнейшим «человеческим документом». Это повесть большого социального накала и охвата.

Человечество разграничено на два, смертельно враждующие, стана. «Чижикова лавра», в известной мере, может служить художественным показателем этой борьбы в приложении к современной Европе. Писатель еще раз доказал в этой повести наличие острого глаза и умную вдумчивость. Он превосходный *наблюдатель*, смотрящий на события и вещи глазами «простого человека»—русского крестьянина-интеллигента.

Повторяем, писательские корни Соколова-Микитова—в смоленском черноземе, но деревня слишком тесна для него. Отпавший из пьянящего кубка скитаний, он не может сидеть на одном месте и, в то же время, ему трудно жить без людей:

«Нет, никогда-то, никогда, не быть мне дельным хозяином, никого я не собираюсь учить, и ночевка у охотничьего костра в весеннюю глухариную ночь мне милее теплой постели. Я счаст-

лив тем, что простые люди меня любят, и я люблю людей, что не был я никогда на земле одинок» («Мертвая зыбь»)¹⁾.

Крестьянин в деревне, матрос на палубе корабля, писатель знает и любит людей своего круга. Впрочем, человеколюбие писателя далеко не безоговорочно: прошедший, наряду с кругосветным плаванием, жестокую школу империалистической войны, он всюду, а в деревне особенно, замечает следы дикой и страшной жестокости.

В этом смысле особенно характерен рассказ «В снегах»:

«У нас на деревне рукавиц не снимают, сейчас схапают. А человека зарезать, что трубку выкурить. Да и то сказать: войнушка приучила...»

Тем более своевременен и отраден нескудеющий ручей любви к человеку, отмечающий творчество Соколова-Микитова.

В его «морских рассказах», всегда художественно-законченных и отшлифованных до блеска самоцветного камня, вместе со скульптурными обликами матросов, попадаются зарисовки диких и смуглых туземцев. Они, туземцы, обрисованы все с тем же братственным теплом.

На улице Чарши, возле прохладных мечетей, водоемов и ароматных кофеен, писатель встречает бездомного, нищего бродягу. Писатель садится рядом с ним, заговаривает на особом, интернациональном языке, на языке какого-то первобытного всечеловеческого родства, и чувствует, что этот «обглоданный солнцем и нуждою человек, черный как деготь»,—родной его брат («Чарши»)²⁾.

А в рассказе «Морской ветер» показывает двух арапченков с курчавыми волосами и измученными лицами, случайно обнаруженных в пароходном трюме. Когда их спросили, куда они едут, «тогда тот, что был моложе и чернее, почти мальчик, показал длинной, голой рукой куда-то в зорявшее море.

— Москов, Москов,—сказал он горловым птичьим голосом.

Увы, оба арапченка, мечтавшие, вслед за индусским мальчиком Сами,

о далеком, обетованном городе, были высажены на берег, как «преступившие закон».

На том же пароходе, но, разумеется, не в трюме, а на сверкающей палубе, ехали двое богатых иностранцев, юноша и девушка, закутанные в легчайший, прозрачный газ,—двое людей, перед которыми вежливо склонялся капитан, похожий на полисмена, и за которыми внимательно и с любопытством следили матросы.

Конечно, с особой внимательностью, переходящей в восхищение, следили матросы за девушкой.

Портрет девушки, как он выписан в рассказе, хранит легкую свежесть и чистоту.—«Недаром же моряки—чувствительнейший народ в свете, и у каждого моряка под грубой рубахой бьется мечтательное сердце».

А что моряки, действительно, народ чувствительный, еще ярче показывает рассказ «Мертвая зыбь»—история любви матроса Соколова и «береговой» женщины, быстро покинувшей его. Между прочим, «Мертвая зыбь»—единственный рассказ, где писатель касается темы любви, темы, которая никогда не перестанет волновать всякого художника, да и касается мимоходом, бегло, описательно, как сторонний наблюдатель. Надо думать и надеяться, что писатель в будущем—а перед ним широкое будущее—сосредоточит свое внимание и свои художественные средства на воспроизведении внутреннего людского мира, на освещении интимных сторон человеческого существа.

* * *

Сил и средств у него, надо признать, очень много: Соколов-Микитов, всего несколько лет назад вступивший в литературу, утверждает себя в ней полноправно и непоколебимо в ряду лучших современных прозаиков. Его книга «Чижикова лавра»¹⁾—книга, насквозь просвеченная таланливостью, его рассказы, рассеянные (оговариваемся: в довольно скудном количестве) по периодическим изданиям, всегда выде-

¹⁾ «Новый Мир», № 10, 1926 г.

²⁾ «Новый Мир», № 10, 1926 г.

¹⁾ «Чижикова лавра», рассказы, ГИЗ, 1926 г., стр. 274.

ляются своей тщательной отработанностью. Он распоряжается своим словесным материалом бережно и скуповато. Он гравер слова, замороженный его служитель. Но, любуясь переливной игрой слова, он мог бы сказать о себе:

... Не краски жадный взор отметит,
А то, что в этих красках светит
Любовь и радость бытия...

Творчество Соколова-Микитова исключительно оптимистично и жизненно.

В его рассказах есть пахучесть—трав, речных затонов, порозовевших сентябрьских листьев, морского ветра, черноморских олив, и есть осознание человеческой мощи и силы. Он, в своем слиянии с природой, не «растворяется» в ней: его созерцательность и романтика бредяги активны.

Чувство природы у него любовное и чуткое, пейзаж, никогда не играющий самостоятельного значения,—прекрасный. Он с одинаковой любовью, подлинно, как «гражданин мира», воссоздает и далекий закат над Босфором, и рассвет в жемужно-росястых средне-российских полях, и первозданно-нарядную площадь восточного города, и снежную, мелкую грусть одинокого березового милколесья.

Пейзаж у него всегда живой, дышащий и звучащий: в нем нет ни застылости, ни окаменения.

«Ночь идет тихая, чуть колышется пароход, и в синем ночном небе широким потоком льется Млечный Путь, и в нем, раскинувши крылья, летит-стоит ясный Лебедь...» («Голубые дни»).

«Пылающее солнце опустилось за зубчатую гряду леса. Зазолотившиеся листья березы трепетали тихо. Ветер стихал. Защелкал в кустах соловей: «Девку, девку, к тыну, к тыну»... и засвистал громко. Куковали и переходывались в березняке кукушки. По золотому небу, испуганно забирая крыльями, протянул первый вальдшнеп...» («У ворот»).

И. Соколов-Микитов идет от лучших традиций старой русской литературы, от ее непосредственности, свежести, от ее умения просто, без истерики и ложного жеста, передать запах и свет природы, и—живого, осязаемого-видимого человека. Он, разумеется, не обходится

без влияний—они отмечены выше, а иногда («Фурсик») и без прямого подражания. Его, часто неосознанная, подражательность заметна не только в общем строении и тоне вещи, но и в ее вспомогательных элементах, эпитете и образе. Некоторые из них, взятые наудачу,—совсем чужие: «Пуховые облака»—это Аксаков; «городок, весь белый, точно из сахара»—Бунин. Но, как правило, его эпитеты и образы новы и полноценны. Например, тетерева, обвисшие на зимних деревьях, как груши..., или облавные флажки, напоминающие красные языки...,—все это хорошо, цельно, неожиданно и метко.

Впрочем, писатель крайне редко употребляет образ, и иногда срывается в его звучности и яркости.

«От деревни послышался звон бубенцов,—точно далеко зазвенели, покотившись по дороге, упавшие с неба звезды»...—Выразительно, красиво, но ничем не оправдано: звезды, в данном случае, напоминают скорее бронзовые браслеты, а звон бубенцов ни в какой мере не создает впечатления разливной и нежной певучести.

Последний образ взят из рассказа «Найденов луг», показывающего писателя с новой стороны: основа рассказа—жизнь зверей.

Все так обыкновенно, просто и—чуждо: глухие зимние ночи, смуглый цыганский месяц, волчьи стаи на деревенских гумнах, потом облава, тяжкий раскат ружейных ударов и—спасающаяся волчица, весной приносящая щенят. А за всем этим—такая сила изобразительности, такой тончайший психологизм, такое познание звериного мира, что рассказ по его художественной значимости и ценности должен быть признан одним из лучших рассказов Соколова-Микитова.

Когда-то Леонид Андреев, желая «уколоть» гениального Льва русской литературой, сказал:

— А разве можно залезть в шкуру Холстомера?

Пример «Найденова луга» снова убеждает, что для подлинного таланта нет навсегда зачарованных тайн, как нет вопроса—о чем писать?—ибо «заслу-

живает того всякий из живущих на земле»...

«Найденое луг»,—рассказ, где на десяти страничках сокровенно раскрыта целая жизнь и целый мир—при чтении видишь и ночное тревожное поле под звездами, и жуткий красный флажок на лесной опушке, и весенний дымок над сквозяще-лиловым осинником,—этот рассказ особенно хотелось бы рекомендовать вниманию зоологов и охотников.

Морякам, отдыхающим на суше, часто снятся голубые водяные просторы и—корабли, уходящие в далекие края, к светлым, неизведанным землям.

Соколов-Микитов, вспоминая свои

дни, проведенные на корабельной палубе, под бризом и солнцем, пишет:

«Я вижу себя совсем юным и легким, с головокружительным ощущением молодости в сердце, с ненасытной жаждою странствовать...»

Вне путешествий нельзя представить и понять этого писателя: он из тех художников, творческая воля которых накаляется, крепнет и расцветает лишь в непрерывном движении.

Позднейший хронологически рассказ Соколова-Микитова «На светлых озерах»¹⁾, результат поездки на север. В нем новая красочная тонкость и душистость, и все более глубокое утверждение света, счастья, радости: видеть, слышать, узнать и полюбить мир...

III. ЛЕТОПИСЬ ЦАРСКОЙ ВОЙНЫ¹⁾

Георгий Якубовский

Второй том «походных записок» развертывает широкое полотно военных событий и фронтовой жизни 1915 года с марта по сентябрь и делится на три части: «Разгром на Дунайце», «Сдача Бреста», «По полесским болотам». Черты войны, войны в золотых погонах, обнаженные беспощадным наблюдателем во втором томе, нашли свое дальнейшее развитие и углубление, обогащенное новыми красками: «Война, это—грязь, замешенная на человеческой крови. Кровь с обязательным воровством, мародерством, насилиями и убийством. Не так страшно всадить штык в чужое тело, как вырвать кусок хлеба из рук ребенка». Так пишет Л. Войтоловский. Он вскрывает сущность империалистической войны: бездарность правящих верхов, бессмысленность их распоряжений, чудовищное казнокрадство, безличие и безволие интеллигенции, героическое терпение солдатских масс, отрицающих цели и смысл нелепой кровавой затеи. Война так резко обнажила гниль старого порядка, что даже живые устои этого порядка при-

ходили в изумление и говорили иногда чуть ли не революционным языком. Некий бюрократ, слушая информацию о действительном положении вещей, обратился к другому:

— Ваше превосходительство! А не пора ли нам пойти с красным флагом?

В минуту случайного прояснения сознания, их превосходительства делали такой вывод из той преступной бесчеловечности, которую они сами же создавали. Солдаты всерьез пришли к революционным выводам и делам, но не сразу, а после многих месяцев кровавой страды. Начало 1915 г. на фронте, в Галиции, в записках Л. Войтоловского отмечается любопытными солдатскими слухами о казаке, который вез приказ от царя о немедленном заключении мира, но казак запямятствовал, и никак его разыскать не могли. Наивная сказка эта говорит о том, что солдатская масса уже отдавала себе ясный отчет в бессмыслице войны, но еще питала иллюзии и надежды, рожденные покорностью и рабством.

Второй том записок рисует процесс освобождения солдат от этих надежд

¹⁾ Л. Войтоловский.—«По следам войны». Походные записки. 1914—1917 г. Т. II. Изд. 1927 г.

¹⁾ «Красная Нива», № 3, 1927 г.

и иллюзий. «В огненном хайле войны» методы воюющей обломовщины ускорили развитие целительного процесса. Жестокая дисциплина, мордобой, порка, пьянство и разнузданность властей, одуряющая система противоречивых, оторванных от жизни, приказов, всесильный дух казенщины и канцелярщины — вот основное, что вскрывало на фронте суть старого порядка. На фронте—«все было ясно, как циферблат», а впечатления тыла в Галиции лишь обостряли эту ясность. «Пленные, нищие, калеки, разнузданные гусары, тоскующие глаза за тюремной решеткой, кельнеры, маклеры и тыловые полководцы всех рангов. В ресторанах, на улицах, в магазинах, в гостиницах, в учреждениях и на вокзале,—всюду одно и то же: замордованность, нищета, побои и тучи тыловых полководцев. И надо всем—торжественное гудение колоколов в украинском соборе... Церковь, казарма, банк и острог—четыре фундаментальных камня капиталистической цитадели. А внутри—беспросыпное пьянство и повальный разврат».

Во всех этих делах тыла и фронта незавидную роль играет среднее начальство, командный состав, непосредственно соприкасающийся с солдатами. Офицеры автоматически выполняют приказы, над которыми сами же издеваются, варятся в собственной соку, чувство бессилия и обреченности заглушают пьянством и картежной игрой. Выразительная сценка, написанная с гоголевской силой, составляет картину азартной картежной игры офицеров с отдыхом и юмором солдат. Неторопливая беседа солдат меткими поговорками, удачными словечками правильно определяет положение вещей,—солдатская мысль бьется над вопросом:

— И для ча столько труда подымают люди, чтобы кишки выпустить человеку?

Офицеры не задумываются над подобными вопросами, они знают, что делают безнадежное дело. За немногими исключениями, их взгляды можно характеризовать как безразличный «ничевизм», или весьма определенный «наплеvizм». Поклонник палочной дис-

циплины, любитель рукоприкладства, командир Старосельский говорит: «Я отлично знаю: кончится война—начнется революция».

«Одно могу сказать: от всей души желаю, чтобы лучше стало. А станет ли лучше—не знаю. Может быть, вышлют один корпус—и всю революцию разметут. И еще туже завинтят крышку. И опять будут душить и вешать. И будут клаваться в пояс господину околочному надзирателю и записываться в союз русского народа. А, впрочем, чорт с ними. *На мой век хватит, а на остальное мне наплевать*. Теперь я одного хочу. Когда сидишь у постели умирающего близкого человека, думаешь только об одном: скорей бы он умер. Так и я теперь одного хочу: скорого мира! И только... Старосельскому возражает другой офицер: «Неужели из-за того, что в России плохие околочные—всем погибать?» Но для Старосельского ясно: «Она вся гнилая. Быть ей вторым Китаем». Естественно, что люди с такой «колониальной» идеологией, ненавидя солдатскую массу, были готовы в любой момент открыть ворота иностранному капиталу, если бы понадобилось защищать свои классовые привилегии. Другие лица командного состава не высказываются так определенно. Подавленные окружающей обстановкой, они влачат призрачное существование.

«Живем, как банда разбойников, в кругу, очерченном смертью. Оторванные, потерянные, забытые. Воспоминания все потухли или еле-еле копят. Десятки раз на день мы все твердим на разные голоса:

— Может быть, нам кажется, что мы живем, воюем и странствуем.

Среди офицерских типов запоминаются «помесь Ноздрева с сутенером», виртуозный похабник прапорщик Кромсаков, любитель сладко поесть доктор Костров и командир бригады двуличный Базунов. Времьяпровождение начальствующих и весь быт войны под пером Л. Войтоловского встают как свистопляска умирающего крепостничества.

«...Опять я, как Чичиков, качу со своими Петрушкой и Селифаном по снежным ухабам.

— Эй, птицы! — нахлестывает вожжами Дрыга.

В голове у меня надоедливо пу-таются гостеприимные прапорщички, плачущие бабы и мужики, запуганные евреи, топающие городничие, ревизоры, дровяное довольствие, сальные свечи, денщики, скомоорохи, велико-княжеские самодуры... Уж и впрямь — не воскресшая ли это гоголевская Русь, с перекладными, жирными кулебяками, дворовыми песенниками; с ноздревщиной, хлестаковщиной, прекрасно-душной маниловщиной; со Скалозубами и Репетиловыми времен Очаковских и покоренья Крыма?.. Только Чичиковы наших дней стали куда за-гребистей прежнего — спекулируют не мертвыми душами, а кровью. Да, Чацкие в полковничьих погонах изрядно новылиняли, обросли скептическим жирком и наставительно внушают подчиненным:

— Жизнь надо брать такую, какая она есть...»

Отсюда не следует, что автор походных записок пишет сплошь серой краской. Среди командиров он отмечает интересный тип «оестрашного» Нечвалодова, к которому солдаты относятся с доверием, любят его «за осторожность и рассудительность», записывает признания поручика, настроенного итти в первых рядах революции. Неудивительно, что даже наиболее лойальные служаки настраивались на революционный лад. Независимо от того, что мы все знаем о царской войне, картины военного бюрократизма, предательства, издевательского отношения правящих верхов к солдатам в изображении Л. Войтоловского — потрясающи. Военная ноздревщина и хлестаковщина наиболее разительно себя проявляла, увековечивала для потомства в приказах, образцы которых, приводимые Л. Войтоловским, являются интереснейшими документальными иллюстрациями к описываемым в книге событиям. Суть этих перлов канцелярского творчества в том, что вину за неудачи на фронте штабные герои сваливают на «изменников», политически неблагонадежных, и на... евреев. Чем меньше было снарядов, тем сильнее был анти-

семитизм штабов. К числу бессмертных перлов штабного вдохновения надо отнести приказ о таких, напр., «секретных» приметах шпионов: «Еврейские девушки, занимающиеся шпионажем в пользу противника, снабжены шифрованными документами австрийского штаба, по большей части зашитыми в подвязку, и носят шелковые чулки со стрелками».

Погромные приказы трагикомического характера чередовались с лаконическими, как бы подлинными, расписками командования в своем собственном банкротстве. Так, в одном из приказов буквально говорится, что «для вооружения прибывающего безоружного пополнения единственным источником является сбор оружия во время боев». Такова была изнанка войны, ее настоящая неприкрашенная действительность. «Без плана, без надобности, без всякого смысла десятки тысяч безоружных мужиков швыряются в огненное хайло войны», — эпически повествует летописец. Разумеется, мужики, переодетые в солдатские шинели и посылаемые на убой, отдавали себе отчет в том, что происходило, для них все яснее открывался классовый смысл войны. С большой теплотой и внимательностью зарисованы Л. Войтоловским типы солдат: угрюмого, тоскующего по хозяйству, садовода Ханова, искателя правды сектанта Асеева, остряка Ничипоренко, сердцееда Шкиры, весельчака Блинова и др. Интересны солдатские песни о войне, полные тоски, сменяющейся буйной удалью:

Эх, пойду ли я, сиротинушка,
С горя в темный лес.
В темный лес пойду
Я с винтовочкой.

Песня заканчивается недвусмысленными угрозами по адресу «проклятого начальника». Солдатские думы о войне отражались в присловьях, поговорках, афористических высказываниях. «Не знаем, для ца деремся». «Войну мозгами осилить требуется. А мы по чужой указке делаем». «Не по нутру нам эта война». «Обмокла кровью душа»... Выразительны замечания по адресу начальства: «Начальство — что смерть: са-

ма себе выбирает, а до ней не доберешься». «Сто лет вошь гоняй, а начальству все мил не будешь». «Ворота крепкие, столбы гнилые». «От осенней тучи проку немного: грязь да болота». И многообещающее: «Погоди, дай войну кончить»... Отношение солдат к песне выражено сектантом Асеевым в поэтическом образе: «У земли—ясно солнце, у людей—ясно слово... Песней душа растет». Песни, сказки, солдатские беседы представляют интересный и ценный материал в записках Л. Войтоловского, сохранившего от забвения образцы великорусского и украинского народного творчества, рожденного войной. Только приводимые им полесские легенды не имеют прямого отношения к войне, но их острая классовая завкаса, презрение к господам, у которых — согласно белорусской поговорке — ума много, только он никогда дома не живет, поэтическая форма, глубокая вера в правду—все это связывает легенды с современностью.

Второй том эпопеи «По следам войны» заканчивается картиной отступления разгромленных армий по полесским болотам. Ненависть солдат к войне нарастает, солдаты убеждаются, что от бунта им не уйти, что «надо бы всем за ум взяться». Заключительный штрих: казаки громят Молодечно, дополняя общую картину, ее трагический смысл.

Надо оговориться, что замечательная книга Л. Войтоловского¹ не является художественной в точном смысле этого слова—мнения Демьяна Бедного на этот счет мы не разделяем. Можно было бы указать на погрешности стиля, языка, на длинноты, шероховатости. Сила и ценность книги в ее эпической об'ективности, в огромной содержательности, в многостороннем, живом, красочном освещении царской войны. Трагедия беженства и страдания населения, усугубленные варварской политикой царского правительства; удачно схваченные типы поляков, украинцев, разнообразных участников грандиозной массовой драмы: распад буржуазного быта и буржуазной морали при соприкосновении с войной, психология героизма,—все это нашло отражение и место в увлекательной летописи Л. Войтоловского. Временами ее эмоциональная насыщенность достигает силы героического пафоса, словесный рисунок приобретает своеобразие: орудийный выстрел раздастся, «как удар колоссального бича», легкомысленные офицеры характеризуются, как «саблезвоны» и т. д. Книга «По следам войны» по обилию фактов является серьезным богатым источником для изучения империалистической войны, доступным, благодаря живости изложения, самому широкому кругу читателей.

IV. ШАРЛЬ-ЛУИ ФИЛИПП

Я. Фрид

Биография Ш.-Л. Филиппа, поэта нищеты и труда, поэта маленьких людей, «униженных и оскорбленных», называвшего себя классовым писателем, во многом родственна биографиям его героев. В детстве—томительное существование потомственного бедняка, сына башмачника и внука нищего. В дальнейшем—полуголодная жизнь интеллигентного пролетария. Словно накопленная поколениями—жадность к умственной деятельности, к овладению духовной культурой. Нервная настойчивость в литературной работе. Довольно чуждая известность. Наконец,—ранняя смерть (в 1909 г.); уступка места на земле памятнику, чья каменная шкура более

вынослива; появление славы, важно шелестящей журнальными листами, шествующей по пути, проложенному надгробными речами.

Говоря о Ш.-Л. Филиппе, прежде всего (основываясь на его собственных высказываниях), вспоминают о его «варварстве», варварской смелости и прямолинейности. Действительно, изображая городское «дно», нищету, голод, он ни о чем не умалчивал, договаривал до конца. Но такая тематика и такая смелость изображения не были чем-то новым. Они, так же, как отчасти и метод собирания материала, связывали Ш.-Л. Филиппа с непосредственно предшествовавшим периодом, с тради-

цией натурализма и импрессионизма. Нужно помнить, что тот «варвар», кроме натуралистов, проработал парнасцев, Маллармэ, Р. Гиля, глубоко воспринял влияние Достоевского и Ницше. Нужно не забывать, что он был нервным горожанином, человеком тончайшей духовной организации, пережившим тяжелую жизнь.

Тематика Ш.-Л. Филиппа (мотивы города, труда, «низменный сюжет» «Биби с Монпарнаса» — истории проститутки) и его персонажи (проститутки, сутенеры, апаши, мастерицы, конторские служащие, ремесленники, деревенские бедняки) — не новы. Но этот материал получил как бы первоначальную свежесть в произведениях Филиппа — реалистических, но удивительно утонченных, благодаря его лирическому темпераменту. Импрессионистские описания у него нередко переходят в взволнованный рассказ о происходящем, а еще чаще просто заменяются системой сравнений и метафор. К людям, природе, вещам, к каждой мелочи он подходит с *нежным вниманием* — это можно проверить хотя бы на том, как он показывает работу швеи («Крокиньюль»), башмачника («Шарль Бланшар»), пирушку чиповников («Крокиньюль»), или — бульвары («Биби с Монпарнаса»). Повесть «Крокиньюль» («Сухарик») почти целиком построена на мелодической основе, на гамме взволнованных интонаций. Умение Ш.-Л. Филиппа лирически — интимно, или даже горячо, буйно — вживаться в каждое чувство и ощущение персонажа, способность вживаться в сущность каждого явления — создают точку соприкосновения между ним и unanimousным течением, оформившимся в 1907 г., как протест против натурализма и символизма одновременно, и положившим в основу письма метод интимного знания явлений¹⁾.

«Достоевский вмещал в себе всю человеческую жалость: к тем, кто страдает, кто причиняет зло, кто безобразен... Мы должны любить все, что нас окружает... Мы живем среди людей, и доброта всегда казалась мне большой

социальной добродетелью...» Эти слова помогают почувствовать «эмоциональную доминанту» вещей Филиппа, помогают понять отношение писателя к жизни, от которого неотделим его лиризм. Для этого писателя, близкого к нефабричной бедноте, к городским и деревенским люмпен-пролетариям и ремесленникам, — характерно, что его убеждения чаще всего выражаются не сильными грубыми персонажами, а людьми тонкой духовной организации, чувствительными, слабавольными; что многие персонажи его — люди легко гибнущие, так как «те, кто творит зло, — неумолимы». Характерно и то, что бедняки его знают «зуд самоуничтожения», «наслаждение страданием» (это опять-таки заставляет вспомнить о Достоевском).

С выходом «Мари Донадьё» издание основных вещей Филиппа у нас почти закончено. В этом крупном по размерам, немного растрепанном и растянутом, романе нет тонкости и четкости линий, легкости, обычной для произведений Филиппа. Законченных социальных типов здесь меньше, чем в «Биби» или в «Дядюшке Пердри». Голоса Достоевского и Ницше в этой книге особенно явственно слышны; несомненно, автор здесь больше, чем в иных своих вещах, занят разрешением вопросов морали и других «вечных вопросов».

Расстановка персонажей в «Мари Донадьё» типична для Ш.-Л. Филиппа. Жан Бусэ (перешедший сюда из повести «Дядюшка Пердри»), — человек «с нежной и чистой душой», пассивный, слабый. Второй мужской персонаж — человек грубый, сильный, жизнеспособный. Между ними — девушка с противоречивыми порывами, тоже «с нежной и чистой душой», и в то же время — с чрезмерно развитой чувственностью (образ, родственник некоторым женским образам Достоевского). Автор заставляет каждого из них действовать согласно их природе и как бы чутко приглядывается к ним («вживается»), решая, чей путь правильнее. Читателю, знакомому с творчеством Ш.-Л. Филиппа, роман очень поможет составить цельное, законченное представление об этом художнике.

¹⁾ Об unanimousной теории см. статью К. Г. Лонса («Нов. Мир», № 7—8,

У. ДРЕВНЕ-РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРЕД СУДОМ БЕРЛИНСКОЙ ПРЕССЫ¹⁾

Ф. Рогинская

I

Организованная О-вом изучения Восточной Европы выставка древне-русского искусства в Берлине вызвала ряд отзывов прессы, которые невольно заставляют вспомнить слова Игоря Грабаря, сказанные им еще в 1912 г. по поводу древне-русского искусства: «Европа все еще стоит накануне открытия этого совершенно нового для нее искусства, накануне настойчивого изучения и собирания его памятников и, быть может, даже накануне всеобщего увлечения им, которое напомним дни первых восторгов от прерафаэлитов Италии» (И. Грабарь—«Ист. Русск. Иск.»).

Эти слова звучат чуть ли не пророчески, если их сопоставить со следующими отзывами: «Обширная область истории искусства, которой до сих пор уделялось мало внимания, — пишет проф. Филипп Швейнфурт («Deutsche Allgem. Zeitung»), — выступает благодаря выставке впервые на передний план и приковывает к себе интерес немецкого общества. Подобно Восточно-Азиатской выставке 1912 г.²⁾, выставка старой русской живописи нынешнего года будет иметь историческое значение для немецкого искусствознания. Подобно той выставке она представляет собой событие... Впечатление, произведенное иконами так же, как и русской стенописью, приводит нас к совершенно новому осознанию всей истории искусства».

«Эта выставка открыла нам глаза», — вторит Макс Осборн («Vossische Zeitung»), — она вводит нас в новую область и раскрывает перед нами неизвестное средне-вековое искусство, которое захватывает нас с мощной и поражающей силой».

«Официальное название выставки «Византийско-русской монументальной

живописи» не дает представления о том значительном и поражающем художественном событии, которое представляет собой выставка», — говорит И. Ф. Шталь («Berliner Tageblatt»).

Та же мысль в тех или иных выражениях варьируется в остальных отзывах. Полное незнание Германии с древне-русским искусством подчеркивает и проф. Шмидт, заведующий Институтом³⁾ Истории Искусств в Ленинграде, который доставил для выставки основную массу экспонатов.

«Чтобы оценить значение выставки, — пишет он, — необходимо вспомнить, что в немецкой столице, столь богатой прекрасными музеями, не было никакой — совершенно никакой! — возможности познакомиться, хотя бы самым поверхностным образом, с древне-русским искусством». В сущности в этом мало удивительного. Ведь и в России до последних десятилетий историю русского искусства начинали с после-петровской эпохи, а на весь предшествующий период смотрели, как на проявление общего «коснения древней Руси до XVII в.», как выразился по этому поводу один из исследователей иконописи — Буслаев. Когда Гете, под влиянием общего интереса к западному средневековому искусству, заинтересовался и древне-русской иконописью (в частности суздальской), и обратился к великой княгине Марии Павловне с просьбой доставить ему исторические сведения по этому вопросу — он потерпел полную неудачу. Карамзин, к которому в конце концов попал этот запрос, мог дать только самые общие указания, заключив их следующими словами: «В материалах нашей истории не находим никаких дальнейших объяснений на сей предмет». Академия Художеств тоже оказалась бессильной дать по этому поводу какие-либо сведения.

В дальнейшем интерес к древней иконописи возрос, главным образом, в славянофильских кругах. Появились коллекционеры, создались ценные собрания, к которым, однако, их

¹⁾ Материалы, относящиеся к выставке, любезно предоставлены ВОКС'ом.

²⁾ Выставка, раскрывшая по мнению Швейнфурта Европе искусство Китая и Японии.

владельцы редко подходили с точки зрения художественной значительности. Появились исследования, установились основные деления на несколько школ или «писем» (киевская, новгородская, московская, строгановская и т. д.). Но все это было чрезвычайно далеко от увлечения или от надлежащего искусствоведческого изучения древней живописи, подобно всякой другой отрасли искусства.

Впрочем, такое длительное пренебрежение отчасти понятно по следующим причинам: вся древне-русская живопись делится на две основные группы: монументальная фресковая и иконопись. Что касается икон, их настоящий облик открылся только сравнительно недавно, в связи с большими достижениями в области реставрационных работ. Эти реставрационные работы совершенно разбили обычное представление об иконе, как о чем-то мрачном, темном, с едва различимыми суровыми силуэтами. Когда наслоения более поздних лет и чернота, вызванная олифой, после тщательной работы исчезает, за ними появляются богатые красками, звонкие и цветистые, подлинные иконы прежних лет. Контраст создается поразительный. Уже первые достижения реставрации вызвали коренную переоценку художественной ценности иконописи. Чем дальше они продолжаются, тем шире и полней раскрывается облик этого своеобразного искусства. Хуже обстоит дело с фресками. Стенные росписи находятся в таких условиях, которые могут только благоприятствовать их полному забвению. Они разбросаны по церквям и глухим часовням, часто отдаленным, полуразрушенным и темным или недоступным. Случается, что росписи не только невозможно сфотографировать, но просто немислимо до них добраться, так что эта чрезвычайно важная отрасль искусства с большим трудом поддается изучению. Конечно, фотографии отдельных росписей снимались и собирались и раньше, но в недостаточном количестве. Кроме того, для серьезного изучения они давали далеко недостаточный материал. Потребовалась грандиозная ра-

бота, почти целиком проделанная в послереволюционный период мастерской при Ленинградском Институте Истории Искусств, чтобы сделать такое серьезное изучение вполне возможным. Эта работа—копировка росписей. Она производилась со специальных высоких лесов и сопровождалась колоссальными трудностями. Заведует мастерской Дурново. Весь персонал вместе с заведующей—жепский. Сам процесс копирования очень сложный. Посредством особых приемов создается грунт, совершенно подобный грунту стен, на которых писались фрески. Главная задача работы—максимальное соответствие оригиналу. Каждый оттенок, каждый мазок кисти передается с предельной точностью. Если штукатурка местами шероховатая или неровная, то и это воспроизводится в копии, чтобы добиться одинаковой силы отражения света. О качестве копий можно судить по ряду восторженных оценок. «Такого совершенного мастерства, как в русских копиях, мы еще не встречали в подобного рода произведениях. Никакая похвала, никакое восхищение не может быть преувеличенным по отношению к работам, проделанным мастерской Института Истории Искусств»,—пишет, например, тот же Осборн. Охват этих работ—старинные церкви Новгорода, Старой Ладogi, Владимира, т.-е. фрески, преимущественно, новгородской школы. Они, конечно, далеко не исчерпывают всю необходимую работу, но, только имея собранными вместе точные мастерские копии, можно приступать к действительному исследованию. Другими словами, если знакомство с иконами несколько более продолжительно, к монументальной живописи мы только сейчас подходим вплотную. Приходится ли удивляться, что для заграницы она оказывается книгой за семью печатями?

II

В состав Берлинской выставки вошли: иконы, фрески, снятые Ленинградским Институтом, о которых говорилось выше, и фрески, снятые немецкими художниками в Македонии. Так как

большинство икон и фресок принадлежит новгородскому «письму», перед судом Германии оказалась в первую очередь новгородская школа. Сюда и направлено всеобщее внимание. Только проф. Швейнфурт уделяет несколько слов московской школе. Он сообщает следующее: «При возникновении московского искусства, мы встречаем великое имя Рублева. Но высокий уровень его произведений недолго сохраняется в Москве. При честолюбивых московских царях искусство потеряло свою свободу. Оно подчинилось государственным соображениям, приняло характер официальной церковной помпы и неудержимо начало грубеть». Больше никто не останавливается отдельно ни на московской ни на других школах.

Прежде всего надо сказать, что в течение долгого времени новгородская школа не пользовалась в России особым благоволением:

«Не замыслом живописца создаются иконы, но в силу нерушимого закона, предписаниями вселенской церкви. Не живописцев дело сочинять и переписывать, но святых отцов. Им принадлежит неотъемлемое право композиции, живописцу—только исполнение»,—говорится в постановлении VII-го вселенского собора. И, действительно, для икон существовали строгие и нерушимые уставы, которых свято придерживалась ортодоксальная иконопись. Новгород таким похвальным послушанием не мог похвастаться. Под влиянием связи с границей, осуществлявшейся путем торговли с знаменитым Ганзейским союзом, он довольно значительно отклонился от обычных форм в сторону притч, своего рода дидактических поучительных сказов. Эта вольная трактовка вызвала неоднократные нарекания на новгородских иконописцев. Конечно, никто не упрекал их, как более позднюю суздальскую иконопись, в том, что «писаны они (иконь) до того ругательно, что иные походят не на человеческие образы, но на диких людей». Но другие обвинения, сыпавшиеся на суздальцев, например, что они «пишут иконы без всякого рассуждения и страха» и что «на

честное и премудрое икон художество поношение и уничтожение. от невежд произошло»,— можно вполне отнести и за счет новгородцев. Во всяком случае, против них было возбуждено дело, известное под названием дела дьяка Висковитова. В розыске по этому делу живописцы упрекаются в том, что они пишут «притчи по своему разумению, а не по божественному писанию».

Первые коллекционеры, а за ними и исследователи, тоже не склонны были слишком высоко ценить новгородскую школу. Во всяком случае, один из лучших исследователей, Ровинский, дает довольно холодный о ней отзыв. Особенности ее он определяет следующим образом: «Рисунок резкий, длинными и прямыми чертами, фигуры большею частью короткие, в $7\frac{1}{2}$, 7 и даже $6\frac{1}{2}$ голов ¹⁾. Лицо длинное, нос спущен на губы, ризы прописаны в две краски... Палаты просты и обведены неправильно от руки. Горы разбиты шашками и кружками. Травы и деревья просты». В этом сухом статистическом перечне заключается несколько скрытых упреков—в упрощенности, в излишних обобщениях, в том, что «палаты обведены от руки», т.-е. арки и башни в зданиях и храмах нарисованы без линейки, без геометрической четкости и т.д. Дальше, по поводу того, что московские коллекционеры не особенно любят новгородское «письмо». Ровинский прямо говорит, что «иконь этого письма не отличаются ни тонкостью отделки, которая так дорого ценится в строгановских, ни живописной роскошью, которой отличаются московские образа».

Постепенно, по мере изучения, это предубеждение против новгородской живописи начинает рассеиваться. Особенно способствовали этому работы по изучению монументальных росписей в новгородских церквях. Наконец, Иг. Грабарь говорит в истории русского искусства уже следующее: «Можно с уверенностью сказать, что успешное изучение русской живописи зависит прежде всего от освобождения

¹⁾ Т.-е. величина головы уместалась в длине тела $7\frac{1}{2}$, 7 или $6\frac{1}{2}$ раз.

других подлинных стеновых росписей в том же Новгороде и во многих древних монастырях и церквях».

Сейчас эти бывшие пасынки древнего искусства, извлеченные из сырого и затхлого мрака умирающих церквей, заставляют впервые серьезно подойти к древне-русскому искусству в целом.

Обычно оно считалось незначительным придатком к византийскому. Сейчас центр тяжести лежит именно в признании за ним самостоятельного значения, как своеобразного национального искусства. Посмотрим, что пишет по этому поводу Ф. Шталь («Berliner Tageblatt»). Он указывает сперва, что связывать русский элемент с византийским рационально, быть может, в отношении архитектуры, но «зато фрески, которые мы здесь впервые видим, с таким же правом могут быть названы византийско-русскими, с какою стенная роспись романской эпохи — византийско-итальянской или византийско-немецкой. Конечно, в их стиле еще чувствуется происхождение, но значение их и ценность не в том, что в них сохранено от традиций прошлого, а в том новом элементе, который они внесли, не в чужом влиянии, а в национальном духе, следовательно, не в византийском, а в антивизантийском, в европейском». «По колориту», линиям, и ограничению пространства оно вполне самобытно и национально-русское. Византийское влияние исчезает. Его заменяет «народный» стиль.

В центре внимания оказываются фрески, монументальные росписи. Они находят почти единодушное признание. «Сама живопись,—продолжает только что цитированный Ф. Шталь,—так сильна, так полна внутренней жизни, при крупном формате вещей так свободна по технике широкого размаха, так прекрасна в декоративном своем оформлении, что должна занять по меньшей мере равное место среди своих западных сестер... Разлитое в этой живописи выражение одухотворенности и пафоса придает отдельным сценам оттенок драматизма, сближающий их, при всей противоположности форм, с готическим искусством».

Любопытно в этом отзыве то, что и жесткие линии, и упрощенные и обобщенные приемы, шокировавшие когда-то Ровинского, воспринимаются сейчас, как плюс, как признак правильного подхода к монументальному искусству. Об этом же говорит и Осборн: «Переходя от экспоната к экспонату, изумляешься инстинкту, которым обладали древние мастера к монументальным произведениям, проникнутым глубокой внутренней значительностью». То же самое повторяет и Гуго Кубш («Deutsche Tageszeit»). «Монументальность как-будто сама далась этим художникам».

Другое свойство новгородского письма, их былая вольнодумная творческая свобода, тоже отнюдь не пугает современного зрителя. Это можно заключить из ряда отзывов. Напр.: «Надо отметить отсутствие шаблона в этой живописи, не подстриженной под одну гребенку. На многих картинах лежит печать индивидуальности того или иного художника». «У них нет определенных рамок, устава. Их стиль очень индивидуален и разнообразен» и т. д.

Несколько отличается от приведенных мнение Швейнфурта. Оно заключается в следующем: «Мы находим здесь (т.-е. в Новгороде) монументальную живопись большого художественного значения, как в храме Софии, так и в церквях Нередицы и Старой Ладogi. В XIV столетии Новгород достигает особенно счастливого выявления последнего расцвета *византийского* искусства, мягкая волнующая прелесть которого, его высокая человечность запечатлена в целом ряде сохранившихся новгородских монументальных фресок». Его оценка, как видно из этих слов, высока, но он считает новгородскую стенопись лишь проявлением высшей стадии развития принципов византийского искусства, а не придает ей самостоятельной специфической художественной ценности. Дальше он даже прямо говорит: «Достоверно известно, что фрески в церкви Преображения от 1379 г. написаны греком Феофаном, византийским мастером, жившим в Новгороде. Сравне-

ние стилей делает правдоподобным предположение, что и фрески в церкви св. Стратилата являются произведением греческих рук». Отметив затем, что и превосходная работа Болотова близко к ним подходит, он кончает: «Таким образом, трудно установить участие национальных мастеров в монументальной стенописи (т.-е. формирование ее характера) в Новгороде в XIV веке».

В этом своем заключении Швейнфурт остается одинок. Но если в отношении фресок его оценка несколько холоднее других, художественную значительность икон он признает безоговорочно. По его мнению, они имеют «огромное художественное значение» и, «отличаясь от византийских образов как по рисунку, так и по колориту, представляют собой образцы национального иконописного стиля, отличающегося возвышенной красотой и силой». Дальше Швейнфурт дает анализ стилей икон, который настолько интересен, что, несмотря на некоторую длину, его следует привести: «Византийское искусство выявляет во всех своих произведениях синтез двух стилей: античного—фигурного (объемного) и восточного—плоскостного. Несмотря на преобладание плоскостного стиля, в созданных ими образах всегда остается нечто от античной независимости и пластичности. Русские художники, являющиеся преемниками примитивного плоскостного искусства до-христианской эры, лишённые прирожденности чувства пластической независимости человеческого тела, упростили заимствованные ими у византийцев стилистические элементы до такой степени, что их искусство является почти законченным плоскостным искусством, линии которого превращаются в орнаменты. Все без исключения русские иконы великой эпохи (предполагается расцвет Новгорода) гораздо более плоски, чем современные им византийские. Они бесптелесны и ограничены одними очертаниями. И все же, несмотря на такое упрощение, им присуща огромная сила выразительности. Выразительности, совершенно не связанной с реальностью фигур, пейзажа и архитектуры».

Далее он останавливается на колорите, «поражающем своей радостной лучистой силой, благодаря непосредственно рядом положенным ярким краскам, так резко отличающимся от сложной и мрачной красоты византийского колорита».

О непосредственной и радостной красочной свежести икон говорят еще несколько авторов. Более или менее подробно останавливается на иконах д-р Поль Шмидт («Vorwärts»), отмечая то же тяготение к плоскостной орнаментике, которую «с жадностью воспринял этот от природы орнаментально одаренный крестьянский народ». Но в целом основное значение сохраняется за стенописью. Даже названия статей говорят о монументальном искусстве. Иконам отводится мало места, о них говорится чаще мельком, гораздо менее детально и с меньшим энтузиазмом.

III

Единодушная высокая оценка, ряд докладов, прочитанных проф. Шмидтом и немецкими специалистами (проф. Оскар Вульф, прив.-доц. Мартин Винклер и проф. Ф. Швейнфурт), все это вызвало широкий интерес общества к выставке. Выставка получила ряд приглашений от других немецких городов и даже от Парижа. В настоящий момент она переехала в Кельн. Есть все основания полагать, что, вслед за непосредственно следующими за выставкой и поневоле краткими рецензиями, древне-русскому искусству будут посвящены и большие статьи. Одна из них уже имеется налицо. Она принадлежит перу неоднократно упоминавшегося уже проф. Швейнфурта (журнал «Kunstwanderer»). Заграничный успех выставки вызвал ответную волну и у нас. В Москве сейчас открылся цикл лекций о древне-русском искусстве, и, что очень показательно, целые толпы желающих не могут проникнуть в переполненные аудитории.

На диспуте по поводу советского фарфора раздавались следующие голоса: почему советский художественный фарфор не нашел отклика за границей, которая до чрезвычайности

интересуется искусством, особенно по эзотическим, которая всевозможным примитивам, даже негритянскому искусству, посвящает отдельные исследования и монографии.

Возможно, что часть того шума и внимания, которые выпали на долю выставки, надо отнести именно за счет такого интереса к примитиву и эзотике. Намеки на это как будто бы действительно кое-где прорываются. Они

сквозят в указаниях на ее современность, в восхищении ее примитивностью, в умилении перед той блеклостью и изношенностью, которая оставлена на фресках временем, и т. д. Однако это ни в малейшей степени не умаляет значительности того факта, что древне-русская живопись извлечена, наконец, из забвения на свет, на международную арену, и что первые ее шаги—шаги триумфатора.

VI. ЧУБАРОВСКАЯ БАЦИЛЛА

(О хулиганстве)

А. Дивильковский

I. Упадочное самовнушение

Кошмар Чубарова переулка—изнашивание беззащитной девушки целым стадом хулиганов, и где же?—в самом центре революционнейшего Ленинграда!—привел к еднородной оценке и этого события, и того «бурного роста хулиганской волны» (выражение т. Крыленко в докладе 25 окт. в Ленинграде), где Чубаров переулочек является лишь наиболее ярким эпизодом.

Оценка эта сводится к необходимости, помимо усиленной репрессии, также и усиления культурной работы в массах молодежи. Один уж этот вывод показывает, что пролетарская общественная мысль ясно разглядела социальные корни хулиганства и стремится воздействовать именно на них, а не только на тот или другой их «веселый» росток, пробившийся там или сям.

За плечами отдельных кучек «отпеченных» или «квалифицированных» чубаровцев, для которых лечение в данный, по крайней мере, момент нашего строительства может быть только одно—каленное железо, стоят целые слои нашей городской и деревенской молодежи, увы, слишком еще легко поддающиеся заразе чубаровских бацилл. Закрывать глаза на этот несомненный факт было бы непростительной близорукостью. И, проектируя усиление в данном пункте культурной работы, надо внимательно приглядеться, что именно де-

лает проклятую хулиганскую бациллу такой особенно заразителной в данный как раз момент. Отчего именно «волна», подымаясь из среды известных (и каких именно?) участков «молодежной» массы, вдруг обнаружила за последние 1½—2 года неоспоримый рост? И что предрасполагает тут к восприимчивости и размножению бациллы?

Разрешая эту задачу, никак нельзя ограничиться только общими соображениями об исторической личности хулиганства в нашей стране—благодаря ее отсталому, мелко-крестьянскому, полу-крепостническому характеру и, следовательно, низкой производительности труда, привычке зря тратить силы, бросать их безжалостно на ветер. Мне пришлось в другой статье говорить об общих условиях процветания у нас хулиганства издавна. Но сейчас—вопрос о другом: о росте специально за последнее время. Ясно, что и причина должна быть, т. е. ск., добавочная, специальная.

Искомую разгадку мы поищем, пользуясь фактами, взятыми у разных авторов, занимавшихся специально вопросом на страницах соответствующих изданий, а также частью из газет.

Если, следовательно, брать не «отпеченных» или «профессиональных» хулиганов, а «хулиганствующих»—по выражению т. Шатова в его брошюре «Хулиганы и хулиганствующие» (изд. «Комсомольской Правды», М., 1927 г.),

то мы найдем у этой массовой разновидности нечто характерное для всей группы.

Б. С. Маньковский в статье «Деревенская поножовщина»¹⁾ определяет так эту общую черту: «В связи со слабой культурно-просветительной работой... у некоторых слоев молодежи уклонение от революционных перспектив, упадочность настроений, что нередко ведет... на путь хулиганства». Чтобы еще ближе присмотреться, что это за «упадочные настроения», приведем из того же сборника конкретный факт. В ст. В. И. Аккермана «Убийство в драке на посиделках» — по данным обследования моск. деревни сотрудниками «Кабинета» — приводится биография одного из «хулиганствующих», дошедшего до убийства²⁾. Замечательно, что всегдашнее его поведение характеризуется так: «трудолюбивый, мирный, рассудительный в трезвом состоянии»... «прочная крестьянская установка», хотя «самостоятельных культурных запросов не проявляет». В то же время стремился к активной общественности. «В 1924 г., плотничая в Орехове, вступил в КСМ 17-ти лет, участвовал в кружке физкультуры, но драмкружок не осилил». Его высмеяли в стенгазете. Разбился, перестал ходить. Через 8 мес. был исключен. Стал пить и «бузить», но драться не дрался, пока не случилась эта история. Интересно еще, как «закрепил» он свой переход к протесту и «бузе»: татуировкой на кистях рук — татуировал его какой-то рабочий из приморского, след., и матросского города Баку. На левой руке: женщина, змея, карты, вино; на правой: ножик и наган. Вспомним, что подобная же татуировка символически-хулиганского отгенка имела и у подсудимых по Чубарову переулку.

Эта биография как раз тем и интересна, что ярко показывает *переход* «хорошего парня» от «прочной, трудо-

¹⁾ Сборн. Моск. губсуда и моск. кабинета по изуч. личности преступника и преступности «Хулиганство и поножовщина», изд. Моссадравотдела, М. 1927.

²⁾ Убийство в данном случае лишь привходящий момент, который поэтому оставляем в стороне.

вой установки» к чубаровской «отчаянности». Весь процесс *уапка* тут дан в резкой и стремительной форме. Это дает основание думать, что и все новейшее озорство, которое в уголовщине имеет лишь свое «художественное», т. е. ск., завершение, создавалось в большинстве случаев столкновением в общем дельной, трудовой молодежи, почему-либо «нѣ переварившей» трудностей общественной работы и «учебы», с иногда «жестоковатой», мало внимательной к отстающим элементам постановкой у нас этой работы и учебы. А создавшаяся тут в известных размерах почва взаимного отчуждения между «передовиками» и «отсталыми» дает уже затем «питательную среду» для злостной чубаровской бациллы.

Другие биографии «хулиганствующих» говорят часто о том же. В сборнике «Хулиганство и преступление» (изд. Криминологич. кабинета Ленинградского губсуда) проф. Бельский в статье «Хулиганство в детском и юношеском возрасте» сообщает ряд подобных же биографий «дефективных» мальчиков, поступивших на «исправление» во Врач.-Воспитат. Институт. Неустойчивый характером мальчик 15 лет из подгородных крестьян в самом Институте уже проходит «упадочную» полосу. Хвастается за общественную работу, увлекается ролью председателя «самоуправления», охладевает к ней, в выборах проваливается — и ведет озорную «кампанию» против нового исполкома: скандалит, организует скопом избиение противников. Позже остепенился, поступил на завод, где тоже стремился «играть роль», но *длительной* общественной работы не выдержал, отстал. Выход — снова в уличном сближении с хулиганьем, в попойках, прогулах, столкновении с организациями. Затем — увольнение, и опять смирение...

Словом, *этим*, несомненно, объясняется, что при Советской власти, в центрах революционного пролетариата и именно на под'еме оживленного социалистического строительства, следовательно, на под'еме всяческой общественности, проявилась, повидимому, неуместная и несвоевременная «волна». Подчеркиваю однако, что отрицатель-

ное явление «упадочности», а с нею и озорничества, в силу нашего именно об'яснения его специальной причины— есть нечто, с самого начала, по содержанию своему, ограниченное, временное, в себе же носящее и задатки своего исчерпания. *Диалектика* явления ведь какова? Раз наибольшая толща волны образуется «хорошими парнями», только заблудившимися в своем искреннем порыве к общественной роли, т. е. к культурной и революционной самостоятельности, то весь вопрос лишь в том, чтобы найти достаточно широкие способы для вывода их из заблуждения, из тупика, дать исход их рвущейся к делу молодой энергии! Так что в конце концов самая «отрицательность» их направления служит лишь показателем стихийного напора массы по дороге социалистического строительства, показателем и некоторой недостаточности наших принятых массовых форм работы. Но об этом ниже. Сейчас постараемся еще углубить несколько наш вывод о текущих причинах «упадочничества».

Есть, конечно, немногие элементы (Чубаров переулоч—их типичное местоимение) из числа рабочих и крестьянских масс, абсолютно враждебные, т. е. «по природе» всякой советской обществу. Те или другие специально исторические или даже физиологические (наследственность и т. д.) условия этого нас здесь меньше интересуют. Но они-то и образуют то заразное начало, ту «бациллу», которая притягивает к себе более широкие слои, слои неустойчивых, отсталых, плохо переваривающих почему-либо запросы новой жизни. Приглядимся же поближе к тому психическому состоянию, в котором оказываются вот эти широкие слои, когда вступают на наклонную плоскость «упадочничества». В чем суть и опасность этого психического состояния?

Несомненно, в некотором безотрадном *самовнушении*. Рабочий или юноша из малоразвитых, пахнувших еще деревней, или забитый нуждой и заолупостной некультурностью крестьянский парень-трудовик, рванувшись всею душой к свету и простору культурной работы, пролетарской политики, борь-

бы с вековыми угнетателями труда, вдруг, с разбегу «напарывается» и на собственную неумелость и—скажем без прикрас—на иногда бюрократические «рогатки» наших «передовых» организаций. Он неспособен разобрать, что тут случайно или переходяще; досаду на тех или иных неумелых личностей или устарелые методы переносит на всю организованную работу в целом, разочаровывается и, как парень энергичный, вымещает свое разочарование на всем вообще «советском». Вымещает действиями, наиболее от советских удаленными,—предковскими, дедовскими, деревенскими: кулаком, мотом,—а то и пресловутой «гирькой» либо «финкой». Ясно из всего этого, что он успел внушить самому себе, что и 1) комсомольская «учеба», советская работа обманули его лучшие чувства, и 2) сам он «не годится» для слишком трудных и строгих запросов этой современной работы и учебы. Он под влиянием такого самовнушения впал вообще в «отчаянность». Оттого и пьет, и бьет, и сам себя не помнит, и становится легкой добычей каждого «героя» Чубаровского переулочка. Состояние «опущенного» или «поляризованного» самосознания, пониженной сопротивляемости, столь благоприятное для всевозможного гипноза. Д-р Бельский (цит. ст.) сообщает письмо некоего Миши, бывш. воспитанника Врач.-Восп. Института, к руководителю учреждения, где говорится: «Я это все делаю, как будто кто-то меня толкает и заставляет; я другой раз сам бы рад не делать этого». Толчком же в громадном большинстве случаев является—«теплая компания» с каким-либо «отпетым» во главе, превратившимся уже в тип неисправимой «упадочности». Тов. Шатов (цитир. брошюра) так характеризует эту массовую разновидность «хулиганствующих»: «В быту он самый обычный рабочий парень и хулиганить начинает, когда находится в теплой своей компании, в «шпане».

Эта стадная «шпана» и есть тот немалочисленный «отсев» нашей молодежи, который из одного—другого неудачного опыта малодушно убедил сам себя в своей неспособности быть требуемым новой жизнью строителем и перешел к

мелко-злоствующей «оппозиции из-за угла». Вот отчего опять-таки все наблюдатели единогласно подчеркивают трусливость, робость, стадность всех этих озорников. Не совсем даже верен взгляд, что *виною* их подвигов большею частью является водка: факты говорят, что озорник часто «хватил» водки именно для придания себе храбрости, да и «оправдание» легче: по пьянке, мол...

Я сейчас выразился: «малодушное» самовнушение. Это безусловно верно и характерно для юного выходца из недр «старого быта». Последний, как известно, всего лучше определяется (по Ленину), как быт *обломовский*. Понятно, что юный обломовец не склонен, просто *не умеет* упорно и мужественно добиваться своей «роли» в строительстве, как бы даже эта роль ни казалась ему заманчивой. Нет, наследственно от своей среды он приобрел обратную склонность: затрачивать личную энергию (иногда огромную, даже «нечеловеческую») «с плеча», «с размаху», сменяя ее затем продолжительными периодами «отдыха» или «разгуляя». Словом—знакомя всем нам картина и в деревне и в городе. По линии *наименьшего сопротивления*—вот как движется в этом случае коллективная психология озорника. Коллективность ее, стадность еще как бы дает моральное одобрение и поддержку: «на людях, мол, и смерть красива».

Я здесь не утверждаю, конечно, что *весь* рост хулиганства в данный момент исчерпывается вот таким «упадочным самовнушением». Нет, в общем рост этот является выражением вообще недоброжелательства наиболее отсталых в старом быту слоев к переменам в быту, несомым нашею «строительной» работой. Правильно говорит д-р Герцензон в статье «Хулиганство и его причины» (сборник «Хулиг. и поножовщина»), что тут играет главную роль «расхождение между темпом роста экономики СССР и развитием культуры: между первым и вторым образуются как бы «ножницы». Но верно и то, что между двумя массовыми лагерями—яркими представителями старой некультурности («старого быта») и пере-

довиками, двигателями новой, кооперативно-тракторной экономии—есть крупный промежуточный слой, колеблющийся туда и сюда. Этот слой в общем сильно увлечен свободным блеском трудовых перспектив в «новом быту». Но слишком часто дедовская психология все еще продолжает глушить его лучшие порывы привычным, рабским малодушием, стадной «упадочностью». И это для него самого *минимее* малодушие и упадочность понапрасну обостряют и без того достаточно трудный процесс приспособления психологии трудящихся к быстрому темпу роста экономики. Озорство, хулиганство,—т. ск., незаконный «накладной расход» нашего массового культурного роста. Но именно его незаконность и дает нам все права надеяться на его ликвидацию «культурно-просветительными» мерами еще раньше, чем общий рост экономики вырвет целиком из-под него историческую почву. И в числе таких мер первая—непосредственное воздействие вот на это именно вредное и малодушное «самовнушение». О воздействии этом—опять-таки дальше. А пока отметим, до чего наши юношеские массовые организации нередко сами же и осторожно «растравляют» сказанную болезненную склонность к легкому дезертирству юных обломовцев от общественного дела. Недаром т. Томский в докладе XIV съезду ВКП о «Партии и профсоюзах» настаивает, что в рабочем клубе «в самых широких формах должны проявиться самодеятельность беспартийных рабочих, которая *начинает вытесняться из клуба, с одной стороны, кружками пионеров и, с другой стороны, кружками комсомола*». Это относится, конечно, к неосмотрительному вытеснению также беспартийной молодежи. Таким путем от КСМ может идти дополнительный толчок к «самовнушению» нестойких элементов, а затем—в качестве отраженного толчка—и к их озорству. Сюда относится и сигнализируемая т. Томским опасность—такой перегруженности клубов всякими лекциями, курсами и пр. «учебой» в чисто книжном смысле слова, что сам клуб превращается, наконец, в своего рода «зачерные курсы». А напуганная и мало-

душная, сырая молодежь бежит от них на улицу и в пивнушку...

Не надо, впрочем, думать, что дело ограничивается одною беспартийной молодежью. И «свои», комсомольские, ребята из более сырых также способны поддаваться заразе «беспартийного малодушия». Не даром статистика хулиганства (ср. данные этого рода в докладе т. Крыленко, диаграмма № 4) обнаруживает «твердый» % участия комсомольцев и даже партийцев—до 15%... Пропорция порядочная, особенно если вспомнить, что % организованных передовиков среди молодежи вообще—конечно, ниже...

Тут-то и выясняется, откуда берутся все эти якобы «передовые» теории, оправдывающие всевозможное половое хулиганство, весь этот пресловутый половой анархизм или нигилизм у нашей молодежи. Все это—лишь более или менее благовидная маска (пусть и надеваемая большею частью «искренно» и носимая с известным удалством, «шапку набекрень»), прикрывающая весьма незавидное упадочное настроение. Все та же знакомая нам чубаровская бацилла, только в обманчивой «защитной окраске» якобы крайнего материализма. Видите ли, по их «крайне-левому» (уж эта детская «левизна»!) взгляду весь половой вопрос сводится к одной «голой физиологии». И всякий, кто считает, что наши отношения полов не являются точной копией собак, кошек, стрекоз и мух, непростительно уклоняется от чистого материализма. Маску, однако, долой! Всякому серьезному юноше-ленинцу должно быть ясно,

что и здесь мы имеем лишь новую разновидность той «левизны», которая до зеркальности—или как правая и левая перчатка—сходится с грубейшей «правизной».

А по существу дела, скажите, далеко ли от этой высокомерной «голой физиологии»—до чубаровского стадного изнасилования?

II. Обеззаражение бациллы

Дело ясное, что в такой старинно-крестьянской и мелко-буржуазной стране, как наша, нельзя и думать о быстрой ликвидации хулиганства во всем его размере. Полное решение задачи совпадает здесь с «огорожением» деревни, ее электрификацией, кооперированием и «культурификацией». А сие самое означает и водворение социализма на всем пространстве наших Гореловок и Неурожаек. Словом—масштаб долголетний. Но кто же сказал, что практически серьезная опасность хулиганства устраняется только его окончательной ликвидацией? Практически вопрос идет лишь о победе над теперешней вспышкой чубаровского «гриппа». Победите вспышку, и хулиганство, «локализованное» в своих исторических «нормах», перестанет грозить, как сейчас, всей культурной (да и политической) работе среди молодежи вообще. А что сейчас известная угроза все же имеется, видно из таких цифр (у того же т. Крыленко). Число лиц, привлеченных в административном порядке по РСФСР за хулиганство, озорство и пр. нарушения правил общественного порядка:

В 1924 г.	—	2-й кварт. 38.786	3-й кварт. 52.660	4-й кварт. 63.788
В 1925 г.	1-й кварт. 64.933	2-й кварт. 67.010	3-й кварт. 83.570	4-й кварт. 100.097
В 1926 г.	1-й кварт. 100.022	2-й кварт. 111.386	—	—

т.-е. неуклонный рост по кварталам, при чем последний квартал показывает рост в 3 раза по сравнению с первым. Пусть даже тут отражается и растущая административная энергия в привлечении хулиганствующих к ответу, но все же налицо и немалая энергия «ба-

циллы». Оздоровить от нее почву (а не только административно и судебнo карать),—настоятельная необходимость.

Ясно опять-таки, что основная задача заключается в том, чтобы профессиональная, «квалифицированная» хулиганщина Чубаровых переулков (в ка-

ждом большом фабричном центре есть такие переулки) осталась изолирована, так сказать, «без прихода». Чтобы ее мерзкие подвиги потеряли ту магическую, притягательную силу на гораздо более широкие, массовые круги *несколько* озорной вообще нашей молодежи, какую они в данный момент, по особым условиям роста нашей общестственности, успели приобрести. Чтобы не тянуло наших «ребят» иногда с большей силой к Чубарову, чем к «комсомолии». Чтобы (факт, может быть, наиболее опасный) не упрочилось обнаружившееся в чубаровском деле то вредное, чисто-интеллигентское *раздвоение*, когда юноша начинает считать комсомол только за формальную, не обязывающую ни к чему «веру», а «настоящее», привлекательное, хотя и запрещенное формально то же «верой»,—видит во всяческом озорстве, пьянке, бахвальстве насилиями над «девчонками» и пр. уличном «геройстве». Раздвоение, столь знакомое старому [опять-таки быту, где религия, бог—только для красного угла, а поведение регулируется своекорыстным, а то и попросту собачьим и звериным кодексом.

От этого раздвоения и от упадочных настроений (что, впрочем, по сути—одно и то же) и получается для «чубаровцев» такая, вероятно, для них самих неожиданная позиция, когда они оказываются как бы «лидерами» борьбы с Советской властью и партией—за молодежь. Кто кого?

В самом деле—припомните из разных судебных процессов и газетных корреспонденций все те немалочисленные все же случаи, где хулиганье обнаруживает уже нечто вроде постоянной организации, род шайки, притом шайки, систематически «работающей» по срыву клубов, кооперации и вообще против растущей «новой жизни»¹⁾. Такие случаи за самое последнее время в особенности сообщаются из западной и южной Украины. И даже председатель Укр. ГПУ, т. Балицкий, в своем

докладе сообщил недавно, что кое-где пробивается организационная связь с заправской контр-революцией. В большинстве, конечно, дело не заходит так далеко, ограничиваясь стихийной, слепой ненавистью ко всякой новой культуре со стороны озорников-лидеров (что и заранее, т. ск., понятно,—раз корни озорства целиком сидят в дореволюционных бытовых условиях). И вот естественно, что в первую голову хулиган наталкивается здесь на комсомол и ведет с ним почти что «идейную» борьбу за влияние на молодежь. Тов. Л. Авербах, один из наиболее чутких к внутренней жизни передового молодняка наших литераторов, даже прямоком говорит (для деревни) о «*борьбе за средняцкую молодежь*» с хулиганством, «нередко являющимся в деревне оборотной стороной роста политической активности кулака» («Правда», № 286, 1926 г. «К вопросу об очередных задачах КСМ»). Он же указывает на «*появление единичных хулиганских кружков, кое-где прикрывающихся анархической фразеологией*», и на «*опасность создания особых организаций крестьянской молодежи*»—конечно, с подобным же анти-культурным, анти-советским уклоном. Но и в промышленных городах та же борьба за культуру, и молодежь находит один из главных фокусов сейчас—в борьбе с уличным «*похабством*», пивнушкой и всякого рода озорством. Сюда—притягательное внимание «*молодежны*» организаций.

Интересно в связи с этим привести портрет одного из «славных» лидеров московского хулиганства. В 1925, кажется, году ликвидированы в Замоскворечьи две крупные хулиганские шайки: «Болотно-Кадашевская» и «Татарская». Последняя—более, в своем роде, «идейная», направляла свои усилия в особенности против клубов и кинематографов: врывалась в помещение, затевала драки, отвергивала водопроводные краны, била стекла и унитазаы в уборных, громила заведующих. И вот главарь «Татарской», некто Ф., слесарь, 20 лет, отличался особой личной привлекательностью для «отчаянной» молодежи. У него были свои «благород-

¹⁾ В Киеве, напр., против установок [столбов электр. освещения на темной до того окраине.

ные» правила: первый не задевал— только если «затронут», зла не помнил, храбр—«на что хошь пойду, хоть убей», и т. д. Обследование особо [отмечает у него «налет чувства вщемления—*оппозицию современности*». После освобождения оказалось, однако, что он усиленно был занят... чтением политброшюр! Последнее показывает, что даже среди наиболее активных хулиганов, «борющихся за молодежь», есть не все безнадежные. Следовательно, *тем более* углубленная работа культурная и политически-просветительная имеет все права рассчитывать на «образование» массового, рядового или случайного юного озорничества. И тогда отпетая чубаровщина, зная не желающая вообще ни культуры, ни нашей общественности, окажется действительно обеззараженной и отгиснутой от неустойчивого молодняка в свой затхлый угол. И теряет свой «налет», свою «шапку набекрень», и спрячется. И—по неотъемлемому свойству трусливого стадного хулиганства—1.000 раз призадумается, прежде чем лезть на такие «эффектные» подвиги, как в Чубаровом. А сейчас только наличие более или менее широкого «упадочного» кольца вокруг того или иного вожака и подбивает его на разного рода «коленца». Как же все-таки углубить воздействие вот на этих понапрасну - упадочных юнцов, впавших в малодушие, а отсюда уж—в озлобленность и готовность к «громким» [ее проявлениям?

Очевидно, что нужно что-то предпринять для прямого и быстрого разубеждения юношей, слишком легко *убеждающих себя* («самовнушающих») в своем общественном бессилии и в негодности общественных, советских организаций. Надо, очевидно, снизить несколько наши принятые методы политическо-воспитательной работы до уровня отсталой психологии, которая как раз в озорстве так ярко сказывается. Снизить—не значит опозлнить или «приспособить» к мелко-буржуазным требованиям. Нет, несколько не посягая на пролетарское, революционное и социалистическое содержание нашей задачи, следует лишь значительно упростить, сильнее *конкретизировать*

те «подзадачи», на которые задача в жизни естественно разбивается. Раз ленинская «учеба» молодежи наталкивается не только на вопиющую малограмотность последней, но еще хуже—на ее «беспривычность» и крестьянскую, полурабскую в основе, слабую напористость в общественной работе, а отсюда на легкость «дезертирства»,—то очевидна необходимость подобного дальнейшего упрощения подзадач. Род педагогической «соски» абсолютно необходим для многих начинающих, впервые в российской истории уразумевающих необходимость вообще общественного действия.

В этом заострении вопроса в сторону ультра-упрощенности и ультра-конкретности я не прибегаю ни к какой «отсебятине». У того же Л. Авербаха, достаточно вдумчиво проработавшего свои тезисы о КСМ, беру некоторые примеры. Он сообщает, напр., факт *особо детализированной* работы в Днепрпетровском округе, в Кандакском районе, где имеются юношеские ячейки фабзавуча: 1) «огнеупорная», 2) «жил-строая», 3) «строительная», оборудовавшие в соседних селах хаты-читальни. Ячейка строительная, наприм., собственными трудами поставила фундамент под дом хаты-читальни и сделала скамейки для сидения. Такие факты я и называю «снижением» задач до общедоступного для всех начинающих уровня или, если угодно, приближением их к самой сырой «молодежной» массе. Может быть, только потому, что во многих других местах не «снизились» до днепрпетровских методов, немало жаждающих общественной «роли» юношей очутились в хулиганской яме ¹⁾.

Впрочем, сами по себе эти фактические примеры не содержат ничего принципиально нового. Это лишь разновидность того, что Ильич понимал под комсомольской «учебой», когда, напр., в знаменитой речи на III КСМ с'езде настаивал на вредности одного чисто

¹⁾ Сюда же можно отнести и ведущую сейчас борьбу за «гармошку»—поскольку она, конечно, ведется целесообразно. Многие можно сделать и в области физкультуры, развлечений и пр.

«книжного», школьного или схоластического толкования этой учебы. «Обеспечение чистоты или распределение пищи... в деревне или в своем квартале... работа на пригородных огородах» — все это вещи, указанные еще Ильичем, в развитие понятия «учебы», не только зубрежной, а, главным образом, практически-общественной. Необходимо лишь этой стороне дела придать все то богатство, разнообразие и, следовательно, наилегчайшую *личную* и потому массовую усвояемость, на какую она несомненно способна.

Снова и снова необходимо напоминать эти ильичевские мысли, а то мы видим, что, несмотря ни на что, клубы наши так и клонятся, будто какою-то посторонней силой, к обращению в «вечерние курсы». Перегрузка книжно-схоластической «учебой» в таких общественных учреждениях, как клубы, где дело идет как раз о массовиках, своим бытом далеко не приученных еще к теоретической работе, такая перегрузка, можно сказать, вопиет о более *практической* установке. Подход к широким слоям молодежи, к ее, увы, еще на $\frac{9}{10}$ старобытной психологии должен быть более пристально-внимательный к ее *недостаткам* — подход, т. е., педагогический, а не слишком часто исключительно организационно-пропагандистский, как сейчас ¹⁾.

Тут необходимо учитывать, как можно ближе, даже индивидуальные условия и черты каждого отдельного юноши, ибо как раз такие индивидуальные условия (в общей сумме составляющие социально-бытовой¹⁾ уровень сегодняшнего момента) чаще всего и служат главным тормозом для отдачи себя общественной работе. В самом деле, юноша часто не самостоятелен хозяйственно и семейно, его связывают путы всевоз-

можных религиозных и прочих предрассудков. И освобождение от них часто кажется ему тяжелым до полной невозможности. Помочь конкретным советом, указать действительную возможность, увлечь по пути личных склонностей и талантов, словом и здесь — упростить, облегчить, свести задачу на уровень общедоступности, — вот «педагогический» прием, который должен все больше укрепляться в юношеской общественности. А то [сейчас имеется в этом пункте известный отрыв от мелких, но жизненных интересов молодежи. Есть-таки известный шаблон и формалистика вдобавок к излишней «книжности».

Углубление работы в этом смысле часто создает своего рода коллективный «катарзис» для омраченного малодушием сознания многих юношей. «Катарзис», т. е. «разрешение», таков принятый в клинике нервных болезней термин для излечения, в частности, истерии, где все дело заключается всегда в тяжелом состоянии безотрадного и ошибочного самовнушения. Нащупайте «пункт» этого самовнушения, сумеете осторожным и дружеским подходом разубедить «одержимого» истерика в нелепости его малодушной идеи, — и вы получите «очищение», «катарзис». Большой выздоравливает.

Чубаровская бацилла проявила более или менее яркую вспышку как раз на почве такой своего рода коллективной истеричности, создавшейся от столкновения старого с новым. Грязевой вулкан хулиганства дал в связи с этим свое зловонное извержение. Понять его социальную природу, его хозяйственную базу и его социально-психологическую «надстройку», локализовать его шумно-дымные очаги, повернуть весь процесс в благоприятном для строительства социализма направлении — все это до значительной степени в наших руках.

¹⁾ Этим несколько опять-таки не умаляется значение уже наличной культурно-просветит. работы в клубах, избах-читальнях и пр. Имеется в виду лишь ее *углубление* в некоторых пунктах.

VII. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ АЗБУКА

(Новое открытие во Франции)

Игн. Стеллецкий

Франция наших дней взволнована необычайным открытием: найдена азбука каменного века!

Это звучит парадоксально. Понятно, что ученый мир сразу же распался на два лагеря. Началась ожесточенная борьба мнений на столбах прессы.

Вопрос, действительно, важный. В случае научного подтверждения открытия, горизонты европейской цивилизации раздвигаются необычайно. Ведь неолитическая азбука древнее древнейшего из известных нам алфавитов—финикийского.

Фрагменты с неолитическими письменами были найдены в знаменитом отныне Глозеле. Глозель—село в 23 километрах от Виши, в долине реки Allier. Здесь, как водится, совершенно случайно была открыта шумевшая

I. Неолитическая стоянка

Честь открытия стоянки принадлежит Fradin'у и Morlet. Близ названного селения в 1924 г. скромный лесовод Fradin выкорчевывал лес. Пройдясь по расчищенному месту плугом, он зацепил две плитки и на собственный страх и риск тотчас произвел пробные раскопки. Оказалась овальная могила с фрагментами глиняной посуды и шлаком. Слух о находке быстро облетел окрестности. Первым явился д-р Morlet, знаток доистории края. Вместе с лесоводом они произвели систематические, научно правильные раскопки.

Результаты получились совершенно неожиданные.

В могильной яме оказалась неолитическая гробница из плит, фрагменты ручных мельниц, поделки из кремня, редко шлифованные, преимущественно же оббитые предметы: закругленный сапожный ножик, точильный брусок, колотушка, топор, шило и множество керамических изделий, в том числе: ваза, светильник, миска и кружка; изделия из стекла и следы пла-

вильных печей. Но никаких следов металла!..

Результаты произведенных исследований Morlet были опубликованы. Morlet первый делает попытку определить время стоянки, при чем он исходит из двух фактов: 1) факта совместной находки оббитых и шлифованных кремней и 2) факта находки валуна с удивительно тонким резным изображением оленя.

Следовательно, умозаключает Morlet, обитатель Глозеля знал это животное. Олень, как известно, направился к северу, когда климат Европы после оледенения сделался умеренным. Таким образом, глозельская стоянка является переходной от палеолита к неолиту. Это приблизительно та эпоха, которую Ф. Салмон в 1886 г. назвал Кампиньинской, по имени стоянки в де-Кампиньи (деп. Н. Сены), открытой де-Морганом в 1872 г. Стоянки этой эпохи характеризуются наличием фундаментов и следами очагов в виде груд пепла, с зарытыми в них фрагментами грубой глиняной посуды, иногда орнаментированной геометрическими узорами; не редки также и поделки из кремня. Шлифованные кремни при этом настолько редки, что присутствие их здесь ученые склонны объяснять случайностью. Типичные для неолита копейвидные и с зазубринами кремневые наконечники стрел здесь также совершенно отсутствуют. Габриель де-Мортинье об этих стоянках определенно замечает, что «они могли бы отметить собой начало неолитической эпохи во Франции», другими словами, эпохи появления, по выражению Моргана, «бесконечного числа нововведений». Курганы и гробницы неолитического человека свидетельствуют о наличии уже веры в потусторонний мир, а дольмены—о начатках архитектуры. Кремьень в жизни человека каменного века играл громадную роль. С целью добыть его, неолитический человек вырывал подчас

глубочайшие шахты; на месте добычи он устраивал первые мастерские. Тогда же появляются впервые и укрепленные города (городища). Постепенно мадленская резба животных на камне сменялась «грубыми изображениями человека, его оружия и геометрическим фрагментом» (Морган). Самое же разительное—первые попытки человека этой эпохи *изобрести письмо*. Найденные Fradin'ом и Morlet в Глозеле четыре глиняные плитки с правильными начертаниями по сырой глине линейных знаков определенно наводят на мысль о *неолитическом письме, об азбуке каменного века!* На этой позиции твердо и незыблемо стоит Morlet и его многочисленные единомышленники.

Значки букв строго индивидуальные и удивительно своеобразны, хотя степень четкости и обработки их далеко не одинакова. Наиболее приближаются к начертаниям букв латинской азбуки следующие: X, R, L, H, O, T, C, I, K; остальные не имеют точного сходства с современной азбукой. Насчитано пока знаков всего до 90. Любопытно, что некоторые из этих знаков встречаются вырезанными и на валунах. Ни в каком случае, однако, они *не являются мотивом орнаментальным*.

Высказано также мнение, что вырезанные на костях и оленьих рогах знаки типа буквенных относятся к концу *палеолита*. Тождество тех знаков со знаками глозельскими *не подлежит сомнению*. Остается признать, что современная наука обогатилась письмом, языком и азбукой, по меньшей мере, неолитическими.

II. Жало скептицизма

Ученый скепсис—необходимый атрибут всякого крупного научного открытия. Сознвая неизбежность дискуссии, Morlet первый пошел ей навстречу. Он сказал: кто из ученых сомневается и желает его выводы проверить—приходи и копай! На призыв Morlet слетелись в Глозель виднейшие французские ученые: Ricci, Reinach, Esperandieu, C. Jullian, Deperet, Viennot, Varigni, Begouen и др. Из этой блестящей плеяды *скептическую* позицию упорно за-

щищают только трое: Ricci, C. Jullian и Begouen. Последний проявил свой скепсис в многочисленных заметках в «*Matin*» и в «*Journal des Debats*», а также в интервью с д-ром Morlet в «*Journal*». Слепой, безоглядный скептицизм Ricci способен вызвать удивление. Ricci вместе с Reinach'ом, в присутствии Fradin'a и Morlet, производил поверочные раскопки в Глозеле. На его глазах были найдены: глиняные плитки с письменами, пряслица и костяная игла с отверстием. Вечером, при возвращении с места раскопок, между ним и Morlet имел место характерный диалог.

Morlet спросил Ricci, что он думает по поводу сделанного открытия?

«Не скрою от вас, что думаю. Часть фрагментов каменной посуды да еще, пожалуй,—я не вполне в этом уверен,—обломок шлифованного топора я считаю подлинными, *все остальное—подделка*». Morlet был ошеломлен: «Вы же собственными глазами видели и собственными руками осязали и даже очищали плитку с письменами, найденную в абсолютно девственном, никогда и никем не тронутом слое глины, плитку, как паутиной опутанную тончайшими и совершенно неповрежденными корешками растений! Неужели же вы не доверяете даже свидетельству собственных глаз?». «Невозможно установить,—заметил Ricci,—цельный или нецельный слой, в котором была найдена плитка». «Но припомните,—настаивал Morlet,—что в отверстии пряслицы и в ушке иглы глина была совершенно свежая, сырая. Вы же сами прочищали отверстия, выдергивая из них корешки растений». «Значит,—продолжал Morlet,—Fradin является ловким фокусником, неприметно подменившим один предмет древности другим?!».

Самым серьезным, однако, противником сенсационной находки явился известный историк, академик Camille Jullian. Последний так писал в письме к непремемному секретарю Академии Надписей: «Предметы древности, найденные в Глозеле, двоякого рода: одни подлинные, другие—*поддельные*. Лично меня в данном случае занимают только эти последние. Все они происходят из мастерской железного века, из лесного

убежища колдуна, соседившего с каким-то сельским святилищем. В такого рода святилища стигивались все те предметы древности, которые носят название доисторических: разнообразные поделки из кремня и боевые шлифованные топоры. Глозельское святилище является одним из таких центров. Относится оно к римской эпохе времен императоров Антонина и Севера. Глиняные статуэтки, в которых склонны усматривать идолов эпохи неолита, не что иное, как колдовские куклы, столь обычные в колдовском обиходе того времени. Что же касается плитки с письменами, то это типичные *laminae litteratae*, о которых упоминает Апулей. Служили они для целей записи магических формул, чародейских заклинаний, рецептов и т. п. Основное содержание записей на глозельских плитках составляют предметы, связанные с охотой, рыбной ловлей, сельским бытом и любовью. Вырезаны эти записи на плитках скорописью, латинским шрифтом, иногда с лигатурами, чаще раздельно. Во всяком случае, необходимо устранить самым решительным образом неолитическую или вообще доисторическую эпоху».

Morlet ответил Jullian'у открытым письмом, где подчеркивает, что его оппонент признает подлинным все то, что согласуется с его гипотезой и, наоборот, отвергает, что стоит с нею в противоречии...

«На каких это из найденных таблечек,—спрашивает Morlet,—усматривает Jullian «лигатуры», будто бы обычные для латинской скорописи? Как можно сводить к 22 буквам латинского алфавита 90 типичнейших знаков нашей азбуки?» и т. д. Почтенный историк отвечал обещанием подробнее мотивировать как-нибудь свои положения в особой статье. Такая статья, под названием «Глозель», действительно, появилась вскоре же в номере «*Les nouvelles litteraires*» от 20 ноября 1926 г., вызванная, очевидно, нападками на скептицизм Jullian'а неизвестного автора, поместившего в названной газете статью «*Alphabet de Glozel*».

В своей статье С. Jullian пытается уточнить свою позицию в этом вопросе

и поделиться с читателями своим мнением по поводу раскопок в Глозеле. «Чародейство, магия, это, по мнению Jullian'а,—наиболее своеобразные проявления греко-римской мысли. Это не значит, что они были чужды всякой другой исторической эпохе, но сочинения Вергилия, Овидия и Проперция особенно полны магических формул, а две главнейшие поэмы латинской прозы—«Золотой осел» Апулея и «Сатирикон» Петрония—закljučают ряд сцен, которые прямо говорят о чародействе. Эта страсть к чудесному наиболее ярко проявилась именно в III веке нашей эры. И я могу под каждым предметом древности, найденным в Глозеле, подставить текст из имперской латыни.

«Взгляните на местоположение: лес, ручей, источник, угрюмая пещера под навесом скалы, да это же типичный «священный» уголок античного колдуна, так хорошо нам знакомого по греческим античным статуэткам! И я думаю, говорит Jullian, что в отрезке еще нерушимой земли, при дальнейших раскопках, непременно должно найтись святилище. небольшой алльский храм, как место манипуляций античного колдуна. Найденные в руинах грубые керамические изделия из обожженной глины: разнообразные горшки, вазы, кубки, котлы на трех ножках и пр., представляют бедную обстановку деревенского чародея. Правда, нет предметов из железа или бронзы, но объясняется это колдовским поверьем, что металл отпугивает демонов, которых, наоборот, необходимо было привлечь и обольстить. Не потому ли волшебник Энотей у Петрония пользуется именно глиняным котлом на трех ножках? Вазы Глозеля, будучи местного, грубого производства, представляют, однако, огромный археологический интерес: на их брюхе имеются изображения талисманов: головы ястреба—магической птицы, морской звезды—чудотворной растения, несущего удачу на ристалищах, и другие талисманы—символы безопасности цезаря. Аналогичные изображения известны нам на римских бронзовых сосудах: глиняные горшки Глозеля дают новое блестящее подтверждение.

«Глозельские надписи на галетах или валунах представляют второстепенное значение: они содержат *не свыше десяти* букв и не более одного слова; часто видим одни инициалы, столь обычные в формулах заклинания. Здесь мы имеем дело скорей всего с именами бесчисленных демонов: *Vibirixi, Egegchigal, Vachachus* и др. Интереснее надписи на глиняных плитках, не представляющие никаких затруднений: это—скоропись, своего рода *graffiti* Помпеи, но с особенностями в тексте, говорящими за более позднее происхождение этого текста.

«Буквы—типичные для римского алфавита. Попадаются эллинизмы. Язык надписей в общем простонародный».

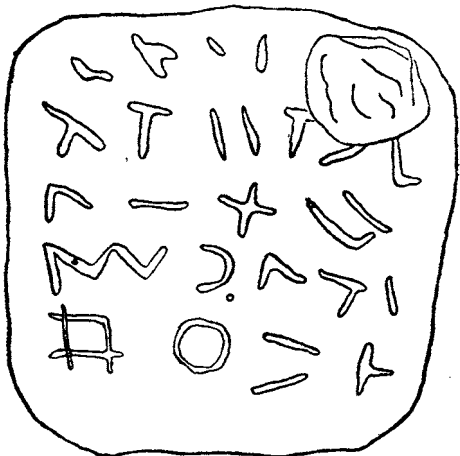
III. Рейнак об открытии

Но вот в Глозель прибыл сам Рейнак. Его прибытие для Morlet было целым торжеством. Morlet первым долгом познакомил Рейнака со своею коллекцией древностей, добытых раскопками глозельской стоянки. Были показаны и нашумевшие глиняные плитки с таинственными письменами и вазы с орнаментом и клеймами, мелкая керамическая посуда, идолы фаллические и гермафродиты, валуны с резными изображениями животных, сопровождаемые загадочными инициалами, гарпуны, приближающиеся к мадленским, шпилья, иглы с ушками, кривые кремневые скребницы для очистки костей и т. п. и т. д.

На другой день, в нетронутом еще месте, были произведены, при участии Рейнака, дополнительные раскопки. Находки оправдали себя. Между прочим, были найдены: крестовидная катушка, с круглым отверстием посредине, прялица из обожженной глины, круглая глиняная ваза с плоским дном и толстыми стенками, костяная игла с просверленным ушком, лежавшая поперек трапезы.

Когда, по окончании трудового дня, компания археологов уходила с места раскопок, д-р Морле случайно поднял плоский ком земли, густо опутанный тончайшими корешками растений. Он показал его бывшему тут же Ricci,

с предупреждением быть осторожным. Но было уже поздно: в руках неловкого ученого ком рассыпался. Рейнак, видевший находку мельком, полагал, что это была одна из плиток с надписью. Он выразил страстное желание



найти такую же самому. Ему тотчас было показано место, где Fradin'у впервые посчастливилось выпахать две, столь нашумевшие потом, плитки. По мнению Морле, их тут находились целые залежи. Собственноручно приступили к раскопкам. Под слоем гущуса показался рухнувший слой, густо насыщенный предметами древности. Морле оперировал осторожно ножом. Вдруг лезвие ножа ударилось о красный кирпич. Это оказалась ископаемая плитка! Когда ее с большими предосторожностями очистили, перед глазами исследователей предстал целый экземпляр глиняной плитки. Поверхность плитки была испещрена множеством загадочных буквообразных знаков (см. рис.). Беглый осмотр замечательной находки окончательно убедил Рейнака в правильности его выводов и, наоборот, поверг в новые муки сомнений неисправимого скептика Ricci. На другой день раскопки продолжались. Рейнак очертил большой квадрат на целине, сбоку той траншеи, где была найдена плитка с письменами. Раскопки велись целый день. Найдена была серия фрагментов каменной посуды, куски пережженной земли (иные из них были покрыты стекловидной массой), кремневый на-

конечник с признаками как бы ретуши, «батавская слезка» в стеклянном сплаве светлоголубого цвета, острие и ушко переломанной надвое массивной иглы из оленьего рога.

По желанию Рейнака, еще раз была внимательно осмотрена т. н. «Западная траншея», с чрезвычайно насыщенным культурным слоем, соблазнившим Рейнака на новые раскопки. В его присутствии здесь был найден, между прочим, чрезвычайно интересный экземпляр двуногого идола с надломленным наполовину фаллусом и, к утешению исследователей, новый экземпляр плитки с письменами. Рейнак, удовлетворенный, отбыл 26 августа 1926 г. в Париж, где на другой же день сделал обстоятельный доклад.

IV. В Академии Надписей

Лейт-мотивом сообщения Рейнака о раскопках в Глозеле было категорическое отрицание какой бы то ни было *мистификации* по отношению к плиткам с письменами. Дело в том, что одна из таких плиток, как и чрезвычайно странного и совершенно нового типа стагүетка из обожженной глины, были найдены при раскопках как раз в его присутствии, следовательно, при условиях, устраняющих всякую возможность ошибки или обмана. При всем том, *ни малейших следов металла или каких бы то ни было фрагментов галльской или римской эпохи*, а на вырытых камнях были обнаружены грубо вырезанные изображения, между прочим, северного оленя. Эпоха оленя для Глозеля, конечно, самая древняя, тогда как наиболее близкая к нам, со следами уже, возможно, металлов, может быть датирована 4.000 лет до нашей эры.

Плитки с письменами, каких до сих пор найдено до 15, представляют громадный интерес, так как являются древнейшими из известных образчиков письма. Иные буквы выполнены с удивительным мастерством, даже способным возбудить подозрения; другие представляются чем-то совершенно новым и невиданным.

В этих загадочных письменах Рейнак определенно видит *алфавит неолитический*,

ничего общего ни с финикийским, ни с архаическим греческим или латинским не имеющий. Пока не представляется никакой возможности объяснить или расшифровать загадочный текст.

Свой доклад Рейнак иллюстрировал 14 фотографическими снимками древностей, найденных в Глозеле. Особенно интересен камень, с вырезанным на нем изображением конницы. На других попадаются изображения пещерных медведей и северных оленей. Немало также кусков, а также и целых плиток, с письменами. Рейнак заявил, что он не намерен сдавать раз занятых позиций, так как твердо убежден, что все находки в Глозеле абсолютно подлинны. В этом же убеждает и находка в Португалии, в 1804 г., дольмена с аналогичными начертаниями. Теперь эти две находки лишь подтверждают одна другую, лишняя раз подчеркивая, что новооткрытый алфавит древнее всех существующих.

Некоторое, очень отдаленное, впрочем, сходство новонайденный алфавит имеет, пожалуй, с алфавитами эгейским и, отчасти, финикийским, появившимся в Европе в конце каменного века, о чем догадывались уже Estatio de Veiga в 1891 г. и в особенности Ed. Piette, в 1896 г., базируясь при том на признаках гораздо менее точных.

Esperandieu, с своей стороны, также полагает, что открыта именно неолитическая азбука, представляющая громадный научный интерес. Если подлинность ее будет доказана, горюет он, она повлечет *переворот в науке*.

«Почему бы не допустить,—пишет он,—что люди, уже достаточно развитые интеллектуально и эстетически, чтобы оставить следы своего декоративного искусства в Альтамюре (Италия), пришли к мысли сочетать с определенными знаками известные модуляции речи? Почему бы не допустить, что эта «идея азбуки» зародилась именно на берегах р. Аллье? И разве обязательно, далее, чтобы европейская азбука произошла именно от азбуки финикийской? Сам собою напрашивается вывод, что истоки нашей азбуки

гораздо древнее, нежели то принято думать. Пусть скептики кивают головой, что, мол, резным плиткам Глозеля далеко до кремней Шелля и Мадлена; что мешает им завтра же сделаться документами неопровержимыми? Да и финикийцы ведь хорошо известны в истории своими талантами все упрощать, приспособлять, всячески утилизировать». Esperandieu не чужд также мысли усматривать здесь *первобытное святилище*, в котором чрезвычайным почетом пользовались производящие силы природы. Не найдутся ли также в долине Аллье «каменные бабы» типа тех, что свезены со склонов Совенн и сохраняются в естественном историческом музее в Ниме? Как бы то ни было, но свидетельства различных стран говорят в пользу весьма древнего расцвета интеллекта в стране, занимаемой современной Францией».

По следам Рейнака пошел и Deperet, который также, в компании Viennot и

Henry Varigni, произвел поверочные раскопки нетронутого еще слоя в Глозеле, о результатах которых доложил в Академии Надписей 12 октября 1926 г. Им тоже были найдены известные уже нам плитки с письменами и камни с резными изображениями животных, продемонстрированные им во время своего доклада. Выводы Deperet целиком совпадают с выводами Рейнака: *в Глозеле открыта типичнейшая неолитическая стоянка*.

Ни о каких подделках или фальсификациях здесь не может быть речи. Обследовав глозельскую стоянку в геологическом разрезе, Deperet склонен приурочивать ее к *концу неолита, перед самым появлением металла*, который среди находок Глозеля еще абсолютно отсутствует.

Это замечательное открытие в Глозеле еще долго будет волновать Европу, прежде чем научная истина об азбуке каменного века станет аксиомой.

VIII. ПОРХАЮЩИЕ ПОЛОТЕНЦА

(В китайском театре)

Сергей Алымов

1

Для скользящего по поверхности европейского взгляда китайский театр представляется причудливой игрушкой, к которой не следует относиться серьезно.

Мир чуждых мелодий, красок, движений, восклицаний...

Мир неестественных бород, невиданного грима...

Мир оглушительных шумов, молниеносных движений, варварского, подлинно азиатского великолепия...

Взглянул, послушал и с облегчением вышел на воздух, чтобы, промчавшись в авто по узким улицам китайского города, вернуться к мягким креслам европейского отеля, к виски-сода, коктейлям, нудной игре в кости, и все свои впечатления выразить в убогой фразе:

— Интересно на пять минут. Но вредно для уха...

Этой фразой исчерпывается отношение «просвещенных» европейцев к китайскому театру.

Представители пальмового мыла и таможенные чиновники, бесчисленные туристы и еще более несметные отравители Поднебесной Республики гораздо больше уделяют времени самым мелким вопросам, связанным с искусством провоза опиума или морфия, чем китайскому искусству, в частности искусству театра.

О китайском искусстве и театре существуют до сих пор самые отрывочные, фантастические понятия.

До сих пор китайский театр является экстравагантным флаконом из резной яшмы, пробку которого не вытаскивают, довольствуясь наружным осмотром.

А, между тем, какие редкостно волнующие и свежие скрываются в этом флаконе ароматы!..

Театр, который существовал за два с половиной тысячелетия до начала

нашей эры, накапливая огромный репертуар, утончая и доводя до мыслимого предела искусство актера...

Конечно, это не европейское мастерство.

Но у китайского театра свои пути, свои заслуги, свои достижения, которыми он может с полным правом гордиться.

Первая заслуга китайского театра — это его органическая, ни на минуту не прерывающаяся сращенность с зрителем.

Если актер китайского театра — голова, то зритель китайского театра — туловище, снабженное второй парой глаз и ушей, живо реагирующих на все то, что делает голова.

2

Уже самый вход в китайский театр настраивает на особый лад.

Клокотанье пестрой толпы, мелодичные звонки рикш, крики торговцев жареными каштанами, храп осаживаемых с разбега лошадей, ослепительная резьба подплывающих паланкинов, — уже это — начало театрального действия. Уже это одно — спектакль, начинающийся под небом и без режиссера.

Через красные, лакированные ворота, мимо украшенных розовыми аистами на голубой эмали сероватых стен — бурлящий поток толпы.

На каждом шагу лотки и корзины с раскрашенными булочками, кусками алого арбуза, орехами, яблоками, румяными пластами дымящейся, жирной свинины.

Свистят вскипевшие огромные чайники.

Спешащие в театр кули на ходу запа�аются пищей и лакомствами. Цыновки, повешенные у входа вместо дверей, едва успевают опускаться, пропуская идущих театралов.

Все большие городские театры Китая построены одинаково. В архитектурном отношении им похвастаться нечем. Главное, что предусматривается: вместительность.

По внешнему виду и по внутреннему устройству здания китайских театров напоминают большие куполообразные шары.

Но это и неважно, ибо с улицы китайского театра и не видно. Он сдавлен улочками и переулками. Со всех сторон облеплен и окружен расписными павильонами-ресторанами, резными, узорчатыми «базарами любви», арками, воротами.

Нутро китайского театра просто и незатейливо.

Впереди, против входа, — поместительный помост, не отделенный от зрительного зала никакими рампами или оркестрами. На этом помосте помещается все, что нужно для данного спектакля: оркестр, реквизит. Тут же, по бокам, толпятся свободные и молодые, присматривающиеся к игре премьеров, актеры.

Оркестр работает, не покладая рук. Для новичка китайская музыка кажется сплошной чехардой звуков.

Один звук резче и пронзительнее другого.

Эти звуки гонятся друг за другом, перескакивают и несутся дальше беспорядочной, хаотической толпой.

Большинство инструментов китайского оркестра ударные.

Тут — медные гонги и деревянные барабаны, и просто куски дерева, и заделанные с боков, полые внутри, обрубки бамбуковых стволов.

Струнные инструменты — не нежнее.

Но, как только ухо немного освоится с этим ошеломляющим беснованием звуков, становится ясным наличие особого китайского ритма мелодии и даже гармонии.

Эти дудки, рожки, визжащие скрипки и гонги — главное, что отпугивает европейского зрителя от китайского театра — самое интересное, потому что музыка в китайском театре неотделима от действия. Китайский театр блестяще предвосхитил вагнеровские мечты о музыкальной драме.

И важная публика верхних лож и ободренные обыватели гривенничных скамеек — с одинаковым наслаждением слушают грохочущие раскаты родной музыки.

Зрительный зал живет и движется так же, как и актеры на сцене.

На сцене своя жизнь и активность. В зрительном зале — своя.

Каждый удачный жест актера, каждое меткое слово актрисы, каждый ловкий, акробатический трюк вызывают у зрителей единодушные крики восторга.

Наиболее остроумные диалоги, в которых противники блестяще наносят и отражают словесные удары, проходят под бурный аккомпанемент возгласов: «хао!» («браво!»), покрывающий аккомпанемент оркестра.

Партер занят столиками, потому что китайский зритель, зачастую проводящий в театре около десяти часов без перерыва, и пьет и ест во время действия.

Представление в китайском театре начинается обычно в полдень и заканчивается в одиннадцать часов ночи.

Китайский театр антрактов не знает. Звенья бесчисленных актов одной пьесы или отдельных пьес тянутся беспрерывной цепью.

Обычно публика смотрит спектакль с шести часов до конца. Но есть немало любителей искусства, просиживающих от первого удара оркестрового гонга до последнего.

3

Китайский театрал всегда соединяет зрительные и слуховые ощущения с вкусовыми.

В верхних ложах, занимающих правое и левое крыло балкона, барьеры устроены в форме узеньких столов.

Дымится прозрачный бледно-зеленый чай, который разносят ловкие прислужники.

Вдоль верхних лож и между столиками партера все время мелькают подносы с кушаньями, напитками и сладостями.

Если смотреть снизу вверх, то барьеры лож кажутся прилавками фруктового базара, а партер ничем не отличается от типичного большого китайского ресторана.

Дешевый, десятицентовый зритель без всяких удобств держит чашку с чаем и блюдце с арбузными семечками в руках.

Привилегированные обитатели лож и партера пиршествуют с комфортом.

Золотая китайская молодежь и чиновники, в шелковых халатах с тисненными пионами, заполняют первые ряды партера.

Край сцены служит им общим полукруглым столом.

В двух шагах от умирающей на полу героини плавают в фарфоровой тарелке коричневые трепанги, сверкают золотом оранжевые мандарины, отливают слоновой костью хорошо высушенные арбузные семечки.

Арбузные семечки—излюбленное лакомство.

Их грызет и важный чиновник в больших черепаховых очках, занимающий своими женами и детьми ложу на двенадцать персон.

И генерал, окруженный ад'ютантами и телохранителями.

И куртизанка в ярко-розовой накидке с фарфоровым кукольным лицом...

Ими развлекаются грязные, оборванные кули.

Их уничтожают обнявшиеся с винтовками солдаты, забежавшие в театр перед тем, как пойти на караул.

А снизу вверх и сверху вниз порхают белыми голубями горячие полотенца.

Порхающие полотенца—поражающая особенность китайского театра.

Вспотевшие от еды, уставшие от долгого пребывания в накуренном помещении лица нуждаются в освежении.

Горячее полотенце успешно выполняет эту задачу.

После того, как лицо вытерто, полотенце свертывается жгутом и зритель швыряет его ближайшему служащему, который без промаха подхватывает брошенное полотенце на лету.

Полотенца, как еда, оркестр и сами актеры,—не знают отдыха. Они порхают из чана с кипятком в зрительный зал и обратно весь вечер, чертя белые дуги по всем направлениям.

Зрители едят, курят, вытирают лица, а на сцене одно театральное действие сменяет другое.

То, что происходит на сцене китайского театра, так же своеобразно и оригинально, как и то, что происходит в зрительном зале.

Прежде всего поражает полное отсутствие необходимых принадлежностей

европейского театра: занавеса, рампы, декораций.

Сцена открыта совершенно.

Освещается она незащищенными какими-либо лампочками, висящими на проводах так же, как это бывает в любой комнате.

В задней стене сцены сделаны две двери, закрытые драпировками. Через левую актеры появляются; через правую уходят.

Задняя стена украшена огромным панно с вытканными на шелку золотыми или цветными драконами.

Нередко это панно вместо драконов имеет изображения рекламируемых сигаретных коробок или мыла.

Иногда тут же, на глазах у публики, лоловина сцены отрезается задерживаемым руками примитивным занавесом для того, чтобы иметь возможность приготовить несложную декорацию-задник.

Эти декорации, входящие в моду за последние годы и служащие фоном, только портят, отвлекая внимание от самого действия и ослабляя краски изумительных китайских театральных костюмов.

Соль, сущность и главное обаяние китайского театра—необыкновенная выразительность театрального действия.

Господствующее мнение, что главным фактором китайского театра является воображение зрителя, можно разделить лишь при условии признания за китайским актером титула «проводника по дорогам воображения».

Не легко при полном отсутствии декораций, освещения и прочих вспомогательных средств заставить зрителя поверить, что перед ним—не два стула, которые легко перешагнуть, а—вероятно трудный переход через Гималайский хребет.

Однако китайские актеры блестяще справляются с этой трудной задачей.

В их мимике зритель ясно видит и трудности восхождения, и судороги боли, и радость благополучно законченного пути.

Жест китайского актера не менее совершенен и поразителен.

Когда помощник режиссера—этот всемогущий волшебник китайской сце-

ны—при помощи двух бамбуковых столбов создает гостиницу в горах, а подвешенной к спинке стула тряпке повелевает стать кроватью под балдахином, то только актер заставляет зрителя поверить в то, что бамбуковые столбы—гостиница и тряпка на стуле—балдахин.

Когда китайский актер переступает воображаемый порог, взломав замок воображаемой двери, его жест настолько изобразителен, что несуществующий порог становится видимым. Та же иллюзия получается, когда актриса откидывает воображаемый полог несуществующей постели. В ее пальцах чувствуется подлинная ткань.

Жесты китайского актера никогда не бывают случайными.

У китайского актера нет никаких помощников, кроме его собственного искусства.

Те же драконы или коробки сигарет находятся позади него и тогда, когда он скачет на воображаемом коне выручать возлюбленную, и тогда, когда он переплывает на углой ладье бушующий океан.

Он должен показать зрителю подлинный характер совершаемого действия, и он этот характер показывает.

Кроме замечательного искусства мимики и жеста китайский театр поражает своей молниеносной динамикой.

Все значительные китайские актеры и актрисы—несравненные эквилибристы-прыгуны, жонглеры, фехтовальщики, акробаты.

Большинство китайских пьес включает моменты массовых турниров, жонглирования и акробатических трюков.

Темп этих сцен, проходящих под бешеный гром оркестра, молниеносно быстр и четок.

Движения двадцати и более человек, носящихся вихрем по сцене, гармоничны и не теряют положенного рисунка.

Обычно сражаются две группы. Но нередко состязания трех и больше групп.

Эти пестрые, сумасшедшие пары и целые батальоны сталкиваются, рубят друг друга сверкающими мечами, фронзают копьями, кувыркаются через голову, не выпуская из рук подчас двух мячей; вскакивают, делают из пляшущих

щего вокруг копы сверкающую огненную сетку и внезапно останавливаются, замирая, как каменные изваяния.

Эффектные, причудливые костюмы китайских актеров легко одержат победу, конкурируя с самым пылким воображением изощренных художников европейской сцены.

Бесчисленные варианты головных уборов; халаты самых смелых узоров и окраски; чудовищно длинные перья; фантастические, свисающие с губ, закрывающие рты бороды; грим в стиле дьявольских зловещих масок—еще более усиливают, возводя в разряд невиданной диковинности, продукцию китайского театра.

4

В репертуарном отношении китайский театр неисчерпаем.

Исторические пьесы тысячелетней древности, драматизированные легенды и сказки, сатиры городского и сельского быта, лирические — любовные пасторали, назидательные драмы, своеобразные арлекинады, имеющие немало общего со старинными представлениями итальянской «комедии дель Арте», современные фарсы, — все это находится в библиотеке любого китайского театра.

За несколько тысячелетий китайской культуры репертуар китайского театра разросся до трудно поддающихся учету размеров.

Однако выдающиеся классические пьесы известны всем и часто повторяются в течение одного сезона.

В большинстве случаев старинная китайская пьеса изображает какой-нибудь исторический эпизод, имевший место много лет тому назад.

Овевающая этот эпизод дымка легенды сохраняет наивное обаяние давно-минувшего до наших дней. Особенно, если этот эпизод трактует такие человеческие добродетели, как любовь к родине, самопожертвование или героизм. Прочной популярностью пользуется старинная китайская пьеса, называемая «Третья жена воспитывает сына».

Сюжет этой пьесы: происшествие, случившееся во времена династии Сун.

У одного человека было три жены. Одна из них родила сына.

Вскоре после рождения сына счастливый отец исчез и долго не появлялся.

Две жены, в том числе и мать ребенка, потеряв надежду на возвращение исчезнувшего, покинули дом.

Осталась третья жена, которая посвятила себя воспитанию брошенного матерью чужого ей ребенка.

Пьеса эта, изобилующая большим количеством драматических моментов, пользуется неослабевающими симпатиями публики.

Другая пьеса: «Сын, брошенный в роще» не менее чувствительна. Она показывает отца, принесшего сына в жертву.

Во время наступления вражеской армии герой взял с собою жену брата, племянника и своего собственного сына и отправился к родственникам, жившим на почтительном расстоянии. В дороге невестка попала в плен, и на руках благородного дяди и отца остались сын с племянником.

Мальчики были маленькие и сами идти не могли.

Пришлось тащить их обоих на руках.

Ноша оказалась непосильной, и бедный старик почувствовал, что едва ли ему удастся достигнуть намеченной цели с обоими ребятами.

Одного необходимо было оставить.

— Но кого из двух?

Трудно было старику решить этот вопрос.

В конце концов он сказал самому себе:—«Мой младший брат умер. Невестка моя пропала. Если я не позабочусь о моем племяннике, как я посмотрю им в глаза, когда попаду на небо?»

И старик решил бросить своего сына, взяв с собою только племянника.

Вскоре после принятого им решения беглецы подошли к фруктовой роще. Старик велел сыну нарвать фруктов.

Едва сын начал взбираться на дерево как отец привязал его к столбу и, оставив рыдающего мальчика, ушел дальше с племянником.

Но тут бежала из плена тетка и, так как ей пришлось пройти через рощу, она освободила своего племянника и,

захватив его с собой, благополучно добралась домой.

Там уже были старик с ее сыном.

Узнав о принесенной стариком неслыханной жертве, все родственники и жители окрестных селений воздали ему большие почести.

Военные пьесы также осуждают порок и восхваляют добродетель.

Все же главная приманка военных пьес—это битвы и поединки, в которых актеры показывают свое исключительное мастерство фехтовальщиков и акробатов.

Китайский зритель охотнее реагирует на жест, чем на слово, хотя достижения вокального характера часто вырывают у него восторженное «хао!» («браво!»).

Китайские пьесы обычно все смешанного типа. Проза в них перемешана с пением.

Иногда больше прозы. Иногда преобладает пение. Все пьесы идут под оркестр, и наиболее сильные и патетические места имеют форму вокальных арий или дуэтов.

Суфлера китайский театр не зчает. Все пьесы заучиваются наизусть и идут без подсказа.

Неведомы китайскому театру и художник-декоратор, бутафор, реквизитор.

Всем управляет помощник режиссера («чаньянь»—открытое лицо), который с невозмутимым спокойствием распоряжается сценой.

Здесь он водрузит два кресла, изображающие тронный зал во дворце.

Там он поставит поднос с двумя чашками, исчерпывающий роскошь безумного пира в палатах богача.

Или подержит на минуту плакат—гробницу отца, у которой будет лить слезы безутешный сын.

Помощник подкладывает подушки под колени опускающихся на пол богато разодетых героев. Подносит чай осипшим от рулада оперным диваном. Попривалывает недостаточно эффектно ниспадающие бороды. Воздвигает горы. Роет пропасти и моря... Вообще, творит чудеса с помощью самых простых незатейливых предметов, вроде стульев, столов и палок.

Китайский театр не страдает сложностью постановок и на декорации не тратится,

Золотые драконы одинаково извиваются и во время чувствительных мелодрам и при исполнении веселых комедий.

Девять, десять часов калейдоскопически меняющихся пьес с десятками сложных переодеваний порядком утомляют актера.

Между выходами он отдыхает в общей уборной.

Эта большая комната во всю ширину зрительного зала—сплошная фантазмагория.

На полу стоят бесчисленные сундуки с костюмами.

Стены увешаны колчанами со стрелами, расписными щитами, латами, шлемами с саженными фазаньими перьями, мечами, секирами.

Актеры лежат на сундуках, на цыновках. Курят трубки с табаком и опиумом. Снимают грим для того, чтобы наложить его снова.

В своей уборной китайские актеры, особенно во время постановки военных пьес, похожи на воинов, отдыхающих от боя в потайной пещере, а актрисы напоминают цветы, утомленные чрезмерным восхищением посетителей «Грушевого Сада».

«Грушевый Сад»... Так по-китайски называется «Храм Мельпомены».

Это поэтическое название театра и его служителей впервые было пущено в ход знаменитым богдыханом, эстетом Танской династии, Мин-Хуаном, любившим роскошь изысканной жизни и прекраснейших женщин, и покровительствовавшим всем искусствам. При нем (в восьмом веке) была впервые учреждена школа актеров, называвшаяся Цзяо-фан («В Грушевом Саду»).

«Грушевый Сад» китайского театра вполне оправдывает свое странное, экзотическое название.

Китайский театр, равно как и китайский актер, исключительно оригинальны и несравнимы. Это одинаково относится как к духу китайского театрального искусства, так и к его технике.

Волшебный «Грушевый Сад» цветет только в Китае...

В этой земле голубых снов, рождающихся у горбатых, как спина верблюда, резных мостов... Навеваемых сладким ароматом лотосов, вздыхающих у мраморных павильонов, имеющих форму лодок.

Китай волшебен. Сказочен. Ошеломляюще-ярок.

Такая же волшебная, ошеломляюще-яркая сказка—и подлинный китайский театр. Где все не так, как в Европе... Где все восхитительно, запутано, как китайский иероглиф... Где правдоподобно самое неправдоподобное, и вероятно самое невероятное...

Начать хотя бы с того, что самые изящные, пленительные женские роли исполняются в китайском театре не женщинами, а мужчинами. И исполняются так, что европейский зритель, которому известна эта особенность китайского театра, ни за что не поверит, что тонкая красавица с телом, изгибающимся, как раскачиваемый ветром стебель лилии, соблазняющая на сцене героев—не очаровательная женщина актриса, а молодой искусный мужчина актер.

Все, начиная с прически,—лицо, фигура, руки, походка—полная иллюзия изображаемого пола. А голос тонкий, фальцетный может ввести в заблуждение самого скептически настроенного, недоверчивого слушателя. Ни глаз ни ухо не в состоянии разгадать этот удивительный маскарад искусства.

Китайские «тань» (актеры, изображающие женские роли), бесспорно, самое удивительное чудо искусства перевоплощения. Европейский театр не имеет ничего даже приблизительно похожего. Рядом с изысканными, пленительными «тань» все прославленные европейские имитаторы женщин кажутся грубой и безвкусной пародией.

Однако это мастерство не дается даром.

Китайский актер проходит длинную школу суровой и трудной тренировки.

Учение начинается с 8—10-летнего возраста.

Ежедневно юные кандидаты в актеры продельвают десятки головоломных акробатических упражнений. Обучаются фехтованию. Совершенствуются в специальной походке. Постигают искусство пронзительного фальцета.

Летом и зимой с утра, едва начинает брезжить заря, юные воспитанники «Грушевого Сада» целыми стаями выводятся на воздух старшими мастерами для групповых занятий.

Будущие создатели образов очаровательных лунных фей и обольстительных оборотней тренируются упорнее всех.

Им приходится переносить даже боль забинтованных ног, стесненных в росте, для большего сходства с женскими.

Эти страдания вознаграждаются сторицей в тех случаях, когда тернии ученичества сменяются розами сценического триумфа. Годы же театральной учебы являются годами тяжелого труда и эксплуатации, так как ученики театральных школ—до очень недавнего времени—являлись полной собственностью своих учителей, которые обычно покупали будущих кумиров толпы у бедняков-родителей, желавших избавиться от лишних ртов.

Учителя не церемонятся с учениками.

Они наказывают их. Заставляют без конца учить пьесы и песни и продельвать для укрепления голоса малоприятные прогулки с запрокинутой назад головой и широко открытым ртом.

В Пекине, например, в холодные зимние утра можно наблюдать интересные сцены массовой театральной тренировки, происходящей у стен храма Неба.

Учеников выстраивают рядами вдоль стены и заставляют продельвать различные вокальные упражнения с ртом, обращенным к стене, служащей своеобразным резонатором. Тут же в одиночку раскачивают более взрослые актеры и актрисы, оглашающие тишину зарождающегося дня особыми, сдавленными криками, употребляющимися на китайской сцене для передачи горя и отчаяния.

Не удивительно, что в результате такой длительной и суровой подготовки китайский актер вступает на сцену во всеоружии многогранного, тщательно отшлифованного таланта. Каждое движение его закончено и гармонично. Каждый жест четок и выразителен. Походка его легка и изящна. И сам он весь в своем искусно задрапированном костюме похож на точеную статуэтку из раскрашенной слоновой кости.

Амплуа китайских актеров многочисленны и разнообразны.

На первом месте стоят актеры, называющиеся «шен». Они изображают героев и важных особ. Необходимая принадлежность «шен» — фантастическая борода, начинающаяся на верхней губе и совершенно закрывающая рот. Когда «шен» изображает молодого знатного бездельника, борода отсутствует.

Первенство с «шен» на китайской сцене делит «тань» — женщина — героиня, кокетка и инженю.

Затем идут премьеры — акробаты — «лю-фьнь» с лицами, выкрашенными в яркий цвет; старики — «гунцзио»; злодеи или демоны — «наньчжао» и многие другие. Обычно в труппе находится не менее пятидесяти актеров.

6

Китайский театр состоит из сплошных условностей. Малейшая деталь грима, костюма, движение имеют свое значение и вызывают в зрителях определенное представление.

Шкура, охватывающая шею, обозначает дикаря. Императоры носят халаты желтого цвета с вышитыми драконами. Два длинных фазаньих пера в головном уборе служат отличительными признаками воина-варвара.

Для более легкого распознавания характера действующих персонажей китайский актер употребляет систему однотонного расширения лица. Красное лицо обозначает доброго, хорошего человека. Белое — хитреца, которому не следует доверять. Синее — дикаря-кочевника.

Любопытна поступь важных персон. Они ходят по сцене торжественно-мед-

ленно. Каждый шаг делается с таким расчетом, что, когда нога поднимается, она на мгновение как бы застывает в воздухе. При ходьбе ноги выбрасываются в стороны.

Женщины ходят мелкими, семенящими шажками. Сверху до колен ноги сжаты. Тело ритмично изгибается.

Язык аксессуаров не менее интересен. Флажки, прикрепленные за спиной, указывают количество армий; которыми данный генерал командует.

Короткая палка, украшенная идущими вверх кистями, есть не что иное, как лошадь. Когда действующее лицо держит палку с кистями в вытянутой руке — значит оно скачет на коне. Когда палка брошена — всадник слез с коня.

Если герою, спасающемуся от преследующих его врагов, нужно спрятаться, он взбирается на стул и, сидя на нем, закрывает лицо руками. Он спасен. Его скрывают стены замка или двери храма, и, сколько бы раз враги ни проносились мимо по сцене, едва не сваливая стула, они не увидят спрятавшегося от них беглеца.

То же с жестами. Один жест употребляется для того, чтобы показать, что герой гребет веслом, другой — для того, чтобы изобразить рытье ямы.

Непосвященному в тайны китайского театра легко спутаться. Это нередко происходит. Бывают чисто-анекдотические случаи.

Б. Аллан, автор интересной «Chinese theatres handbook», рассказывает о двух таких курьезах, происшедших с ним во время его первых визитов в волшебные аллеи «Грушевого Сада».

Первый раз, когда он смотрел китайскую пьесу, на сцену выбежал молодой герой и начал делать жесты, весьма напоминающие открывание дверей, окон и уборку квартиры.

Вернувшись домой, Аллан поделился впечатлениями со своим «боем», который тоже смотрел эту же пьесу, и справился о значении сцены, которую он определил как «уборку квартиры».

Бой с сожалением посмотрел на хозяина и сказал:

— Герой пьесы вовсе не убирал квартиры. Он вычистил, накормил и оседлал желтую лошадь.

— А откуда ты узнал, что лошадь желтая?—справился Аллан.

Бой еще раз удивился.

— Как?! Неужели вам неизвестно, что важный генерал с длинной черной бородой всегда скачет на желтой лошади?

Аллан запомнил об'яснения «боя» и в следующий раз, когда отправился вместе с ним в театр, почувствовал себя значительно увереннее. Увидев на сцене человека, который размахивал руками, как будто что-то скреб, умудренный опытом Аллан подумал про себя: «Чистит другую лошадь»...

Дома, чтобы проверить свою догадку, он спросил «боя»:

— Какого цвета была лошадь, которую чистил сегодняшней герой?

Бой раскрыл глаза, ничего не понимая.

— Да тот парень, с белой повязкой на голове, который сначала бегал по сцене, а потом вскочил на стул.

— О-о! — простонал удрученный театральным невежеством своего господина «бой». — Там не было никакой лошади. Этот человек звонил в колокол у ворот храма.

В другой раз Аллан смотрел небольшую пьесу «Ча-гуань» («Дозор у городских ворот»).

В этой пьесе охранявшая городские ворота женщина с помощью слуги закрывает их на ночь.

Едва воображаемые тяжелые ворота огромными усилиями удалось закрыть и опустить засовы, как появился усталый всадник.

Всадник просит впустить его в город, но, по обычаю, раз ворота закрыты, — они не должны открываться до утра.

Всадник слезает с коня, садится у стены и засыпает. Охраняющие ворота зажигают фонари и бодрствуют.

Внезапно над головой спящего показывается пламя, которое с помощью факела сбрасывает всемогущий и всюду поспевающий помощник режиссера.

Женщина и слуга поспешно открывают ворота, подбегают к спящему и, разглядев его при свете фонаря, будят и почтительно вводят в город.

На этом пьеса кончается.

— В чем дело?—обратился за раз'яснениями к соседу старику-китайцу недоумевающий Аллан.

— Человек, который хотел войти в ворота, был император,—спокойно ответил старик.

— А откуда вы знаете, что он император?

— Разве вы не видели огненной вспышки?

— Видел. Но что ж из этого?

— Как что!?—воскликнул старик.— Разве вам неизвестно, что, когда император засыпает, огненный змей вылетает из его головы через семь отверстий: из двух глаз, двух ушей, двух ноздрей и рта. Когда часовые увидели огонь, мелькнувший над стеной, они догадались, что это император, и открыли ворота.

Китайские пьесы не легко поддаются полной расшифровке, но это не уменьшает их прелести.

Эти разодетые в шелка, ожившие волшебные сказки, полные непередаваемой грации, мелькающие с быстротой самых сумасшедших грез, не могут не восхищать.

Китайский театр обладает могущественнейшими средствами для материализации фантастики. Именно такой жизнью должны жить сказочные герои. Именно так должны двигаться русалки, и только такие жесты должны делать волшебники.

Старый китайский театр—сплошной вымысел, непрерывная галлюцинация, безостановочная звучащая легенда, которую творят изумительные китайские актеры — воспитанники «Грушевого Сада», прообраз которого,—по преданию,—был показан на луне великоллежному Мину во время его воздушной увеселительной прогулки.

7

Казалось бы, что китайские актеры, эти сказочных дел мастера, должны пользоваться особым почетом и обожанием публики.

Ничуть не бывало.

Актерская профессия в Китае в течение долгих веков принадлежала к числу самых низких и малопочтенных.

Восхищаясь волшебной игрой в театре, публика за пределами театра третиrowала актера, как раба.

Актеры и даже актерские дети были лишены права держать государственные экзамены. Их считали неспособными и плохими гражданами, назначение которых возносить в театре в облачные выси искусства, а вне театра выносить всевозможные обиды и несправедливости.

Только недавно, со времени китайской революции, произошло изменение во взглядах на социальное положение актера. Ныне актер—не только равноправный член общества, но часто и привилегированная особа.

Материальное положение китайских актеров различно. Ученики никакого жалования не получают. Их одевают, кормят и, до наступления актерского совершеннолетия, эксплуатируют учителя. Известны случаи, когда становящиеся известными мальчики-актеры получали до тысячи рублей в месяц, и эта сумма целиком шла в карман предпримчивого воспитателя.

В Китае есть не только мужские труппы, но и смешанные, где актеры и актрисы выступают вместе. Смешанные труппы—явление, сравнительно, недавнего времени. Раньше актрисам и актерам не разрешалось выступать вместе.

Особенностью китайского театра, не менее удивительной, чем исполнение мужчинами женских ролей, следует признать и чисто-женские театры («Жунь-цзюэ»), где все мужские роли исполняются женщинами.

Подобно китайским актерам, достигшим поразительных результатов на ампула героинь, китайские актрисы великолепно справляются с мужскими ролями, фехтуя и проделывая акробатические трюки с ловкостью, не уступающей представителям сильного пола.

Обычная плата премьеров 1.000—2.000 долларов в месяц.

Актрисы - примадонны получают 1.500—1.700 долларов в месяц. Очень немногие—3.000.

Совершенно особое место занимал умерший в 1917 г. «король китайских актеров» Тянь-Синь-Пэй, зарабатывавший полтора года тысячу долларов в год.

Конец славной карьеры этого китайского Кина оказался печальным.

Тянь-Синь-Пэй, отличавшийся крайне своеобразным характером, выступал на сцене с десяти лет.

Исключительный голос и другие блестящие данные позволили ему быстро сделать головокружительную карьеру. Его талант был универсальным, но особенно хорошо он исполнял роли «шен». Одной из его коротких ролей была роль главнокомандующего маркиза Чжу-Гэ-Ляна в пьесе «Кун-чен-цзи» («Оборона пустого города»).

Пьеса эта прославляет изобретательную находчивость умного полководца, сумевшего одурачить врага и спасти вверенный ему город трюком, озадачившим соперника.

Герой пьесы маркиз Чжу-Гэ-Лян, к городу которого внезапно подступили вражеские войска, от которых, казалось, не было спасения, приказал открыть все городские ворота, а сам в сопровождении двух юношей взойшел на стену и начал спокойно под аккомпанемент «циня» (китайские семиструнные гусли) распевать вводящие врага в обман песни, восхваляющие прелесть расстилавшегося перед ними горного пейзажа.

Это поставило в тупик предводителя наступавших на город войска.

Открытые настежь городские ворота и маркиз, бесечно предающийся музыке и пению в то время, когда враг наступает, являли столь необычное зрелище, что недоумевающий полководец не решился войти в город и приказал своим войскам отступить.

Выигршную роль маркиза Чжу-Гэ-Ляна, беззаботной песней побеждающего многотысячного врага, Тянь-Синь-Пэй исполнял с исключительным мастерством.

Тянь-Синь-Пэй имел многочисленных почитателей, в числе которых была мать богдыхана, пригласившая великого актера жить в ее дворце.

Любимым занятием Тянь-Синь-Пэя вне сцены было курение опиума, которому он предавался со всей страстью своей экзальтированной художественной натурой.

Мать богдыхана знала о пагубной страсти своего любимца, невоздержанно предававшегося опекуреннию, и в виде исключения предоставила ему право курить маковую смолу везде. Даже на улице. И никто не смел мешать знаменитому актеру погружаться в чары наркоза.

Последние годы Тянь-Синь-Пэй жил в уединении в собственном доме, редко появляясь на сцене.

В мае 1917 года один из влиятельнейших китайских сановников, устраивавший у себя праздники, пригласил знаменитого актера выступить у него в домашнем театре.

Тянь-Синь-Пэй отказался.

Сановник послал «королю актеров» вторичное приглашение, которое тот опять отклонил.

Рассерженный отказом сановник сам сел в автомобиль и, вытащив несговорчивого актера из дому силой, привез в театр.

В дороге и по прибытии на место сановник обращался с знаменитым актером на редкость грубо и бесцеремонно.

Тянь-Синь-Пэй сыграл свою роль, хотя не мог скрыть от зрителей своего подавленного душевного состояния.

Сейчас же после спектакля он уехал к себе домой.

Желая успокоить расхолодившиеся нервы и заглушить обиду, он прибегнул к опиуму, которого выкурив так много, что довел себя через несколько дней до смерти.

Вся китайская пресса единодушно оплакивала смерть выдающегося артиста.

Второй знаменитый китайский актер, находящийся сейчас в расцвете своего гения, это Мэй-Лань-Фан.

Его специальность «тань» — женские роли, которые он исполняет, как никто в Китае.

Мэй-Лань-Фан значительно оживил традиционное, консервативное искусство китайского театра, введя в него новые, современные приемы.

Эти новшества не притянуты извне, а явились результатом тщательного и серьезно го изучения наиболее знаменитых литературных памятников ки-

тайской старины, картин, манускриптов, музыки.

Насытив свое дарование традициям родного искусства, Мэй-Лань-Фан начал вышивать на пожелтевшей от тысячелетий канве китайского театра новые узоры, заменяя отжившие формы современными.

Он реформировал театральный костюм, пользуясь, вместо жесткой, мертвой парчи, мягкие облегающие шелка, позволяющие видеть всю красоту линий изгибающегося в танце тела.

До Мэй-Лань-Фана хороший тон китайского театра не разрешал актерам, играющим женские роли, жестиковать и предписывал все время держать руки скрещенными. Рукава женских костюмов обычно туго стягивались на кистях.

Мэй-Лань-Фан изменил эту традицию, введя свободные, широкие рукава, позволяющие видеть руку обнаженной до локтя, и разработал целую систему грациозных и очаровательных движений рук. Руки самого Мэй-Лань-Фана славятся выдающимся изяществом и красотой.

Мэй-Лань-Фан первый ввел в ткань развивающейся пьесы самостоятельный танец под музыку и собственное пение, при чем этот танец отодвигает на время развертывание интриги.

Нововведения талантливого театрального реформатора встретили отпор со стороны ревностных блюстителей старых традиций китайского театра.

Однако гений Мэй-Лань-Фана сокрушил все препоны.

Сейчас Мэй-Лань-Фан — главный и единственный авторитет театральной жизни Китая. У него учатся десятки молодых актеров. Ему подражают.

Изучение тайн театрального искусства в студии Мэй-Лань-Фана — лучший аттестат и рекомендация для начинающих.

Мэй-Лань-Фан зарабатывает баснословные деньги, получая во время сезона около 40.000 долларов в месяц.

Живет он в Пекине, окруженный бесчисленной свитой секретарей, управляющих и директоров.

У актера, исполняющего более правдоподобно и искусно женские роли,

чем любая талантливая актриса, имеются две жены и одна дочь.

Мэй-Лань-Фан стоит особняком среди всех современных китайских актеров. Его гений дает ему привилегии, которыми пользуется только он один.

Он выступает, главным образом, в пекинских театрах, «Чжэнь-Гуан» и «Цзисен», из которых первый испытывает модернизированные влияния, а второй является хранителем старинных традиций.

8

Спектакли в постоянных городских театрах не являются единственными театральными зрелищами.

Театральные действия совершаются в различных местах и при самой причудливой обстановке.

В большом ходу в Китае представления, устраиваемые при храмах.

Эти специальные представления даются обыкновенно осенью или весной в день праздника в честь одного из мифических китайских богов.

Идут пьесы религиозно-нравственного содержания вперемешку с священными танцами.

Кроме того в Китае принято приглашать небольшие актерские труппы на дом во время семейных торжеств: именин, рождения сына и т. д.

В саду, на лужайке, устраивается помост с цыновочным навесом, на котором и разыгрывается пьеса.

Зрители сидят в садовых беседках или на свежесколоченных скамьях.

Интересной разновидностью передвижных китайских театров являются так называемые «актеры рек и каналов».

Эти актеры живут в больших лодках, пользуясь свои «дома», как сцену, а берега рек и каналов, как места для зрителей.

Доплыв до какого-нибудь селения, пловучие актеры становятся на якорь, грохотом гонгов и визгом флейт известя любителей театра о своем прибытии.

Крестьяне бросают в сторону свои мотыги. Пастухи забывают про коров. Хозяйки—про варящийся рис.

Все спешат на берег, чтобы наслаждаться неожиданным спектаклем, ра-

зыгрываемым на пловучей сцене, задником для которой служит вода, небо и прибрежные камыши.

После трехчасовой стоянки, собрав входную плату, главным образом, натурой, актеры-матросы плывут дальше.

В ресторанах и чайных домиках нередко встречаются труппы пьес. Они говорят на разные голоса. Иногда поют.

Их нанимают для увеселения пьющих и едящих клиентов. Некоторые из них копируют походку настоящих актеров и даже танцуют.

У этих «одногорлых трупп» завидно здоровые легкие и неиссякаемый запас говорильной энергии.

Интересным дополнением китайского театра является «театр теней»—забавная выдумка, совершенствовавшаяся параллельно с театром и достигшая значительных художественных высот.

Технические приспособления «театра теней» весьма просты. Экран, размером шесть на четыре фута, из белого, шелкового газа; глубокая деревянная рама, опирающаяся на подставку; керосиновая лампа. Затем идет «труппа», состоящая из вырезанных из телячьей и овечьей кожи маленьких плоских фигур. Фигуры причудливо раскрашены. На них причудливые костюмы, в миниатюре копирующие великолепные одеяния настоящей большой сцены.

В виду того, что пергамент, из которого сделаны герои «театра теней», обильно промаслен и похож на раскрашенные картинки волшебного фонаря, куклы появляются на экране во всей прелести своих красок.

Эти пергаментные куклолки прикреплены к концам твердой проволоки, вделанной в бамбуковую рукоятку.

Голова, руки и ноги имеют отдельные проволоки, приводимые в движение спрятанным за ширмами демонстрантом с таким искусством, что создается полная иллюзия уменьшенной действительной жизни.

На экране разыгрываются самые разнообразные пьесы. В обстановке сказочного пейзажа прощаются опечаленные предстоящей разлукой возлюбленные... Рыбаки встречают подплывающие лодки... Проносится на лошадях спешащее в бой войско.

Декорации, отсутствующие в настоящем театре, в «театре теней» пользуются широким применением. Они ярко раскрашены, и в соединении со сверкающими, пестрыми костюмами представляют ласкающее глаз зрелище.

Представления «театра теней» идут под музыку. За действующих на экране кукол разговаривает специальный человек. Иногда—это то же самое лицо, которое приводит в движение проволоки.

Дворцы, старинные крепости, ажурные павильоны бороздят белый шелковый экран увлекательной панорамой.

Вот возникает стена, к которой подходят, мерно раскачиваясь, нагруженные верблюды... Мгновение, и верблюды и стена исчезают. Уже цветет пионами ночной сад... Паутинятся ветви деревьев... Молодая красавица вздыхает среди цветов. Исчезает и сад. На высоких волнах борется с бурей одинокая лодка... Не то—приснившаяся сказка, не то—навевная наркотом галлюцинация. Такими прекрасными бывают миражи пустыни...

«Театр теней» очень давнего происхождения. Он существовал до появления настоящего театра.

Помимо «театра теней», китайцы имеют кукольный театр, который еще более почтенного возраста, чем «театр теней».

Таков китайский театр в его лучших, подлинных образцах, не испорченных случайными, наносными влияниями.

9

Современность настойчиво стучится в двери «Грушевого Сада», но пока это—дурная современность, представленная в новой китайской пьесе зубной щеткой, которой играющий в пьесе солдат долго и усердно чистит зубы.

Развертывающиеся в Китае события открывают большие перспективы для создания новых героических пьес. Прошлая китайская история знала только военных героев; новая китайская история ставит на их место героев труда и борцов за национальное освобождение.

Попытки модернизации китайского театра, путем прививки органически не связанных с ним западно-европейских приемов и сюжетов, до сих пор не имеют успеха.

Полным провалом закончилась в Шанхае недавняя постановка «Промысла г-жи Варрен»—Бернарда Шоу.

Поставленная «по-европейски» эта пьеса дала такой винегрет из китайских халатов и перчаток «Дерби», что невольно явилась китайской пародией на европейский театр.

У китайского театра свои пути, которые надо продолжать так, как продолжает их удивительный Мэй-Лань-Фан.

Подлинный китайский театр—ценная сокровищница, из которой есть что почерпнуть театру европейскому.

Книжное обозрение

1 Н. ЛЯШКО. Доменная печь. В. Красильников. — 2. А. СЕРАФИМОВИЧ. Собр. соч. т. XI. Чудо. В. Гольцева. — 3. ВЯЧ. ШИШКОВ. Тайга. С. Пакентрейгера. — 4. БОР. ГУБЕР. Со едн. С. Пакентрейгера. — 5. С. СЕМЕНОВ. Рождение раба. А. Р. Палея. — 6. ГЛ. АЛЕКСЕЕВ. Иные глаза. Н. Замошкина. — 7. Н. МОСКВИН. Кошачий характер. В. Красильникова. — 8. Р. АКУЛЬШИН. Развязанные снопы. Б. Анибала. — 9. Е. БРАЖНЕВ. В дыму костров. Д. Фибиха. — 10. „Русская проза“. Л. Якобсона. — 11. „Творческая история“ Л. Гроссмана. — 12. „Последние дни колчаковщины“. А. В. Шестакова. — 13. Е. М. и Д. Н. ЛУБОЦКИЕ. Душа животных и человека. А. Б. Залкинда.

Н. Ляшко.—«Доменная печь». Собрание сочинений, т. VI. ЗИФ. Москва. 1927. Стр. 124. Ц. 1 р. 15 коп.

Сюжет «Доменной печи»—пуск доменной на заводе—вызывает неприменную и крепкую ассоциацию с «Цементом» Гладкова; производственная и бытовая проблемы—в центре внимания писатель. Однородно их литературное задание, но разнородно выполнение, различен писательский подход к жизненным фактам. Рабковская заметка о восстановлении завода Гладковым развернута в героическую эпопею труда и коллективизма. Ляшко же подошел к теме своей повести, как реалист, бытовик. Его герой—бывший рабочий, заведующий коммунальным отделом, Коротков—не дает клятв, как Глеб Чумалов: «Умру, лопну, а завод сдвинем». Его сердце просто не выдерживает картин запустения, и он через товарищей, через клуб, через ячейку начинает «бузить». «Буза» обходится очень дорого ему и всем рабочим, она отнимает годы жизни, вместе с счастливыми днями приносит семейные нелады, женнины попреки, недоедание ребят. Только благодаря удачному подбору группы активистов становится возможна их победа—пуск доменной печи, открытие домов-коммун и занятие церкви под рабочий клуб.

Повесть написана сказом. Сказ прекрасно характеризует главное действующее лицо (он же рассказчик), но к концу большой повести неминуемо должен приестся некоторым вынужденным однообразием словаря и синтаксических построений. Рассказчик—рабочий южной России и, как это обычно бывает у Ляшко, в его языке много южных слов: «Та, боже мой», «хитаются», «хрумтят» и т. д. Однако писатель, не отягощая читательского внимания, умеет ввести поток своих провинциализмов в спокойное русло повести.

Виктор Красильников.

А. Серафимович.—Собрание сочинений, т. XI. «Чудо». ГИЗ. М.-Л. 1927. Стр. 337. Ц. 1 р. 30 к.

Имя А. С. Серафимовича пользуется заслуженной популярностью среди широких кругов советских читателей. Его «Железный поток», ярко и сильно отразивший героическую эпоху гражданской войны на юге, выходит уже третьим изданием.

Рецензируемый нами XI том его сочинений носит по преимуществу антирелигиозный характер. Цель входящих в него небольших рассказов заключается в разоблачении темных поступков духовенства, пользовавшегося на родным невежеством, культивировав-

шего всевозможные суеверия, непротивление злу и прикрывавшего своим авторитетом царские репрессии и помещичье-капиталистическую эксплуатацию. Мрачное русское прошлое: полная лишений народная жизнь, жестокая расправа властей с забастовщиками, расстрелы рабочих, порка крестьян, обостряющаяся борьба старого умирающего быта с новым—все это занимает Серафимовича.

«Мишка—упырь», повесть о двух мальчиках, убежавших из дому для того, чтобы хоть несколько дней пожить вольно, вне обычной подавленности и нужды,—написана прекрасно и является лучшим произведением в рецензируемом сборнике.

Одноактная сцена — «Именины в 1919 г.»—представляет собою довольно едкую сатиру на часть буржуазной интеллигенции, внешне «примирившуюся», но настроенную злопыхательски по отношению к Советской власти. Пьеса «Марьяна» живописует нашу деревню в самый разгар гражданской войны. Автор, хорошо знакомый с народным языком и бытом, образно и реалистично передает настроения крестьян, сначала — испуганно встречающих красноармейские отряды, а затем начинающих понимать, что не белая гвардия, а Красная армия может обеспечить им возможность мирного труда. В этом отношении «Марьяна» (несложная постановочно) весьма полезна для клубных сцен, для рабочих и крестьянских драматических кружков.

Однако приходится отметить, что драматургия не является подлинной творческой стихией Серафимовича. «Марьяна», правда, вполне пригодна для театральной интерпретации, но все-таки фабульное развертывание этой пьесы происходит недостаточно стройно и напряженно.

Виктор Гольцев.

Влч. Шишков.—«Тайга». Изд. ЗИФ. М.—Л. 1927. Стр. 223. Ц. 2 р. 40 к.

Написанная в 1913—1915 г.г. повесть «Тайга»—художественный обвинительный акт против религии, в которой, как в смиренной рубашке, металась крепкая, здоровая, дореволюционная

сибирская деревня. В. Шишков нарисовал картину того потрясающего тупика, того ужаса, который об'ял душу затерянных в тайге крестьян, не знающих и не видящих путей для освобождения своих сил от социальных неправд. Вынужденные преступники, невольные «звери», одни верующие из страха, другие по совести, обречены на темное, дикое, страшное существование «в злоостновании, в зависти и злорадстве».

В. Шишков бытовик, но своеобразного толка. Он штрихует бытовые детали так прозрачно, что сквозь них просвечивает основная мысль автора, которая и является главным героем повести. Обычно бытовики настилают факты, зарисовывают события и людей, какими показала их жизнь, представляя читателю самому делать выводы. В прозрачном, непретенциозном искреннем художестве Шишкова самая простая мысль играет, как луч. Ее не надо отыскивать. Она просвечивает сквозь всю ткань произведения. Она-то и дает упор его работам.

В «Тайге» две фабульные линии. По одной Шишков вводит в драму орождают, постоянных обитателей тайги, по другой—крепкого, хозяйственного, деловитого Прова, его дочь Анну и политического ссыльного Андрея. Там, где перекрещиваются обе фабульные линии, встает старая, чадонская деревня, балансирующая между урожаем и неурожаем, безнадежно повторяющая: «с ним, с богом-то, драться не полезешь».

Бог этот встает то в изуродованных, выброшенных из деревенского кругооборота, бродягах, то в буйной, захлестнутой преступлениями, деревне, в лице Прова обращающейся к Андрею с запросом, как выйти из тьмы преступлений. Но ответ Андрея—«мудрый, шибко мудрый» и, прибавим от себя, не совсем определенный. Шишков неясно рисует фигуру политического ссыльного, мало раскрывает его физиономию, его убеждения. Он дает только биографию ссыльного, которого любит Анна. Любовь Анны и является тем узлом, вокруг которого настилаются нелепо сплетающиеся преступления, вину за которые деревня

взваливает на бродяг, которых она и убивает.

И хотя в повести встречаются несколько сентиментальные и туманные места, но центральная мысль автора ярко вспыхивает уверенностью, что горит первобытная тайга безнадежных чувств, которые рождены верой в бога, и русский крестьянин, веруя в свои силы, примется скоро сам за устройство своей жизни и страны. Эта уверенность не обманула автора.

Кроме повести, в книге помещены автобиография Вяч. Шишкова и литературно-критический очерк П. Медведева.

С. Пахентрейгер.

Борце Губер.—«Соседи». Изд. «Недра». М. 1927. Стр. 157. Ц. 1 р. 10 к.

Все, что пишет Губер, было или могло быть в жизни. В этом ограниченном смысле рассказы его взяты в реалистическом плане. Но в реализме молодого автора нет темперамента, страсти, нет доминирующего эмоционального критерия, который диктовал бы отбор того или иного материала. С равной неспешностью, порой переходящей в безразличие, он воспроизводит: разрушение имения в революцию и гибель его питомцев («Соседи»), вступление в жизнь юноши из бедной семьи подпрапорщика («Хам»), случайную историю на вокзале («Банка с маслом»), быт занесенных, одуревших от скуки учителей («За околицей») и «вполне естественный случай» использования девушки («Петля»).

Только в одном рассказе—«Пропавший заяц»—Губер разрывает броню неспешности и бестемпераментности и насыщает страницы жарким дыханием переживаний двенадцатилетнего мальчика, впервые очутившегося на охоте.

«В этот год я впервые почувствовал чудесную прелесть зимней России. Неожиданный удивительный мир открылся предо мною—мир солнца, снега и звериных следов. Мрачные предоттепельные дни, когда медлительные тучи мутио-лиловыми глыбами проползли над самой землей, а серая в полумраке поэмка походила на дым,—и дни яркие, такие морозные, пахучие и сверкающие,

что с трудом выдерживало их сердце,—поражали меня сотнями ощущений, никогда не испытанных раньше».

Вот этой морозной силы, которую с трудом выдерживает сердце, нет в большинстве рассказов Губера. Он принадлежит к авторам спокойным, тщательно выписывающим и людей, и переживания, и пейзаж. Но не добился того, чтобы спокойствие его красок и образов жгло читателя, как мороз. Губер состоит в литературной группе «Перевал». Ударение он, как и все перевальцы, делает на эмоциональной стороне художества. А между тем именно эта сторона у него не получает полного эстетического выражения.

Если Губер преодолет ограниченный реализм, проявит больше темперамента, заострит выражение своих социальных симпатий и антипатий, то рассказы, посвященные общественной жизни, приобретут значительную общественную ценность.

С. Пахентрейгер.

Сергей Семенов.—«Рождение раба». Сборник II. ГИЗ. М.-Л. 1927. Стр. 303. Ц. 2 рубля.

Семенов никогда не стоял в первых рядах литературной армии. Но—продолжая милитаристическое сравнение—он всегда был **воином без страха и упрека**. Его творчество неизменно покоряет глубокой искренностью. Его литературная манера до последней степени проста, лишена сюжетной выдумки и формального воображения. В то же время его нельзя читать без интереса—именно благодаря его писательской искренности. В нем очень много общего с Гаршиным: то же отсутствие определенного литературного приема и такая же отрешенность от сюжетности; у Семенова, как и у Гаршина, внимание чаще всего сосредоточено на анализе душевных переживаний, ощущений человека, поставленного в ненормальные условия. Таков его знаменитый «Голуб», где отсутствие интереса к сюжету резко подчеркнуто формой дневника. Таков же помещенный в рецензируемом сборнике и рассказ «Тиф»—детальный, добросовестный анализ—почти

протокол—переживаний человека, заболевшего сыпняком.

В этот второй сборник вошел еще ряд мелких рассказов, отрывков, набросков, очерков. В них есть яркие страницы. Таковы отрывки: «Из найденного дневника», «На дорогах войны», «Убийца». Как и в «Голоде», рассказ часто ведется от первого лица, что указывает опять-таки на отсутствие интереса к искусству формы. Некоторые очерки,—газетного характера,—можно было бы и не включать в сборник: Семенов все же не принадлежит к числу писателей, каждую строку которых стоит публиковать. Да и газетный жанр ему плохо дается: «Тоже рассказ»—слабый фельетон. Очерки «Республика на экзамене» (о Волховстрое), «Рядовые и взводные» (партийный быт) написаны слабо—многие на эти темы лучше писали в газетах и журналах. Не стоило их воспроизводить и тем увеличивать об'ем и цену книги.

По нелепой трафаретной привычке (эту привычку когда-то культивировал Баранцевич) толстый том озаглавлен по названию маленького, в 3 страницы, отрывка, который помещен первым. Лучше уж было бы оставить книгу без заглавия.

А. Р. Палей.

Глеб Алексеев.—«Иные глаза». Рассказы. Изд. артели писателей «Круг». М.-Л. Стр. 216. Ц. 1 р. 50 к.

Хорошее заглавие у книги—«Иные глаза». Писатель (это видно из его рассказов) хочет взглянуть на жизнь обыкновенных людей по-иному, отметить в их серой и тяжелой судьбе моменты, когда тупое человеческое прекраснодушие сменяется тревогой или отчаянием. Не всё, помещенное в книге, одинаково убедительно и художественно написано. Но всем рассказам в той или иной мере присуще драматическое содержание. Начнем с хороших вещей. «Горькое яблоко»—подлинно-художественный, напряженный, волнующий рассказ о честном, наивном парне, вернувшемся с гражданской войны домой и не нашедшем в родных краях человеческого братского внимания. Произведение большого чувства и

отделки; рассказ, которым дорожишь, как большим достижением нового писателя. Не менее выдержанно и сказание о крестьянине Евсее, который перед смертью вдруг постигает смысл и красоту природы и пройденной трудовой жизни («Иные глаза»). Мотив, как видите, не новый в русской литературе. Влияние Л. Толстого чувствуется и в замысле и в выполнении рассказа, включительно до случайно оброненного слова о «том главном», чем живет человек. Гл. Алексеев, однако, счастливо избег морализма при изображении «главного». Вслед за этим двумя прекрасными лиро-эпическими рассказами талант автора идет на снижение. В «Первоцвете»—«иными глазами» смотрит на жизнь женщина избытательско-интеллигентской семьи. Окружающая пошлость заставляет ее, подобно чеховской «невесте», бежать «в Москву». Рассказ производит впечатление чего-то давно-давно известного. Станется жаль сил, талантиливо затраченных на воспроизведение уже воспроизведенного, открытого. Ничем не трогает «человеческий документ» об одной комсомолке, рано изведавшей все соблазны жизни («Дело о труп»). Не трогает нудностью изложения, повторениями. Сохраняя во всех этих вещах вдумчивость и серьезность подхода к жизни, Гл. Алексеев в «Дунькином счастье» почему-то попытался блеснуть остроумием. Получилось плохо. Целых 50 стр. наполнены словечками из «французско-нижегородского» обихода, наприм.: «У него на лбу вся его преступления написана» и т. п. Культивировать «сибиряковский» (Зощенко) язык, да еще в такой пропорции—занятие, конечно, не способствующее познанию «народного» языка. Както тяжело становится от этих «опытов», когда убежден, что писатель хорошо владеет словом и имеет к нему вкус. Об этом говорят многие страницы его книги. Шероховатости (вроде: «Баба остановилась... рассматривая Егора не дружелюбно. Глядел Егор на ее лицо, не выражающее ни чего») встречаются довольно редко.

Об одном из ян в творчестве Гл. Алексеева следует все же упомянуть.

Автор пока еще не умеет до конца конкретизировать изображаемую обстановку. Рассказы, действие которых протекает в наши дни, недостаточно наполнены советской действительностью. Некоторые сюжеты и действующие лица его рассказов ничего бы не потеряли в своей выразительности, если бы были вдвинуты в рамки прошлой жизни.

Н. Замощкин.

Николай Москвин.— «Кошачий характер». Рассказы. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1927 г. Стр. 152. Ц. 1 р.

В предисловии к рассказам молодого прозаика В. Львов-Рогачевский пишет: «У Н. Москвина резко обнаружилось две черты: с одной стороны, легкий юмор, с примесью утрировки, уклон в сторону карикатуры..., с другой стороны, «сугубо трагический жанр». Сборник, к сожалению, не дает представления о втором, «сугубо трагическом» Москвине. «Беглецы», «Кошачий характер», «Октябрь чиновника Макушкина» и др. рассказы—остроумные, легко читающиеся шаржи, иногда гротески. Писатель внимательно наблюдал быт совслужащих и умеет подставить лесенку, по которой чиновник Земской Управы Арсений Петрович Макушкин поднимется в Наркомзём вместе со своей почтительной аккуратностью. Привлекают внимание юмориста и ненормальности в рабочем быту, напр., в «Обыкновенной истории» рассказывается о «прелестях» жилищно-строительной кооперации. Обычно рассказы заострены сюжетно, динамичны и кратки. Подмечается в жизни смешное, иногда анекдотическое; прозаик заставляет читателя улыбаться. Улыбка легкая, беззлая над человеком, который из-за «кошачьего характера» («забыл в комнате кошку Маньку—сметану сблудит») откасался от воздушного полета, или распорядился поставить памятник вместо К. Маркса К. Либкнехту—в изображении местного скульптора К. Маркс оказался опасно похож на купца первой гильдии Синеухова (рассказ «Бородатый вождь»). Изредка Москвин пытается смеяться «горьким смехом»;

первые опыты («Голубая бездна», «На кладбище») не совсем удачны.

Писатель всерьез работает над словом. Подбор фамилий, прозвищ действующих лиц, выбор эпитетов, строение образов—все свидетельствует о достаточном усвоении приемов юмористического жанра. Дело будущего—углубление психологического рисунка героев.

Виктор Красильников.

Родион Акульшин.— «Развязанные снопы». Изд. «Земля и Фабрика». М.-Л. 1927. Стр. 111. Ц. 1 р. 10 к. (в папке 1 р. 25 к.).

В этой книге собраны отдельные картинки, этюды и зарисовки современной деревни, в свое время печатавшиеся в журналах.

Сделанные опытным и уверенным карандашом, то веселые, то грустные, наброски Акульшина живо показывают советскую деревню.

«И посейчас еще крепка старушечья темная Россия, но вместе с ней, рядом с ней, заглушая ее, растет деревенский молодец, с большим трудом создающий новую жизненную кладку», (стр. 17),—вот этой темой определяется книга Акульшина.

Не связанная общностью сюжета и единством действующих лиц, она представляет из себя отдельные листы из блокнота деревенского наблюдателя, которые, без ущерба для впечатления, можно располагать в произвольном порядке. Тем не менее тема их едина и, своеобразно дополняя друг друга, они не выпадают из памяти.

Деревенские коммунисты, комсомольцы, пионеры, дотошные мужики, подозрительно приглядывающиеся к новому бабы, самогонщики, знахарки, безответная учительница, старухи-шептуньи—в наброске, в письме, сказке, отрывке песни, частушке проходят перед читателем.

Далекая от всякой книжности и нарочитости, чистая русская речь—меткая и живая, со своеобразными оборотами и словечками—звучит в коротких фразах Акульшина, временами достигая большой выразительности, несмотря на всю свою кажущуюся легкость и простоту, с которой строит ее автор.

Рассказываемое Акульшиным иногда несколько анекдотично, но из этого не следует вовсе, что оно сочинено автором нарочно: ведь гримасы современного быта, тем более деревенского, известны. Прочитанному в этой книге веришь, правдивость его чувствуешь, анекдотичность же придает малой форме, которую культивирует Акульшин, лишь необходимую остроту, только усиливающую впечатление.

«Я жил в деревне двадцать семь лет. Я люблю ее такой, как она есть»,— говорит автор (стр. 25), и это оправдывают его расцвевшие юмором зарисовки, в которых видна любовь и знание современной деревни, ее языка, быта и психологии.

Борис Анibal.

Евгений Бражнев.— «В дыму костров». Главы из книги. Артель писателей «Круг». 1926 г. Стр. 170. Цена 1 р. 25 коп.

Многое сближает Бражнева с Фурмановым: оба варились в «котле кипящем» революционных войн, оба обвеваны дымом походных костров и кислой пороховой гарью, оба строили Красную армию и оба, наконец, рассказывают ярко и увлекательно о том, что пережили.

Повесть Бражнева—повесть о тех трудных годах, когда армия только что рождалась из бесшабашных партизанских отрядов, которые снимались и уходили с фронта, когда им взбрело в голову, митинговали, линчевали комиссаров и командиров. Иногда трудно было провести резкую грань между этими отрядами и ордами батек Махно и Зеленого.

Одна из жанровых сенок этого сумбурного времени:

«Я вдруг увидел дуло револьвера, наведенное в упор на меня.

— Арестую тебя по постановлению полка,—прохрипел Маслов сквозь зубы.—Сдать оружие, такую твою мать!

Я вытаращил на него глаза, вдруг потеряв всякую способность понимать.

— Полк требует вас на суд,—сказал он более миролюбиво:—Потому как вы есть изменник революции и продались Петлюре.

Я, наконец, смог пошевелить языком, обратился к Коненникову, славному командиру нежинцев.—Командир отряда! Прошу вас оградить меня от пьяного хулиганства на вашем участке. Это что за дисциплина?

— Сдавай оружие,—с новым пылом завопил Маслов.—Слазь с коня. На суд. К стенке гадов. Разгоним вашу эсеровскую шайку...

Вслед затем дважды грохнули выстрелы над моей головой: стреляли мимо—для острастки.

Изображен один из тяжелых в истории Красной армии периодов. Кольцо врагов—деникинцы, гайдамаки, Махно, Зеленый, Григорьев. Распустившийся махровым цветом Деникин шаг за шагом выжимает наших из Украины, гонит на север, к голодной Москве.

Автор далек от ура-патриотизма, смотрит ясными, трезвыми, очень зоркими глазами, не привыкшими к розовым очкам. И потому, наряду с организационными и бытовыми недостатками Красной армии девятнадцатого года, тем более убедительно и рельефно встает ее героика и пафос.

Откуда оно выросло—бескорыстие «большевицкой черни»?—спрашивает автор. «Вот захватили Киев, который весь насквозь прогнил ядовитой злобой и ненавистью к нам—город, битком набитый роскошью и богатством. Все эти несметные сокровища отдаются им—завоевателям, дикарям, гуннам двадцатого века. Какое единственно мыслимое, логически необходимое следствие этой предпосылки? Ясно—полная, повальная, всеобщая экспроприация этого гнезда врагов. А вместо того наши простодушные гунны в лохмотьях и опорках на босу ногу ходят скромненько мимо всех этих доступных богатств—как вельможи, равнодушно сплевывают в зеркальные витрины».

Язык Бражнева гибкий, богатый, часто вспыхивающий метким художественным сравнением, динамичный, крепкий и бодрый, как ветер степей, вполне отвечает этому требованию.

Бодрая, интересная, энергичная книга.

Д. Фибис.

«Русская проза». Сб. статей под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Вопросы поэтики. Непериод. серия, издаваемая Отделом Слов. Искусств ГИИИ, вып. VIII «Academia» Л. 1926 г. Стр. 261. Ц. 2 р. 60 к.

Представляя коллективный опыт молодых «формалистов»—изучить т. н. «сентиментализм», как «литературную систему, построенную на определенных стилевых принципах» (стр. 7), рецензируемый сборник приобретает интерес двойной—как общая методологическая «декларация» «новой смены» и как попытка применить формальный метод к историческому изучению литературных стилей. Но если у старших представителей данной школы излюбленные приемы исследования искусно завуалированы, то у менее опытных ее представителей они как бы наглядно демонстрируют всю односторонность и тенденциозность тех обобщений, к которым часто приводит «форм. метод в поэзии».—Исследует ли, напр., К. Скипа в своей в общем интересной статье «чувствительную повесть», она приходит к выводу, что «сентиментализм», как он определенно на русск. почве,—явление, целиком (!) вызванное необходимостью реформы слова» (41); изучает ли Н. Степанов «Дружескую переписку 20-х годов», автор в ответ на основной вопрос—«почему в начале XIX в. письмо являлось фактом литературы?»—отвечает: «основная причина в том процессе развития литературного языка, который выдвинул письмо, как решение определенных стилистических проблем, как лабораторию (!!) для языковых экспериментов» (76). Такова же приблизительно установка работы и у других: В. Зильбер (о Сенковском), Б. Бухштаб (о Вельтмане), Н. Коварский (о Марлинском), В. Гофман (весьма любопытная статья «Фольклорный сказ Даля»). Некоторое исключение составляют статьи—Т. Роболи («Литература путешествий») и Лидии Гинзбург (Вяземский—литератор).—Если бы участники сб-ка сознательно не надевали «формалистические» шоры на свои молодые и зоркие глаза, они легко убедились бы, что об'яснить русский сентиментализм одной лишь необходимостью реформы языка

есть недопустимая методологическая предвзятость. Тем не менее, если читатель сумеет игнорировать эту основную догматич. тенденциозность большинства статей, сб-ник предстанет перед ним, как далеко небезынтересное и тщательно и умело составленное описание по жанрам того литературного и журнального материала, который необходимо знать всякому, изучающему русский сентиментальный стиль. Книга прочтется с интересом как молодым литературоведом и писателем, так и любителем родной литературы.

Лев Якобсон.

«Творческая история». Исследования по русской литературе (Пушкин, Грибоедов, Достоевский, Гончаров, Островский, Тургенев). Сборник статей под ред. Н. К. Пиксанова. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1927. Стр. 248.

Принцип изучения художественного процесса не в спорной области творческой психологии, а в плане таких отчетливых и конкретных фактов, как рукописи, различные печатные редакции, высказывания автора и его современников о данном произведении, уже неоднократно выдвигался проф. Н. К. Пиксановым в качестве очередного задания нашей литературной науки. И нужно признать, что в плане исторического изучения литературы такая биография художественного создания является наиболее живым и плодотворным приемом. Творческая история шедевра захватывает разнообразнейшие области писательской лаборатории и вовлекает в сферу своего анализа огромное количество ценных пояснительных фактов. Западная научная литература насчитывает немало таких трудов, например, о истории романов Бальзака (Шпульберг де-Ловенжуль), по истории создания Гетевского «Фауста» (Отто Пнивер) и друг. Лишь в прошлом году вышло теоретическое исследование французского ученого Одиэ (Audiat) «Биография литературного создания», выдвигающее проблему, с давних пор поставленную у нас в статьях и докладах Н. К. Пиксанова.

В отчетном сборнике помещены работы участников университетского се-

минария, руководимого редактором издания, вместе с его собственным исследованием «Идеология „Горя от ума“». План и общие условия коллективного сборника лишили участников возможности дать цельные монографические этюды о процессе создания целого ряда русских шедевров. Творческая история, понимаемая, как эволюция создания от первого замысла до окончательного штриха, как «сумма воздействий всех сил и факторов» (так определяет в одной статье своей метод проф. Пиксанов), здесь, конечно, не могла найти себе применения.

В сборнике дан ряд фрагментов из различных творческих историй, разрешающих частичные вопросы по истории текста, образов, подготовительных этюдов, протогипов, хронологии литературных работ и проч. Крупным достоинством всех статей является их свежесть и новизна, вовлечение в научный оборот новых рукописных или печатных данных. В этом отношении значение нового сборника выступает с особенной несомненностью.

В первую очередь необходимо всерьез приветствовать появление большого отрывка из обширного исследования о Грибоедовской комедии, над которым, как известно, уже долгие годы работает Н. К. Пиксанов. Помещенный в книге обширный этюд об идеологии Грибоедова дает яркое представление о научной и литературной ценности этого исследовательского труда, до сих пор ожидающего своего выхода в свет. Автор уверенно и свободно пересматривает ряд укрепившихся традиций (о философском составе «Горя от ума», мировой скорби Грибоедова, его близости к декабризму и проч.) и приходит к заключению, что позитивный ум знаменитого драматурга преимущественно склонял его к проблемам политическим и социально-бытовым, насквозь напитавшим нашу лучшую комедию. Анализ художественного замысла на фоне философской эволюции Грибоедова дает живую и увлекательную картину этой замечательной творческой истории.

Интересный, неизданный или мало известный материал использован во всех статьях сборника. Проблема текст-

вой истории посвящены работы В. Н. Стефанович о «Кавказском пленнике», Г. Н. Фрида о «Бедном рыцаре», Р. И. Аванесова о «Двойнике» Достоевского; вопросами истории образов заняты Р. П. Маторина в изучении «Грозы» и Л. М. Поляк в интересном этюде о «Кларе Милич»; тему о подготовительном эскизе к большому созданию разрабатывает А. Г. Цейтлин в статье об «Обыкновенной истории» Гончарова. Все эти работы одинаково показывают, что принцип «творческой истории» чрезвычайно ценен для ведения семинарских работ в высшей школе: он дает молодым исследователям прочную почву для их первых научных опытов и открывает им возможность широко и целесообразно разрабатывать имеющиеся в их распоряжении неизданные материалы.

Творческая история—превосходный редакторский прием. Он отвечает одному из основных задач эдичионной техники—выработать тип издания классического произведения. Обрамление великого текста историческим изучением процесса его создания является, быть может, наилучшим способом его истолкования. Но этот прекрасный рабочий прием, чрезвычайно ценный и плодотворный в деле редакционной техники и университетской педагогики, едва ли может быть отнесен без оговорок к категории «научных методов». Для последнего ему не хватает широкого философского обоснования, т.-е. того нетождественного идеологического пафоса, который открывает возможность подлинного научного творчества. Но это несколько, конечно, не ослабляет громадного ученого и практического значения принципа «биографирования шедевров».

Вышедший сборник вносит в нашу литературную историографию ряд новых материалов, мимо которых не пройдет ни один из последующих исследователей изученных здесь произведений.

Л. Гроссман.

«Последние дни колчаковщины». Сборник документов. Центрархив. Материал подготовлен М. М. Константиновым с приложением ст. А. А. Ширямова.

ГИЗ. М.—Л. 1926 г. Стр. 232. Ц. 2 р. 50 к.

Как волнующий роман, читаешь документы о разложении белой армии Колчака, ее кровавых сатурналиях и взаимной склоке интервентов. На фоне трагической борьбы пролетарско-крестьянских масс с колчаковской контрреволюцией, выкинувшей вместо лозунга «земля и воля»—свой дикий кошмарный лозунг— «тело в землю, душу на волю», жалкими политическими марионетками рисуются со страниц документов разного рода господа Колосовы и другие герои заживо сгнившей «учредилки». Очень полно представлен в сборнике материал по «Политическому центру»—организации, выдвинутой эсерами с целью образования в Сибири «демократического государства-буфера». Страшные «лики» атаманов, генералов, Чижил-Цзо-Лица, чехо-словацких Гирсов и др., пытавшихся в последние дни сыграть роли «демократов», выглядят со страниц книги чрезвычайно отчетливо.

Интересны донесения контр-разведки. Перед нами страничка от 30 ноября 1919 г. Описывается культурно-просветительная работа осведомительного отделения в колчаковских частях: «28-го ноября дан народный спектакль в честь первого гражданина возрождающейся России, адмирала Колчака; 29-го—духовный концерт для войск гарнизона и населения» и т. д. Хороша также следующая иллюстрация о настроениях буржуазии: «Большинство богатых, купив вагоны, набив их всем, чем можно, до кошек и собак включительно, превратив вагон в Ноев ковчег, преблагополучно отбыли в «страну восходящего солнца», и многие другие материалы.

М. М. Константинов несомненно отличается хорошим историческим чутьем—документы поданы прекрасно. Значительно слабее его предисловие, где нет ссылок на нужные документы, и особенно слабы и не четки оценки как социальной сущности колчаковщины вообще, так и ее отдельных моментов. Кое-что дает, но все же мало помогает делу и статья А. А. Ширямова,—одного из действующих лиц по борьбе с колчаковщиной. Книга издана хорошо: есть и при-

ложения, и примечания, и именной указатель.

А. В. Шестаков.

Е. М. и Д. Н. Лубоцкие. — «Душа животных и человека». ГИЗ. 1926 г. Стр. 160. Ц. 80 коп. (Серия: «Книжная полка рабочего»).

Написать популярную книжку по сложному научному вопросу бывает иногда гораздо труднее, чем изложить вопрос этот в форме, строго научного произведения. Популяризация требует особого умения: необходимо полностью сохранить творческую сердцевину научной проблемы, подавая ее в то же время просто и «вкусно» развернутой. Сугубую трудность представляет популяризация такого сложного и нового учения, каким является учение Павлова о рефлексах. Общедоступных изложений рефлексологии пока вообще чрезвычайно мало, да и существующие годятся лишь для сравнительно квалифицированной аудитории. Широкий рабоче-крестьянский читатель своего рефлексологического «блюда» еще не получил. Это вполне понятно: серьезно, понятно, интересно увязать в единое целое сведения по общей биологии, физиологии, психологии и привести их к рефлексологическому знаменателю,—учитывая к тому же слабую общеобразовательную подготовку читательской массы,—дело очень и очень трудное. Книжка Лубоцких, вне сомнения, задачу эту выполнила вполне удовлетворительно.

Содержание книжки является антитезой ее парочного заглавия. Убедительно доказано, что нет нужды в поисках особой души, что все душевное целиком об'ясняется телесным. Животные и человек полностью уравнены в своих правах на «душу». Начиная от простейших, подымаясь все выше по биологической лестнице, авторы ясно, интересно, детально рассказывают об эволюции «психизма». Не только рассказывают, не только об'ясняют, но и заставляют читателя самостоятельно продумывать содержание ряда экспериментов и строить выводы из последних. Богатый фактический и лабораторный материал, широкие со-

поставления. Книжка полезна не только тем, что серьезно и просто расшифровывает рефлексологию, но также и тем, что умело вовлекает читателя в богатое и совершенно обязательное общепсихологическое окружение этого учения, параллельно заинтересовывает вопросами эволюции, физиологии и т. д.

Конечно,—книжка не без дефектов. Пропущена теория «доминанты», так много объясняющая в «душевной» жизни человека и других животных. Нет указаний о влиянии условных рефлексов

на изменение безусловного рефлекторного фонда. Упрощение стиля иногда чрезмерное (к счастью, очень редко). Некоторые сравнения... наивны: классовую борьбу об'яснять разницей в условных рефлексах—звучит... не совсем марксистски. Однако эти из'яны компенсируются общими достоинствами книжки: умелой, интересной популяризацией огромной материалистической проблемы, при полном сохранении необходимой научной серьезности.

А. Б. Залкинд.

